



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

891.78  
G640  
L68iv

A 865,524

1

891.7Г65  
199

891  
199

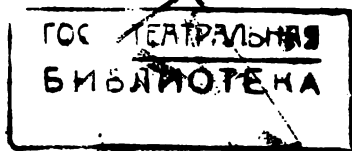
Евг. Ляцкий.

Liatskii, E.

# Иванъ Александровичъ Гончаровъ.

Критическіе очерки.

Съ портретомъ-фототипіей и факсимиле И. А. Гончарова.



Издание Товарищества „ЛИТЕРАТУРА и НАУКА“.

СПЕТЕВБУРГЪ.

Типо-литографія „Энергія“, Загородный, 17.

1904.

L68iv

Инвент ~~3405~~

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящіе очерки первоначально напечатаны были въ „Вѣстникѣ Европы“; для отдѣльнаго изданія они были значительно переработаны и дополнены, хотя основная точка зрѣнія автора на творчество И. А. Гончарова осталась неизмѣнной. Появленіе этихъ очерковъ въ печати вызвало нѣсколько весьма цѣнныхъ и любопытныхъ изустныхъ воспоминаній о личности и творческой дѣятельности Гончарова; за ихъ сообщеніе авторъ особенно обязанъ А. Ѳ. Кони, А. Н. Пыпину и М. М. Стасюлевичу. Въ этихъ сообщеніяхъ авторъ нашелъ подтвержденіе своего взгляда на преобладаніе субъективнаго элѣмента въ произведеніяхъ Гончарова.

Какъ извѣстно, покойный писатель хотѣлъ наложить какъ-бы запретъ на обнародованіе послѣ его смерти того, что имъ самимъ не предназначалось для печати („Нарушеніе воли“, Вѣстникъ Европы, 1889, мартъ). Въ наше распоряженіе предоставлены были нѣкоторыя рукописи Гончарова. Въ настоящемъ изданіи мы не воспользовались ими по разнымъ соображеніямъ, но въ виду общаго интереса, представляемаго матеріалами такого рода, а также того, что впослѣдствіи самъ Гончаровъ отказывался отъ слишкомъ узкаго пониманія своего взгляда, авторъ счелъ небезполезнымъ привести въ „Приложеніи“ наиболѣе существенное изъ того, что относится къ спорному вопросу о „нарушеніи воли“.

Автографъ Гончарова взятъ, съ разрѣшенія А. Н. Пыпина, изъ письма къ нему Ивана Александровича.

Письмо это было написано по поводу „замѣтокъ о личности Бѣлинскаго“. Свои воспоминанія о Бѣлинскомъ Гончаровъ написалъ по просьбѣ А. Н. Пыпина, работавшаго въ то время надъ своей монографіей о Бѣлинскомъ; сообщивъ ихъ А. Н. Пыпину въ рукописи, онъ, однако, долго колебался, печатать ли ихъ. Письмо отражаетъ одинъ изъ моментовъ колебанія: Гончаровъ и затрудняется напечатать свои замѣтки о личности знаменитаго критика и выражаетъ сожалѣніе, если имъ не придется появиться въ печати. „А пожалѣю о томъ собственно,—говоритъ Гончаровъ въ этомъ письмѣ,—что я, въ свою очередь, наравнѣ съ другими, болѣе или менѣе близко знавшими Б—го, не скажу и своего живого и добраго слова объ этой замѣчательной и симпатичной личности и не расквитаюсь, такимъ образомъ, благодарнымъ воспоминаніемъ за его многія добрыя и живыя слова, сказанныя имъ и изустно и печатно обо мнѣ“. Какъ извѣстно, колебанія Гончарова кончились тѣмъ, что онъ напечаталъ эти замѣтки въ 1874 г., и онѣ вошли въ • полное собраніе его сочиненій.



## I.

Есть писатели, творческій обликъ которыхъ опредѣляется уже въ первыхъ произведеніяхъ, въ самомъ началѣ ихъ литературнаго поприща. По мѣрѣ той смѣлости, съ какой ихъ мысль идетъ въ глубь изображаемаго явленія, по характеру и степени законченности художническаго штриха, критика можетъ или сразу указать мѣсто писателя въ современномъ теченіи литературы и этимъ заранѣе опредѣлить его историческое значеніе, или же отмѣтить признаки богатыхъ залежей творческихъ силъ въ его душѣ и открыть широкій горизонтъ надеждамъ на будущее. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ, писатель не оставляетъ обыкновенно сомнѣній въ направленіи своего пути; если не ясна конечная черта, за которую онъ не перешагнетъ, то въ общемъ можетъ быть намѣченъ жизненный кругозоръ, какой откроетъ ему высшая точка его творческаго подъема,—она же вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлитъ и уголъ зрѣнія художника на явленія жизни.

Но есть писатели и другого рода. При своемъ появленіи на литературномъ поприщѣ, они, безсознательно и невольно, вводятъ въ заблужденіе современную критику, представители которой попадаютъ въ положеніе людей, разсуждающихъ о громадной картинѣ, стоя вблизи ея,—только особенно чуткій и талантливый критикъ можетъ душой угадать то, чего не увидитъ глазомъ. Но для цѣльности, а главное—правдивости впе-

чатлѣнія нужно отойти подальше. Рѣзкость въ очертаніяхъ смягчится сама собою, рѣзущая глазъ яркость красокъ поблѣднѣетъ, пятна исчезнутъ, а вмѣсто нихъ мягко выступятъ неожиданные тоны и полутоны, просвѣты и полутѣни, откроется перспективная даль, и картина выступитъ въ полной красотѣ, отражая дѣйствительность во всю широту художественнаго замысла. Такъ и для сужденія о широкихъ историческихъ эпохахъ и дѣятеляхъ необходимо извѣстное отдаленіе, чтобы дать возможность всему суетно-преходящему, личному и мелкому отойти въ вѣчность и вѣчному заявить свои права...

При мысли о томъ знаменательномъ періодѣ въ исторіи нашей общественности, когда совершался сложный и болѣзненный процессъ перехода въ новыя условія жизни послѣ отмѣны крѣпостного права, на память невольно приходитъ нѣсколько по истинѣ великихъ дѣятелей и борцовъ мысли. Нужно ли называть и можно ли перечислить всѣхъ, кто отдалъ силы своего ума и таланта освободительнымъ идеаламъ, служеніе которымъ было для нихъ не только дѣломъ гражданского подвига, но единственнымъ и непреложнымъ условіемъ жизни на родинѣ, безъ сдѣлки съ совѣстью и честью? Ихъ общій подвигъ органически вошелъ въ сознаніе образованнѣйшей части русскаго общества, считающейся съ завѣтами историческаго развитія, не только какъ съ безжизненной схемой преемственности явленій, но и съ тѣмъ, чтобы приготовить возможное торжество завтрашнему дню. Въ этомъ — залогъ надежды на лучшее будущее и источникъ вѣры.

Но художественная лѣтопись эпохи 50-хъ и 60-хъ гг. была бы неполна, еслибы за именами Герцена, Некрасова, Добролюбова, Салтыкова, Тургенева не стояло еще одно имя — имя Ивана Александровича Гончарова. Онъ съ полнымъ правомъ можетъ занять мѣсто съ ними въ пантеонѣ русской мысли —

не только по качеству таланта, но и по самому существу своихъ произведеній, по характеру изображенія и ихъ внутреннему смыслу. Именно его сочиненія таковы, что отъ нихъ нужно отойти на нѣкоторое разстояніе, чтобы разглядѣть всѣ особенности изображаемыхъ въ нихъ широкихъ картинъ, притомъ съ наиболѣе положительной и выгодной для нихъ стороны.

Для этой цѣли Гончарова нужно было забыть... и потомъ снова вспомнить, чтобы непредубѣжденнымъ глазомъ всмотрѣться въ черты его творческаго облика и представить его въ натуральную величину.

Первое, кажется, уже сдѣлано, — своевременно сдѣлать и второе.

Мы не беремъ на себя задачи дать исчерпывающую историко-литературную оцѣнку творчества Гончарова. Многое въ этомъ направленіи уже подготовлено, иное намѣчено, и пересмотръ сдѣланнаго по изученію Гончарова самъ по себѣ могъ бы представить весьма достаточный поводъ къ научному изслѣдованію, тѣмъ болѣе интересному, что оно далеко выходило бы за предѣлы только литературныхъ фактовъ, ставя изслѣдователя въ непосредственную связь съ самостоятельными вопросами общественнаго свойства. Считается неизмѣнно установленнымъ фактомъ, что картины Гончарова чрезвычайно широки по захвату жизненныхъ явленій, но размѣры ихъ содержанія далеко еще не выяснены. Самъ авторъ видѣлъ въ своихъ романахъ отраженіе трехъ эпохъ русской жизни, изъ которыхъ первая знаменовала собою Русь дремлющую, вторая — готовую проснуться, третья — пробужденную и потягивающуюся отъ сна. Но краями своими онѣ заходятъ одна за другую, — и не правильнѣе ли слить ихъ въ одну общую картину, увѣковѣчившую одинъ изъ любопытнѣйшихъ моментовъ исторіи нашего общества, моментъ его перегоранія и обновленія? Тогда развернется грандіозное полотно, потянется безконечная

вереница типовъ и фигуръ, пестрая смѣсь меланхолическихъ Обломовыхъ, растерянныхъ Райскихъ, аккуратныхъ Штольцевъ, сановныхъ Адуевыхъ, хищниковъ темнаго царства, копителей неба, домовитыхъ бабушекъ, Марейнекъ и Наденекъ, Захаровъ и Егоровъ, вѣчныхъ Антонъ Ивановичей и мелькающихъ Волоховыхъ... Всѣ они равно озарены лучами Гончаровскаго генія; но скоро зоркій глазъ Тургенева выдѣлитъ изъ толпы всѣхъ „лишнихъ“ и „новыхъ“ людей, однихъ задавленныхъ, другихъ объявившихъ непримиримую борьбу всероссійской рутинѣ и косности, и скажетъ свое „новое“ слово, которое подхватятъ тысячи радостныхъ голосовъ... Необходимость параллельнаго изученія Гончарова, съ одной стороны, и Тургенева, Островскаго, Писемскаго—съ другой, вытекаетъ сама собой для мало-мальски полнаго освѣщенія эпохи.

Но предварительно вопросъ о Гончаровѣ предстоитъ рѣшить особо. Что онъ представляетъ собою, какъ художникъ и человѣкъ своего времени, какъ оба они отразились въ его творествѣ, благодаря которому за Гончаровымъ записана великая заслуга въ исторіи нашей литературы? Эта заслуга признана уже давно; она создавалась на основаніи цѣлаго ряда сужденій, принадлежавшихъ людямъ самыхъ разнообразныхъ взглядовъ и убѣжденій. Многіе изъ нихъ знали писателя при жизни, и это обстоятельство придаетъ ихъ впечатлѣніямъ особую, если можно такъ выразиться—непосредственно-жизненную колоритность. Но, ставя сужденія предшествовавшихъ намъ критиковъ и публицистовъ исходной точкой нашего изложенія, мы будемъ интересоваться въ нихъ лишь основными взглядами на сущность Гончаровскаго творчества, — независимо отъ того угла зрѣнія, которымъ обусловливалась принадлежность писавшаго къ тому или другому направленію.

---

## II.

Отзывы критики. Бѣлинскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Дружининъ. Ихъ оцѣнка дѣятельности Гончарова и опредѣленіе основной черты его таланта.

Критическая литература о Гончаровѣ вообще не отличается богатствомъ и разносторонностью изученія. Но ее приходится начинать славнымъ именемъ добраго генія нашей литературы — Бѣлинскаго. Гончаровъ съ искреннимъ и теплымъ чувствомъ вспоминаетъ годы своего знакомства съ нимъ. Это былъ Бѣлинскій второй половины сороковыхъ годовъ, уже истощившійся по выраженію Гончарова, на Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевскаго, изстрадавшійся и усталый, но по-прежнему восторженный и искренній. Тридцатипятилѣтній новичекъ въ литературномъ дѣлѣ **предсталъ** предъ нимъ съ „Обыкновенной исторіей“, и Бѣлинскій съ перваго же взгляда распозналъ въ немъ крупную художественную силу, силу, родственную талантамъ Гоголя и Пушкина, и тогда же предсказалъ блестящій литературный успѣхъ. Въ отзывѣ его было высказано много похвалъ писателю, который одинъ въ современной ему литературной средѣ „приближался къ идеалу чистаго искусства“, но въ то же время критикъ досадовалъ, что Гончаровъ — „поэтъ, художникъ и больше ничего... у него нѣтъ ни любви, ни ненависти къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю...“ — „А это и хорошо, — сказалъ онъ однажды съ какою-то *доброю злостью*, — это и нужно, это признакъ художника“; — критикъ какъ будто боялся, — рассказываетъ Гончаровъ, — что его услышатъ и обвинятъ за сочувствіе къ безтенденціонному писателю.

„Всѣ нынѣшніе писатели, говорилъ Бѣлинскій въ той же статьѣ, имѣютъ еще нѣчто кромѣ таланта, и

это-то нѣчто важнѣе самого таланта и составляютъ его силу; у Гончарова нѣтъ ничего, кромѣ таланта; онъ больше, чѣмъ кто-нибудь теперь, поэтъ-художникъ. Талантъ его не первостепенный, но сильный, замѣчательный. Къ особенностямъ его таланта принадлежитъ необыкновенное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не повторяетъ себя, ни одна его женщина не напоминаетъ собою другой, и всѣ, какъ портреты, превосходны“.

„Романъ Гончарова останется однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Къ особеннымъ его достоинствамъ принадлежитъ между прочимъ языкъ чистый, правильный, легкій, свободный, льющійся. Разсказъ Гончарова въ этомъ отношеніи не печатная книга, а живая импровизація. Нѣкоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоровъ между дядею и племянникомъ. Но для насъ эти разговоры принадлежатъ къ лучшимъ сторонамъ романа. Въ нихъ нѣтъ ничего отвлеченнаго, неидущаго къ дѣлу; это—не диспуты, а живые, страстные, драматическіе споры, гдѣ каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себя, какъ человѣка и характеръ, отстаиваетъ, такъ сказать, свое нравственное существованіе. Правда, въ такого рода разговорахъ, особенно при легкомъ, дидактическомъ колоритѣ, наброшенномъ на романъ, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тѣмъ больше чести Гончарову, что онъ такъ счастливо рѣшилъ трудную самое по себѣ задачу и остался поэтомъ тамъ, гдѣ легко было сбиться на тонъ резонера“.

Итакъ, отсутствіе тенденціи, способность быть художникомъ „и только“—вотъ что отмѣтилъ Бѣлинскій у Гончарова. При томъ, художникомъ объективнымъ и непосредственнымъ по существу: онъ „рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать“. Такъ отзывался Бѣлин-

скій о наиболѣе характерной чертѣ Гончаровскаго творчества.

Объективность, въ связи <sup>В. М.</sup> съ умѣньемъ „охватить полный образъ предмета, отчеканить, изваять его“, представлялась и Добролюбову сильнѣйшей стороной таланта Гончарова. „Изображеніе ихъ (явленій жизни въ ихъ полнотѣ),—писалъ Добролюбовъ,—составляетъ его призваніе, его наслажденіе; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубѣжденіями и заданными идеями, не поддается никакимъ исключительнымъ симпатіямъ. Оно спокойно, трезво, безстрастно. Составляетъ ли это высшій идеалъ художнической дѣятельности, или, можетъ быть, это даже недостатокъ, обнаруживающій въ художникѣ слабость воспримчивости?“—спрашивалъ критикъ и, съ отличавшимъ его величайшимъ критическимъ тактомъ, останавливался и ставилъ здѣсь точку, довольствуясь одной постановкой вопроса и боясь рѣшать его сплеча. „Категорическій отвѣтъ затруднителенъ и во всякомъ случаѣ былъ бы несправедливъ безъ ограниченій и поясненій,—замѣчаетъ далѣе Добролюбовъ.—Многимъ не нравится спокойное отношеніе поэта къ дѣйствительности, и они готовы тотчасъ же произнести рѣзкій приговоръ о несимпатичности такого таланта. Мы понимаемъ естественность такого приговора и, можетъ быть, сами не чужды желанія, чтобы авторъ побольше раздражалъ наши чувства, посильнѣе увлекалъ насъ. Но мы сознаемъ, что желаніе это нѣсколько обломовское, происходящее отъ склонности имѣть постоянно руководителей—даже въ чувствахъ...

„Приписывать автору слабую степень воспримчивости потому только, что впечатлѣнія не вызываютъ у него лирическихъ восторговъ, а молчаливо кроются въ его душевной глубинѣ—несправедливо. Напротивъ, чѣмъ скорѣе и стремительнѣе высказывается впечатлѣніе, тѣмъ чаще оно оказывается поверхностнымъ и мимо-

летнымъ. Примѣровъ мы видимъ множество на каждомъ шагу въ людяхъ, одаренныхъ неистощимымъ запасомъ словеснаго и мимическаго паюса. Если человѣкъ умѣетъ выдержать, взлелѣять въ душѣ своей образъ предмета и потомъ ярко и полно представить его,—это значить, что у него чуткая воспримчивость соединяется съ глубиною чувства. Онъ до времени не высказывается, но для него ничто не пропадаетъ въ мірѣ. Все, что живетъ и движется вокругъ него, все, чѣмъ богата природа и людское общество, у него все это

Какъ-то чудно

Живетъ въ душевной глубинѣ.

„Въ немъ, какъ въ магическомъ зеркалѣ, отражаются и по волѣ его останавливаются, застываютъ, отливаются въ твердыя недвижныя формы всѣ явленія жизни во всякую данную минуту. Онъ можетъ, кажется, остановить самую жизнь, навсегда укрѣпить и поставить передъ нами самый неуловимый мигъ ея, чтобы мы вѣчно на него смотрѣли, поучаясь или наслаждаясь.

„Такое могущество, въ высшемъ своемъ развитіи, стоитъ разумѣется всего, что мы называемъ симпатичностью, прелестью, свѣжестью или энергіей таланта. Но и это могущество имѣетъ свои степени, и, кромѣ того, оно можетъ быть обращено на предметы различнаго рода, что тоже очень важно. Здѣсь мы расходимся съ приверженцами такъ называемаго *искусства для искусства*, которые полагаютъ, что превосходное изображеніе древеснаго листочка столь же важно, какъ, на примѣръ, превосходное изображеніе характера человѣка. Можетъ быть, субъективно это будетъ и справедливо: собственно сила таланта можетъ быть одинакова у двухъ художниковъ, и только сфера ихъ дѣятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэтъ, тратящій свой талантъ на образцовыя описанія листочковъ и ручейковъ, могъ имѣть одинаковое значеніе съ тѣмъ, кто съ равною силою таланта умѣетъ



воспроизводить, на примѣръ, явленія общественной жизни. Намъ кажется, что для критики, для литературы, для самаго общества гораздо важнѣе вопросъ о томъ, на что употребляется, въ чемъ выражается художникъ, нежели то, какіе размѣры и свойства имѣетъ онъ въ самомъ себѣ, въ отвлеченіи, въ возможности.

„Какъ же выразился, на что потратился талантъ Гончарова? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ долженъ послужить разборъ содержанія романа“...

И уклонившись отъ категорическаго отвѣта на вопросъ о свойствахъ Гончаровскаго таланта, Добролюбовъ перешелъ къ сужденію о томъ, на что потратился талантъ художника, и занялся разборомъ содержанія „Обломова“. Къ какимъ выводамъ привелъ Добролюбовъ этотъ разборъ, вообще извѣстно: статья его о томъ, что такое обломовщина,—навсегда утвердила характеръ и размѣры общественнаго значенія созданнаго, Гончаровымъ типа, и сама по себѣ явилась одною изъ самыхъ блестящихъ статей нашей критической литературы.

Статья эта не потеряла своего значенія до настоящаго времени, хотя страницы журнала, впервые напечатаннаго ее, давно уже выцвѣли и поблекли. Но старинные, поблѣднѣвшіе портреты близкихъ людей говорятъ душѣ иногда больше, чѣмъ позднѣйшія репродукціи, выполненныя со всѣмъ мастерствомъ современной фотографической и художественной техники. Тихая и грустная поэзія отжившаго чаще находитъ пріютъ въ старинной условности воспроизведенія, въ пожелтѣвшей отъ времени бумагѣ, поблекшихъ узорахъ рамы, чѣмъ въ нашей до-нага раздѣтой „правдѣ“ внѣшняго изображенія, зеркальных стеклахъ и золотыхъ багетахъ. Такъ, есть особенная прелесть въ перечитываніи любимаго автора по старой книжкѣ журнала, гдѣ его произведеніе появилось впервые. Впечатлѣніе кажется болѣе непосредственнымъ, болѣе близкимъ къ духу бы-

лой эпохи, и позднѣйшему читателю легче стать на точку зрѣнія современниковъ автора, передъ которыми произведеніе открывалось во всей свѣжести и новизнѣ своего перваго появленія въ печати. Изъ непосредственности впечатлѣнія вытекаетъ и непосредственность сужденія, не зависящая ни отъ сопоставленія съ творчествомъ автора въ его цѣломъ, ни отъ требованій научнаго историческаго анализа.

Попытка представить себѣ положеніе читателя лѣтъ сорокъ назадъ, можетъ имѣть особое значеніе при изученіи отношеній Добролюбова и Гончарова. Эти отношенія становятся понятны, если взять не полныя собранія ихъ сочиненій, а книжки „Отечественныхъ Записокъ“ и „Современника“ за 1859 г. Въ первомъ изъ этихъ журналовъ, въ четырехъ начальныхъ книжкахъ, былъ напечатанъ „Обломовъ“, а уже въ пятой книжкѣ второго появилась Добролюбовская статья. Критикъ говорилъ о Гончаровѣ, зная его лишь по двумъ романамъ, такъ какъ „Обрывъ“ появился десять лѣтъ спустя, уже послѣ смерти Добролюбова, а мелкія статьи—и того позже. И тѣмъ замѣчательнѣе осторожность Добролюбова относительно категоричности сужденій о Гончаровѣ.

Эту категоричность сужденія о нашемъ писателѣ внесли съ собой чреватые категоричностями всякаго рода шестидесятые годы. По стопамъ Добролюбова, но съ гораздо меньшей проницательностью, остановился на общественномъ значеніи тѣхъ же романовъ Писаревъ. Въ статьѣ „Гончаровъ, Писемскій и Тургеневъ“ онъ привлекъ къ суду Гончарова, доказалъ по пунктамъ его виновность и объявилъ не заслуживающимъ ни малѣйшаго снисхожденія. При этомъ самой тяжкой виною писателя была объявлена его объективность. „Постоянно спокойный, ничѣмъ не увлекающійся,—говоритъ онъ о Гончаровѣ,—романистъ нашъ развязно подходитъ къ запутаннымъ вопросамъ общественной и част-

ной жизни своих героев и героинь; безстрастно и безпристрастно осматриваетъ онъ положеніе, отдавая себѣ и читателю самый ясный и подробный отчетъ въ мелкихъ его особенностяхъ, становясь поочередно на точку зрѣнія каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ, не сочувствуя особенно сильно никому и понимая по своему всѣхъ. Онъ обсуживаетъ положеніе и свойства своихъ дѣйствующихъ лицъ, но всегда воздерживается отъ окончательнаго приговора“...

Писаревъ предвидѣлъ возраженіе въ томъ смыслѣ, что нельзя же требовать, какъ общаго правила, отраженія личности рассказчика въ его произведеніи, что „объективность—высшее достоинство эпического поэта“. У критика есть готовый отвѣтъ на подобное возраженіе: онъ скажетъ, что это — одна изъ тѣхъ невѣрныхъ, а главное — устарѣлыхъ фразъ, отъ которыхъ не могутъ отстать робкіе люди, что рассказывать что-нибудь безъ особенной цѣли читающей публикѣ — недобросовѣстно и невѣжливо; что обаятельное дѣйствіе поэзіи заключается въ соприкосновеніи между мыслью автора и мыслью читателя... „На васъ дѣйствуетъ часто сила мысли, а мысль и чувство всегда бываютъ *личныя*; слѣдовательно, что же останется отъ поэтического произведенія, если вы изъ него вытравите личность автора? Вполнѣ объективная картина — фотографія; вполнѣ объективный рассказъ — показаніе свидѣтеля, записанное стенографомъ; вполнѣ объективная музыка — шарманка; добиться этой объективности значитъ уничтожить въ поэзіи всякій патетическій элементъ и вмѣстѣ съ тѣмъ убить поэзію, убить искусство, даже науку, даже всякое движеніе мысли“...

Неудивительно, что, ставъ на эту точку зрѣнія, Писаревъ лишилъ типъ Обломова всякаго общественнаго значенія—послѣдній оказался поставленнымъ только въ зависимость отъ своего неправильно сложившагося темперамента, притомъ же онъ не оригиналенъ, онъ —

повтореніе Бельтова, Рудина и Бешметева. И весь романъ оказался ничѣмъ инымъ, какъ „клеветою“ на русскую жизнь, а несчастный авторъ его, напрасно прикинувшійся прогрессистомъ „Обыкновенной исторіи“, съ одной стороны—умный и разсудительный человѣкъ, а съ другой — скептикъ и матеріалистъ, способный ужиться съ фантазеромъ и идеалистомъ; эгоистъ, свойство котораго проявляется въ тепловатомъ отношеніи къ общимъ идеямъ и даже болѣе — въ игнорированіи человѣческихъ и гражданскихъ интересовъ. „Обращаясь къ нашему потомству, Гончаровъ будетъ имѣть полное право сказать: не поминай лихомъ, а добромъ нечѣмъ!“

Однако нѣкоторыя стороны характеристики, данной Писаревымъ, замѣчательны, и мы остановимся на нихъ теперь же, чтобы не возвращаться потомъ. „Конечно,—признавалъ и Писаревъ, — таланту Гончарова должно отдать полную дань удивленія: онъ умѣетъ удерживать насъ на этомъ крошечномъ уголкѣ въ продолженіи цѣлыхъ сотенъ страницъ, не давая намъ ни на минуту почувствовать скуку или утомленіе; онъ чаруетъ насъ простотой своего языка и свѣжей полнотой своихъ картинъ, но, если вы по прочтеніи романа захотите отдать себѣ отчетъ въ томъ, что вы вмѣстѣ съ авторомъ пережили, передумали и перечувствовали, то у васъ въ итогѣ получится очень немного. Гончаровъ открываетъ вамъ цѣлый міръ, но міръ микроскопическій; какъ вы приняли отъ глаза микроскопъ, такъ этотъ міръ исчезъ, и капля воды, на которую вы смотрѣли, представляется вамъ снова простой каплей. Еслибы эта сила анализа, невольно подумаете вы, была направлена не на мелочи, а на жизнь во всей ея широтѣ, во всемъ ея пестромъ разнообразіи,—какія бы чудеса она могла произвести!—Эта мысль ошибочна; кто останавливается на анализѣ мелочей, тотъ, стало быть, и не способенъ идти дальше и подниматься выше. Гончаровъ останется на анализѣ мелочей потому, что у него нѣтъ побудитель-

ной причины перейти къ чему-либо другому; онъ холоденъ, его не волнуютъ и не возмущаютъ крупныя нелѣпости жизни: микроскопическій анализъ удовлетворяетъ его потребности мыслить и творить; на этомъ поприщѣ онъ пожинаетъ обильныя лавры—стало быть, о чемъ же еще хлопотать, къ чему еще стремиться?”

Въ другомъ мѣстѣ этой статьи, по поводу „Обыкновенной исторіи“, Писаревъ писалъ: „Оба Адуевы, дядя и племянникъ, не обратились никогда и не обратятся въ полунарицательныя имена, подобныя Онѣгину, Фамусову, Молчалину, Ноздреву, Манилову и т. п. Что сказать о личности Александра Ѳедоровича Адуева, племянника? Только и сказать, что у него нѣтъ личности, а между тѣмъ даже и безличность или безхарактерность не можетъ быть поставлена въ число его свойствъ. Онъ молодъ, пріѣзжаетъ въ Петербургъ съ большими надеждами и съ сильной дозой мечтательности; петербургская жизнь понемногу разбиваетъ его надежды и заставляетъ его быть скромнѣе и смотрѣть подъ ноги, вмѣсто того, чтобы носиться въ пространствахъ ээира. Онъ влюбился—ему измѣняетъ любимая дѣвушка; онъ напускаетъ на себя хандру—и понемногу отъ нея вылечивается; потомъ онъ влюбляется въ другую, и на этотъ разъ уже самъ измѣняетъ своей Дульцинеѣ, съ годами онъ становится разсудительнѣе; при этомъ онъ постоянно споритъ со своимъ дядей и мало-по-малу начинаетъ съ нимъ сходиться во взглядѣ на жизнь; романъ кончается тѣмъ, что оба Адуевы сходятся между собою совершенно въ понятіяхъ и наклонностяхъ.—„Это канва романа,—скажете вы,—это—общія черты, контуры, которые можно раскрасить, какъ угодно“. Это правда; и эти контуры такъ и остались нераскрашенными; бѣдность и недодѣланность ихъ опять-таки замаскированы тщательностью внѣшней отделки. Напримѣръ, Александръ ѣдетъ къ той дѣвушкѣ, которую онъ любитъ; онъ чувствуетъ сильное нетерпѣ-

ніе, и Гончаровъ чрезвычайно подробно рассказываетъ, въ какихъ именно внѣшнихъ признакахъ проявлялось это нетерпѣніе, какъ сидѣлъ его герой, какъ онъ перемѣнялъ положеніе, какое впечатлѣніе производили на него окрестныя виды; потомъ эта дѣвушка ему измѣнила, предпочла другого,—и Гончаровъ опять-таки съ дагерротипической вѣрностью воспроизводитъ внѣшнія выраженія отчаянія, а потомъ апатію своего героя. Онъ пишетъ вообще исторію болѣзни, а не характеристику больного; поэтому, если бы романъ попался въ руки какому нибудь разумному жителю луны, то этотъ господинъ могъ бы составить себѣ довольно вѣрное понятіе о томъ, какъ говорятъ, любятъ, живутъ, наслаждаются и страдаютъ на землѣ животныя, называемыя людьми. Но мы, къ сожалѣнію, все это знаемъ по горькому опыту, и потому тѣ общія черты, которыя нашъ романистъ разрабатываетъ съ замѣчательнымъ искусствомъ, представляютъ для насъ мало существеннаго интереса. Мы знаемъ, что отправляясь на свиданіе съ любимой женщиной, молодой человѣкъ чувствуетъ усиленное бѣненіе сердца, какъ подробно не описывайте этотъ симптомъ, вы охарактеризуете только извѣстное фізіологическое отпавленіе, а не очертите личной фізіономіи. Описывать подобные моменты все равно, что описывать, какъ человѣкъ жуеъ или храпитъ во снѣ, или сморкается. Дѣло другое, если герой, отправляясь на свиданіе, перебираетъ въ головѣ такія идеи, которыя составляютъ его типовое или личное свойство; тогда его мысли стоитъ отмѣтить и воспроизвести. Но Гончаровъ думаетъ иначе; онъ съ зеркальной вѣрностью отражаетъ все или, вѣрнѣе, все то, что находитъ удобоотражаемымъ, все безцвѣтное, т. е. именно все то, чего не слѣдовало и не стоило отражать“.

Трудно категоричнѣе высказаться о Гончаровѣ, чѣмъ высказался о немъ Писаревъ. И хотя потомство распорядилось иначе съ наслѣдствомъ Гончарова, чѣмъ

могъ предполагать его строгій критикъ, однако у Писарева являлись время отъ времени послѣдователи, которые, съ разными оговорками и уклоненіями, повторяли на разные лады, что Гончаровъ—только объективный художникъ и, какъ таковой, не имѣетъ отношенія къ исторіи нашей общественности въ тѣсномъ смыслѣ.

Мы допустили нѣкоторую хронологическую неточность, предполагая только теперь говорить о статьѣ Дружинина, появившейся, какъ извѣстно, въ 1859 году. Мы сдѣлали это умышленно: непосредственное сопоставленіе взглядовъ Добролюбова и Писарева для насъ было важнѣе внѣшней послѣдовательности фактовъ. Къ тому же Дружининъ сосредоточиваетъ свое вниманіе не столько на характеристикѣ Гончаровскаго творчества, сколько на психологическомъ анализѣ дѣйствующихъ въ „Обломовѣ“ лицъ и общемъ смыслѣ романа. Словъ „объективный“, „объективность“ критикъ какъ будто избѣгаетъ. „Онъ реалистъ, — говоритъ онъ о Гончаровѣ,—но его реализмъ постоянно согрѣтъ глубокой поэзіей; по своей наблюдательности и манерѣ творчества онъ достоинъ быть представителемъ самой натуральной школы, между тѣмъ какъ его литературное воспитаніе и вліяніе поэзіи Пушкина, любимѣйшаго изъ его учителей, навѣки отдаляютъ отъ Гончарова самую возможность *безплодной* и сухой натуральности...

„Подобно фламандцамъ, Гончаровъ націоналенъ, не отступенъ въ разѣ принятой задачѣ и поэтиченъ въ малѣйшихъ подробностяхъ созданія. Подобно имъ, онъ крѣпко держится за окружающую его дѣйствительность, твердо вѣруя, что нѣтъ въ мірѣ предмета, который не могъ бы быть возведенъ въ поэтическое представленіе силой труда и дарованія. Какъ художникъ фламандецъ, Гончаровъ не путается въ системахъ и не рвется въ области ему чуждыя. Какъ Доу, Ванъ деръ-Нээръ и Остадъ, онъ знаетъ, что ему незачѣмъ ходить далеко

за предметами творчества. Простой и даже какъ будто скупой на вымыселъ, подобно тремъ сейчасъ названнымъ великимъ людямъ, Гончаровъ, подобно имъ, не выдаетъ всей своей глубины поверхностному наблюдателю. Но подобно имъ, онъ является глубже и глубже съ каждымъ внимательнымъ взглядомъ, подобно имъ онъ ставитъ предъ наши глаза цѣлую жизнь данной сферы, данной эпохи и даннаго общества, для того, чтобъ, подобно имъ же, навсегда остаться въ теоріи искусства и освѣщать яркимъ свѣтомъ моменты дѣйствительности, имъ уловленной“.

### III.

Отзывы критики.—Шелгуновъ.— Вопросъ о роли и значеніи писателя въ общественной жизни.—Статья М. А. Протопопова.—Возраженіе Добролюбову.

Таковы были отзывы современной Гончарову критики объ его произведеніяхъ. Между послѣдними не было еще „Обрыва“, который въ это время начиналъ только создаваться въ душѣ художника. „Обрывъ“ появился не ранѣе, чѣмъ черезъ десять лѣтъ послѣ „Обломова“,—въ самомъ концѣ шестидесятыхъ годовъ, и возбудилъ, со страницъ „Вѣстника Европы“, еще больше шуму, чѣмъ первые два романа. А пока онъ создавался, вокругъ Гончарова, служившаго и по цензурной части, и по редактированію официальной „Сѣверной Почты“, кипѣла самая бурная эпоха русской жизни, самая нервная и страстная пора борьбы и стремленій, надеждъ и разочарованій. Небеса были холодны и пасмурны, но молодые побѣги весело выбѣгали на волю изъ-подъ старыхъ корней и—вотъ-вотъ, казалось имъ, выглянетъ солнце, пригрѣетъ и скажетъ: расти и ра-



дуйся! Но солнце не спѣшило выглянуть изъ-за тучъ, побѣги мерзли и гибли. Старая жизнь уходила медленно и неохотно; змѣиное шипѣнье слышалось въ ея прощальныхъ рѣчахъ. Порою, казалось, она крѣпла и возвращалась назадъ, какъ крѣпнетъ льдина, подъ несмѣлыми лучами ранняго весенняго солнца... Но работа кипѣла въ умахъ и сердцахъ, мѣнялись убѣжденія и взгляды, цѣлыя міросозерцанія опрокидывались вверхъ дномъ, начинался медленный и болѣзненный процессъ пересозданія жизни на новыхъ началахъ разума и справедливости. Вопросы одинъ за другимъ, одинъ настоятельнѣе и важнѣе другого, стали носиться въ воздухѣ надъ русской жизнью, задѣвая всѣхъ безъ исключенія, волнуя, тревожа, порождая жгучіе споры, обостряя инстинкты. И изъ-подъ проклятій и грохота ломавшейся старой жизни настоятельнѣе и, несмотря на безпре- станные перерывы, громче другихъ звучалъ одинъ вопросъ, вѣчный вопросъ, который не перестаетъ зада- вать человѣчество, о томъ,—

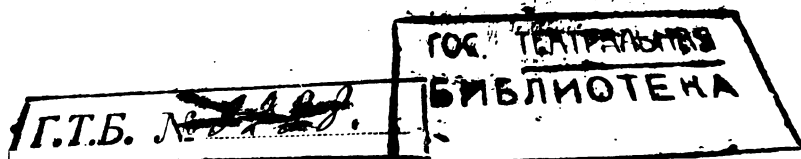
...для воли иль тюрьмы  
На этотъ свѣтъ родимся мы...

Отвѣчали различно, часто съ глухой рѣшимостью отчаянія, чтобы отвѣтить хоть чѣмъ-нибудь и прикрыть сердцу, созданную вопросомъ. Отвѣчали опрометчиво, но искренно, отвѣчали благоразумно, но фальшиво. Туманъ неизвѣстности и сомнѣнія могло разогнать только солнце, а его все еще не было, и напротивъ — темныя тучи опускались все ниже. Малодушные закри- чали: „назадъ!“—имъ почудилось, что они подошли къ краю бездны, и что дальше идти уже „некуда“...

Этотъ вихрь новыхъ мыслей и чувствъ не могъ не коснуться Гончарова, какъ бы онъ ни сторонился отъ жизни. Онъ зналъ, создавая послѣднюю часть своей трилогіи, что она встрѣтитъ иную публику, чѣмъ та, къ которой не постыдился выйти въ своемъ халатѣ Обломовъ. Онъ могъ предполагать, что и новые кри-

Гончаровъ.

2



тики окажутся къ нему требовательнѣе и суровѣе въ своихъ притязаніяхъ, чѣмъ прежніе, изъ которыхъ Бѣлинскій и Добролюбовъ уже отошли въ вѣчность. Произошла рѣзкая перемѣна въ читателяхъ, въ критикѣ, въ литературѣ.

Зазвучали голоса о роли и назначеніи писателя въ жизни. „Что такое писатель, какъ не общественный дѣятель; что такое писатель, какъ не интеллектуальная сила, какъ не путеводная звѣзда, за которой идутъ тѣ, кто понимать и рассуждать безошибочно не въ состояніи?“

Этотъ вопросъ поставилъ Шелгуновъ въ своей статьѣ: „Талантливая безталанность“, напечатанной въ „Дѣлѣ“ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ появленія „Обрыва“. Она посвящена Гончарову, и одно заглавіе само по себѣ указываетъ уже на отношеніе критика къ нашему писателю. Начинается статья обширной выпиской изъ Бѣлинскаго о томъ, что Гончаровъ—поэтъ, художникъ и больше ничего, что главная сила его заключается въ изяществѣ и тонкости кисти, вѣрности рисунка, и что поэзія есть первый, главный и единственный факторъ его творчества. Эта характеристика представлялась настолько вѣрной Шелгунову, что прибавлять къ ней, казалось, было нечего. Однако чувствовалась какая-то неловкость: какъ-никакъ, а статья Бѣлинскаго была написана болѣе двадцати лѣтъ назадъ, притомъ по поводу перваго изъ романовъ Гончарова. Какъ устранить эту неловкость, не нарушая логической убѣдительности сужденія? Выходъ повидимому былъ одинъ, и Шелгуновъ не преминулъ имъ воспользоваться. Онъ объявилъ, что въ міросозерцаніи Гончарова никакого измѣненія не совершилось, оно даже сузилось, пожалуй. Со свойственной ему опредѣлительностью и простотой Шелгуновъ такъ напрямикъ и заявилъ, что—„со времени „Обыкновенной исторіи“ въ мыслительныхъ способностяхъ Гончарова никакихъ су-

щественныхъ перемѣнъ не произошло. Оно и понятно—способности эти въ гостинномъ дворѣ не продаются. Гончаровъ остался по прежнему поэтомъ, талантомъ, живописцемъ, съ тою только разницею противъ 1847 г., когда появилась „Обыкновенная исторія“, что въ двадцать слишкомъ лѣтъ онъ еще больше окрѣпъ въ живописи и сталъ слабѣе, чѣмъ былъ, на почвѣ сознательной мысли“.

Статья Шелгунова, написанная съ высокой степенью убѣдительности и ясности изложенія, чрезвычайно важна для пониманія „Обрыва“ съ общественной точки зрѣнія и съ точки зрѣнія публициста шестидесятихъ годовъ. Но въ ней есть одна новая для своего времени и примѣчательная для насъ черта, доказывающая, противъ воли Шелгунова, насколько былъ важенъ „Обрывъ“ для пониманія нашего писателя. Расписавшись подъ словами Бѣлинскаго, что „Гончаровъ — поэтъ, художникъ—и больше ничего“, Шелгуновъ, не замѣчая противорѣчія, но обнаруживая тонкую критическую проницательность, восклицаетъ въ концѣ статьи: „Не правда, что Гончаровъ относится безучастно къ своимъ героямъ, что онъ держитъ себя объективно. Это невозможно и психологически“. Но доказательство этой мысли выведено критикомъ изъ общихъ началъ: „Литературное и всякое другое произведеніе есть результатъ субъективности. Нельзя отдѣлить своего я отъ своего произведенія. Авторъ можетъ не умѣть думать послѣдовательнымъ мышленіемъ, но тѣмъ не менѣе его думы, его симпатіи и антипатіи олицетворяются въ его герояхъ. Однимъ словомъ, авторъ весь въ своемъ произведеніи. Сила проявится силой, безсиліе—безсиліемъ. Романъ, не возбуждающій въ читателѣ прогрессивнаго мышленія и прогрессивнаго вывода, можетъ быть написанъ только отсталымъ и слабо мыслящимъ авторомъ. Не было примѣра, чтобы умный человѣкъ, работавшій десять лѣтъ, написалъ глупость“.

Это вообще, въ частности же Шелгуновъ обошелся съ Гончаровымъ болѣе чѣмъ запросто. На взглядъ критика, именно Гончаровъ и былъ тѣмъ авторомъ, который работалъ десять лѣтъ и написалъ глупость. „Въ „Обрывѣ“, — продолжаетъ Шелгуновъ, — Гончаровъ похоронилъ себя: миръ его праху! Если самъ авторъ не былъ въ состояніи понять, что сила современнаго писателя въ реализмѣ, а не въ идеализмѣ, — намъ не научить его“... Такъ, живой, впечатлительный публицистъ, фанатикъ своей идеи, говорилъ о живомъ, но медлительномъ беллетристѣ, не подходившемъ къ его публицистической программѣ. Съ его точки зрѣнія, насколько послѣдняя обусловливалась господствовавшими взглядами, а главное — потребностями эпохи, онъ былъ доказателенъ и даже, если угодно, правъ. Иначе говорить не могъ публицистъ шестидесятыхъ годовъ, для котораго романъ являлся прежде всего орудіемъ движенія прогрессивныхъ идей, и уже затѣмъ литературнымъ произведеніемъ. Не бѣда, если, въ своемъ увлеченіи, онъ отказалъ „Обрыву“ въ реализмѣ и счелъ его идеалистическимъ романомъ, — исторія литературы исправить этотъ промахъ и всему укажетъ свое мѣсто. Но гораздо прискорбнѣе то обстоятельство, что намекъ Шелгунова, выраженный, правда, въ самыхъ общихъ чертахъ, о субъективности Гончаровскаго творчества, былъ просмотрѣнъ публикой и критикой, и Гончаровъ сталъ переходить въ исторію литературы въ качествѣ художника *объективнаго* по основному свойству своего таланта, съ оговорками, впрочемъ, о родственности нѣкоторыхъ героевъ съ личностью самого автора.

Въ ноябрѣ 1891 г., черезъ мѣсяцъ послѣ смерти Гончарова, появилась, на страницахъ „Русской Мысли“, сильная статья М. А. Протопопова, посвященная доказательству той мысли, что Гончаровъ былъ психологомъ — индивидуалистомъ по преимуществу, писателемъ, произведенія котораго не могутъ быть раз-

смаатриваемы, какъ выраженіе и отраженіе извѣстной эпохи русской общественной жизни. Отдавая полную справедливость таланту Гончарова, красота котораго чувствуется и сила не подлежатъ сомнѣнію, но который, подобно Венерѣ Милосской, съ большимъ трудомъ поддается анализу и опредѣленію, г. Протопоповъ говоритъ по поводу „главной черты его духовной фязіономіи“: „Эта черта — ничѣмъ не возмутимое равнодушіе, или, по квалификаціи Гончарова, *апатія*,—конечно представляетъ собою самую подходящую почву для развитія въ художникѣ такъ называемой объективности. И дѣйствительно, какъ только вы попробуете подойти поближе къ таланту Гончарова и разложить его на составные его элементы, спокойствіе, равнодушіе, *объективность* этого таланта прежде всего представлятъ вашимъ глазамъ. Въ этомъ отношеніи изъ всѣхъ сверстниковъ Гончарова, членовъ извѣстной беллетристической *плеяды*, ближе всѣхъ приближается къ нему Писемскій. Но есть объективность и объективность. Одинъ объективенъ потому, что, по его убѣжденію, плетью обуха не перешибешь и, стало быть, пусть дѣла идутъ своимъ чередомъ, а наша хата съ краю: это—равнодушіе отъ сознанія своего безсилія, это—спокойствіе покорности. Другой равнодушенъ изъ крайняго эгоизма: лишь бы ему жилось тепло и свѣтло, а тамъ какъ хотите вы, люди, и послѣ него хоть трава не расти. Третій равнодушенъ въ силу философскаго убѣжденія, что добро и зло только разныя, но необходимыя стороны или степени одного и того же явленія, какъ свѣтъ и мракъ, тепло и холодъ: одно другое под-разумѣваетъ, одно другимъ обуславливается. Равнодушіе четвертаго исчерпывается краткой формулой „наплевать“: въ людяхъ столько грязи, столько цинизма и всяческаго свинства, что, право, не стоитъ много о нихъ хлопотать. И такъ далѣе. Равнодушіе Гончарова происходило не отъ разума, а отъ темпе-

раamenta, оно было не принципомъ, а потребностью, привычкой. Это равнодушіе не имѣло ничего общаго ни съ отчаяніемъ пессимиста, ни съ эпикурействомъ эгоиста, ни съ философіей квіетиста, ни съ холоднымъ презрѣніемъ циника,—это была чисто обломовская лѣнь, которой нѣтъ ни до чего дѣла просто потому, что соснуть хочется, и еще потому, что сколько ни волнуйся, ни жизнь, ни люди не измѣнятся, а отъ волненій, между тѣмъ, и печень, и желудокъ могутъ разстроиться. Разъ, единственный только разъ, Гончаровъ, можно сказать, вышелъ изъ себя: это было при встрѣчѣ съ Маркомъ Волоховымъ, на котораго нашъ объективистъ напалъ съ совершенно несвойственною ему запальчивостью и полемическимъ увлеченіемъ. Что же? Вѣдь, и Обломовъ, какъ помнитъ читатель, далъ однажды „громкую оплеуху“ Тарантьеву, который явился въ его глазахъ тѣмъ, чѣмъ Маркъ Волоховъ былъ для Гончарова съ самаго начала: ловкимъ мошенникомъ, настойчивымъ пройдохой и безстыднымъ шантажистомъ“.

„Еслибы онъ (Гончаровъ) былъ не прозаикомъ, а поэтомъ,—говоритъ Протопоповъ въ другомъ мѣстѣ,—его дѣятельность резюмировалась бы въ этихъ знаменитыхъ стихахъ:

Не для житейскаго волненья,  
Не для корысти, не для битвъ,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ...

„Насколько это „мы“ мало относилось бы къ самому автору этихъ стиховъ, рожденному именно для волненья и битвъ, настолько же оно было бы примѣнимо къ Гончарову—поэту. Романисту, уже по самому роду его работы, очень трудно ограничиться звуками и молитвами и, хочетъ ли онъ того или не хочетъ, ему непремѣнно надо какое-нибудь содержаніе, хотя бы оно выражалось исключительно въ образахъ. Отъ этой

обязанности не могъ уволить себя и Гончаровъ, но онъ умудрился общественныя задачи рѣшать на почвѣ личной психологіи, индивидуальныя, хотя и не случайныя, свойства своихъ героевъ поставить въ связь съ вопросами общественной фізіологіи или патологіи, психологическіе типы представить, какъ живыя общественныя силы“.

Принципіальная точка зрѣнія Добролюбова на „обломовщину“ встрѣтила сильное, но едва ли основательное, возраженіе со стороны г. Протопопова. Говоря объ этомъ романѣ, г. Протопоповъ считаетъ нужнымъ— „предварительно расчистить дорогу“, на которой онъ усматриваетъ препятствіе въ видѣ извѣстной статьи Добролюбова. — „Основной тезисъ статьи, говоритъ г. Протопоповъ, опредѣляется въ слѣдующихъ словахъ ея автора: „Въ повѣсти Гончарова отразилась русская жизнь, въ ней предстаетъ предъ нами живой современный русскій типъ, отчеканенный съ безпощадной строгостью и правильностью; въ ней сказалось новое слово нашего общественнаго развитія, произнесенное ясно и твердо, безъ отчаянія и безъ ребяческихъ надеждъ, но съ полнымъ сознаніемъ истины. Слово это — *обломовщина*; оно служитъ ключемъ къ разгадкѣ многихъ явленій русской жизни, и оно придаетъ роману Гончарова гораздо болѣе общественнаго значенія, нежели сколько имѣютъ его всѣ наши обличительныя повѣсти. Въ типѣ Обломова и во всей этой обломовщинѣ мы видимъ нѣчто болѣе, нежели просто удачное созданіе сильнаго таланта; мы находимъ въ немъ произведеніе русской жизни, знаменіе времени“...

„Я не имѣю возможности, — такъ начинается свое возраженіе г. Протопоповъ,—заняться здѣсь обстоятельнымъ опроверженіемъ статьи Добролюбова, да для простой „расчистки пути“ въ этомъ нѣтъ и надобности. Достаточно будетъ указать на тѣ чисто-полемическія или сатирическія преувеличенія, которыя дѣлаетъ Добролю-

бовъ въ видахъ широкаго обобщенія... „Раскройте,— говоритъ онъ (т. е. Добролюбовъ), — *Онѣгина, Героя нашего времени, Кто виноватъ, Рудина или Лишняя человека, или Гамлета Щиrowsкаго узда*— въ каждомъ изъ нихъ вы найдете черты, почти буквально сходныя съ чертами Обломова“. Разумѣется, найдемъ (продолжаетъ г. Протопоповъ), точно также, какъ безъ всякаго труда найдемъ у Добролюбова черты, „буквально сходныя“ съ чертами знаменитаго въ то время обскуранта Аскоченскаго. Добролюбовъ—писатель и Аскоченскій—писатель; Добролюбовъ пишетъ на бумагѣ, чернымъ по бѣлому, и Аскоченскій—то же самое; Добролюбовъ пишетъ по-русски—и Аскоченскій пишетъ по-русски; Добролюбовъ любитъ полемику—и Аскоченскій горячій полемистъ. И такъ далѣе. Цѣлую страницу можно занять перечисленіемъ „буквально сходныхъ“ чертъ между Добролюбовымъ и Аскоченскимъ. Слѣдуетъ ли отсюда, что Добролюбовъ и Аскоченскій — „едино суть“? Но совершенно съ такимъ же правомъ и Обломова можно признать братомъ по духу Онѣгину, Печорину, Бельтову и Рудину. Всѣ они одинаково, или почти одинаково, остались безъ вліянія на общую жизнь, — въ этомъ ихъ сходство, вѣрнѣе—сходство ихъ положеній. Но для Онѣгина, Печорина, Бельтова и Рудина именно въ этомъ невольномъ бездѣйствіи и заключалось проклятіе ихъ жизни, тогда какъ Обломовъ въ бездѣйствіи и полагалъ все свое счастье. Это можно было бы доказать цитатами пообильнѣе тѣхъ, которыя приводитъ Добролюбовъ для доказательства своего тезиса. А если такъ, то всѣ аналогіи и параллели Добролюбова разсыпятся прахомъ: нельзя поставить рядомъ людей, идеалы счастья которыхъ *діаметрально* противоположны. Обломовъ, умирающій на трехъ перинахъ отъ паралича, постигнувшаго его отъ обжорства и неподвижности, и, наприм., Рудинъ, умирающій со знаменемъ въ рукѣ на мостовой Парижа—это, будто бы-



люди одного типа! Нѣтъ, это — не обобщеніе, а очевидная полемическая натяжка“.

„Замѣтимъ мимоходомъ, что еслибы мы и приняли аналогію Добролюбова, то Гончарову отъ того не поздоровилось бы. Если Обломовъ не болѣе, какъ повтореніе Онѣгина, Печорина, Бельтова, Рудина, то въ чемъ же состоитъ то „новое слово“, которое будто бы удалось сказать Гончарову? И почему же Обломовъ— *знаменіе времени*, если обществу это знаменіе извѣстно уже нѣсколько десятковъ лѣтъ?“

Таково возраженіе г. Протопопова. Мы замѣтили, что оно едва ли основательно,—и вотъ почему. Добролюбовъ понималъ „буквальное сходство“ Обломова съ Онѣгинымъ, Рудинымъ и т. д. въ томъ смыслѣ, что всѣмъ имъ присущи общія и именно „индивидуально-психологическія“ черты, какъ безволіе, равнодушіе, эгоизмъ (пассивный), что нисколько не мѣшало ихъ различію во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Изъ того, что, допустимъ, Рудинъ умираетъ со знаменемъ въ рукѣ на улицахъ Парижа, слѣдуетъ ли, что и въ обыкновенной жизни онъ былъ пламеннымъ героемъ, а не безхарактернымъ себялюбцемъ? И можно ли утверждать категорически, что Обломовъ не былъ бы способенъ, еслибы попалъ на улицы Парижа въ дни революціи, отдать жизнь за идею свободы? Добролюбовъ имѣлъ въ виду не сплошное сопоставленіе Обломова съ упомянутыми параллелями, а то, что Гончарову удалось опредѣлить и наглядно указать общую этимъ параллелямъ психологическую черту, мѣшавшую имъ быть активными дѣятелями на поприщѣ общественнаго развитія. Дѣло вовсе не въ томъ, въ чемъ Обломовъ полагалъ свое счастье; важно было указать, что изъ Обломова ничего не вышло *потому же*, почему ничего не вышло изъ Печорина, Онѣгина, Бельтова. А на сходствѣ внѣшнихъ положеній Добролюбовъ не останавливался вовсе, въ этомъ случаѣ — „полемическая натяжка“ на

сторонѣ г. Протопопова. Не говорилъ Добролюбовъ и того, что Обломовъ былъ *повтореніемъ* Онѣгина, Печорина и прочихъ.

Мысль Добролюбова совершенно ясна. Онъ говоритъ: „отъ появленія перваго изъ нихъ, Онѣгина, прошло уже тридцать лѣтъ. То, что было тогда въ зародышѣ, что выражалось только въ неясномъ полусловѣ, произнесенномъ шепотомъ, то приняло уже теперь опредѣленную и твердую форму, высказалось открыто и громко“. Затѣмъ: „типы, созданные сильнымъ талантомъ, долговѣчны: и нынѣ живутъ люди, представляющіе какъ будто сколокъ съ Онѣгина, Печорина, Рудина, и пр., и не въ томъ видѣ, какъ они могли бы развиваться при другихъ обстоятельствахъ, а именно въ томъ, въ какомъ они представлены Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Тургеневымъ. Только въ общественномъ сознаніи всѣ они болѣе и болѣе превращаются въ Обломова“.

Это нѣчто иное, чѣмъ то, что усматриваетъ г. Протопоповъ въ Добролюбовской статьѣ. Въ иномъ смыслѣ понималъ Добролюбовъ и „знаменіе времени“ въ примѣненіи къ Обломову: „Теперь Обломовъ является предъ нами, говоритъ Добролюбовъ,—разоблаченный, какъ онъ есть, молчаливый, сведенный съ красиваго пьедестала на мягкій диванъ, прикрытый вмѣсто мантии только престорнымъ халатомъ. Вопросъ: *что онъ дѣлаетъ?* въ чемъ смыслъ и цѣль *его жизни?*— поставленъ прямо и ясно, не забытъ никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало, или настаетъ неотлагательно время работы общественной... И вотъ почему мы сказали въ началѣ статьи, что видимъ въ романѣ Гончарова *знаменіе времени*“.

Очевидно, „знаменіе времени“ понималось здѣсь въ томъ смыслѣ, что яркое обнаруженіе обломовщины въ русскихъ дѣятеляхъ было особенно важно и *своевременно* въ эпоху напряженной общественной работы.

Эти сопоставленія свидѣтельствуютъ съ достаточной

убѣдительно, насколько статья Добролюбова была грубо понята и не вполне правильно истолкована г. Протопоповымъ.

Но сдѣланное г. Протопоповымъ указаніе на „психологическій индивидуализмъ“, какъ коренную черту Гончаровскаго творчества, не лишено извѣстнаго значенія. Критикъ охарактеризовалъ эту черту, но упустилъ изъ вида тутъ же отмѣтить другую — способность обобщать каждую мелкую деталь до типическихъ размѣровъ, а безъ признанія этой способности Гончаровъ перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть. Благодаря этимъ обобщеніямъ и создается общественное значеніе романовъ Гончарова, значеніе, съ отрицаніемъ котораго никакъ нельзя согласиться. Статья Добролюбова опредѣляетъ этотъ вопросъ убѣдительно и по существу.

#### IV.

Отзывъ Аполлона Григорьева.—Общее замѣчаніе Григорьева о Гончаровѣ.—Позднѣйшая критика: Е. Цабель, К. Валишевскій.

Особый этюдъ посвятилъ Гончарову и Аполлонъ Григорьевъ. Его статья сама по себѣ мало замѣчательна, но она интересна, главнымъ образомъ, съ точки зрѣнія тѣхъ требованій, какія предъявляла въ концѣ пятидесятихъ годовъ критика къ художникамъ, не довольствуясь, подобно тому, что мы видимъ въ настоящее время, однимъ талантомъ, хотя бы и большимъ, но требуя еще и чего-то больше, идеи, глубокой и *поэтической* въ основѣ произведенія.

„Яркія достоинства таланта Гончарова признаны, были, говоритъ Аполлонъ Григорьевъ, безъ исключенія всѣми при появленіи его перваго романа: „Обыкновенной исторіи“. Разсказъ его „Иванъ Савичъ Поджабринъ“, написанный, какъ говорятъ, прежде, но напечатанный послѣ „Обыкновенной исторіи“, многимъ

показался недостойнымъ писателя, такъ блестяще выступившаго на литературное поприще—хотя, признаюсь откровенно, я никогда не раздѣлялъ этого мнѣнія. Въ „Поджабринѣ“ точно такъ же, какъ и въ „Обыкновенной исторіи“, обнаруживались почти одинаково всѣ данныя таланта Гончарова, и какъ то, такъ и другое произведение страдали равными, хотя и противоположными недостатками. Въ „Обыкновенной исторіи“ голый скелетъ психологической задачи слишкомъ рѣзко выдается изъ-за подробностей; въ „Поджабринѣ“ частныя, внѣшнія подробности совершенно поглощаютъ и безъ того уже небогатое содержаніе; оттого-то оба эти произведенія—собственно не художественныя созданія, а этюды, хотя, правда, этюды, блестящіе яркимъ жизненнымъ колоритомъ, выказывающіе несомнѣнный талантъ высокаго художника, но художника, у котораго анализъ, и притомъ очень дешевый и поверхностный анализъ, подѣлъ всѣ основы, всѣ корни дѣятельности. Сухой догматизмъ постройки „Обыкновенной исторіи“ кидается въ глаза всякому. Достоинство „Обыкновенной исторіи“ заключается въ отдѣльныхъ художественно обработанныхъ частностяхъ, а не въ цѣломъ, которое всякому, даже самому пристрастному читателю представляется какимъ-то натянутымъ развитіемъ напередъ заданной темы.

„Та же самая антипоэтичность мысли оказывается и въ „Снѣ Обломова“, этомъ зернѣ, изъ котораго родился весь Обломовъ, этомъ фокусѣ, къ которому онъ весь приводится, для котораго чуть-ли не весь онъ написанъ... Антипоэтичность азбучно-практической темы тѣмъ непріятнѣе подѣйствовала на безпристрастныхъ читателей, что внѣшнія силы таланта выступили тутъ съ необычайною яркостью. Вы помните, что прежде чѣмъ авторъ переноситъ васъ въ „райскій уголокъ зелени“, созданный сномъ Обломова, онъ нѣсколькими штрихами мастерского карандаша рисуетъ иной край,

иную жизнь, совершенно противоположные тѣмъ, въ которые переносить насъ сонъ героя... Вы чувствуете въ манерѣ изложенія присутствіе того истиннаго, спокойнаго творчества, которое по волѣ своей переноситъ васъ въ тотъ или другой міръ и каждому сочувствуетъ съ равною любовію... И потомъ, передъ вами до мелкихъ отбѣнковъ создается знакомый вамъ съ дѣтства быть, міръ тишины и невозмутимаго спокойствія во всей его непосредственности. Авторъ становится истиннымъ поэтомъ—и, какъ поэтъ, умѣетъ стоять въ уровень съ создаваемымъ имъ міромъ, быть комически-наивнымъ въ разсказѣ о чудовищѣ, найденномъ въ оврагѣ обитателями Обломовки, и глубоко трогательнымъ въ созданіи матери Обломова, и истиннымъ психологомъ въ исторіи съ письмомъ, которое такъ страшно было распечатать мирнымъ жителямъ „райскаго уголка зелени,“ и, наконецъ, эпически-объективнымъ художникомъ въ изображеніи того послѣ-обѣденнаго сна, который объемлетъ всю Обломовку. Помните еще мѣсто о сказкахъ, которыя повѣствовались Ильѣ Ильичу и, конечно, всѣмъ намъ болѣе или менѣе извѣстны, которыхъ пеструю и широко-фантастическую канву поэтъ развертываетъ съ такою силою фантазіи? Помните еще остальные подробности: семейный разговоръ въ сумерки, негодованіе жены Ильи Ивановича на его безпамятство въ отношеніи къ разнымъ примѣтамъ, сборы его отвѣчать на письмо, составлявшее нѣсколько времени предметъ тревожнаго страха?.. Все это полный, художнически созданный міръ, влекущій васъ неодолимо въ свой очарованный кругъ“...

„И для чего же гибель сія бысть? спрашиваетъ Григорьевъ: для чего же поднять весь этотъ міръ, для чего *объективно* изображенъ онъ съ его настоящимъ и съ его преданіями?“—и приходитъ къ заключенію, что для того, чтобы „наругаться надъ нимъ, во имя практически—азбучнаго правила, во имя китайскихъ воз-

зрѣній Петра Ивановича Адуева или во имя татарско-нѣмецкаго воззрѣнія Штольца“...

И не проникнувъ въ глубину идейнаго и общественнаго значенія „Обломова“, Григорьевъ—какъ это ни странно — сдѣлалъ удивительно-вѣрное заключеніе о Гончаровѣ вообще: „Какъ, восклицаетъ онъ, читая произведенія Гончарова, не скажешь, что талантъ ихъ автора неизмѣримно выше воззрѣній, ихъ породившихъ!“ Слѣдовало добавить только, что талантъ этотъ творилъ, не подозревая, какое значеніе приобрѣтетъ твореніе его съ точки зрѣнія общихъ идей...

Позднѣйшая критика мало внесла въ изученіе нашего писателя и, по большей части отказывая ему въ прогрессивномъ значеніи, охотно примирялась съ вышеприведенной формулой, несмотря на ея видимое противорѣчіе. Со словъ русской критики стали смотрѣть на Гончарова и на Западъ. Для Е. Цабеля, на-примѣръ, посвятившаго Гончарову въ своихъ „Russische Litteraturbilder“ (1899) чрезвычайно содержательный и стройный этюдъ, послѣдній — *ist dagegen Dichter im ausschliesslichen Sinne des Wortes*,—„напротивъ того, поэтъ въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова, чуждый какихъ-либо предвзятыхъ идей, истиннѣйшій художникъ и отличается этимъ отъ всѣхъ другихъ повѣствователей своего народа. Всѣ остальные писатели—люди новѣйшаго времени, и изображаютъ Россію, горячо стараясь проникнуться всѣми результатами европейской культурной мысли. Одинъ Гончаровъ—консерваторъ по міросозерцанію, классикъ по формѣ, почитатель и изобразитель старой Россіи съ ея кореннымъ раболѣпствомъ и патріархальнымъ устройствомъ“.

М. Вогюэ, въ книгѣ „Le roman russe“, только упоминаетъ о Гончаровѣ, обѣщая дать его характеристику въ будущемъ К. Валишевскій, въ узко-тенденціозной своей „Littérature russe“, посвящаетъ нашему писателю блѣдную главу, останавливаясь только на

„Обломовъ“. Приводя отзывъ Бѣлинскаго о томъ, что Гончаровъ — „поэтъ и ничего больше“, Валишевскій говоритъ: „Il voyait juste, l'auteur devait se distinguer de Tourguéniev, comme de Dostoïevski et de Tolstoï, par une absence presque complète de réflexion et d'analyse. La vision de la vie est absolument archaïque et ses idées remontent au déluge“.

Очевидно, время извѣстности Гончарова за границей еще не наступило.

---

## V.

Понятія: субъективность и объективность по отношенію къ творчеству.—Субъективность—отличительная черта произведеній Гончарова.—Его собственныя замѣчанія по этому вопросу.—„Нарушеніе воли“.—Его сочиненія, какъ матеріаль для доказательства автобіографичности его изображеній.

Субъективность и объективность—такъ ли ужъ удалены эти понятія другъ отъ друга? и не простая ли здѣсь игра словами? Попытаемся вкратцѣ, не забираясь въ дебри отвлеченностей, разобраться въ этихъ понятіяхъ. Конечно, всякое произведеніе человѣческаго ума и таланта, въ которомъ человѣкъ является не механическимъ факторомъ, отражаетъ на себѣ личность творца, независимо отъ предмета изображенія или содержанія работы. Если мы будемъ примѣнять общія психологическія начала къ сужденію о писателяхъ-художникахъ, то окажется, что объективнымъ нельзя будетъ назвать ни одного изъ нихъ, потому что всѣ они сказались въ своихъ произведеніяхъ свойственными каждому изъ нихъ въ отдѣльности отличительными чертами. Но вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожится различіе между характеромъ творческой работы, напримѣръ, Шекспира и Байрона, олимпійца Гёте и Достоевскаго. Работа однихъ — аналити-

ческая; они творятъ, разлагая жизнь на мельчайшіе атомы; работа другихъ — созидательная, комбинирующая,—они видятъ простымъ глазомъ то, что у другихъ является результатомъ анализа. Отказаться отъ этого различія значило бы лишить изслѣдователя и одного изъ крупнѣйшихъ пріобрѣтеній въ области предшествовавшаго изученія, и одного изъ наиболѣе важныхъ орудій въ дальнѣйшей работѣ.

Процессъ изображенія жизни тѣмъ или другимъ художникомъ неизмѣнно совершается по одному изъ двухъ путей, совпадающихъ съ тѣми путями, которые извѣстны въ психологін подъ именемъ объективнаго и субъективнаго методовъ. Этотъ психологическій принципъ, какъ признаваемый единственно вѣрнымъ, и долженъ лечь въ основу нашего дѣленія. Художникъ наблюдаетъ или явленія жизни во внѣ, въ ихъ матеріальной сущности, или свое отношеніе къ нимъ; въ первомъ случаѣ его стремленія будутъ направлены къ тому, чтобы отдѣлить собственное *я* отъ предмета и направить его на самый процессъ, на технику работы; во-второмъ—чтобы выразить это *я* какъ можно полнѣе, отчего такъ часто страдаетъ полнота и перспективная точность въ изображеніи самаго предмета. Отъ никому невѣдомыхъ тайниковъ художественнаго творчества мы переносимъ центръ тяжести къ его проявленію, и съ этой точки зрѣнія „Капитанская дочка“ Пушкина можетъ быть смѣло названа идеально-объективнымъ произведеніемъ, гдѣ личность художника всецѣло поглощена творческимъ мастерствомъ работы, и гдѣ, благодаря высокой степени этого мастерства, каждый предметъ говоритъ намъ самъ о себѣ, о своей сущности, а не объ отношеніи къ нему автора.

Но возьмемъ для примѣра стихотвореніе величайшаго лирика русской поэзіи—Лермонтова, для котораго весь міръ былъ неистощимой сокровищницей символовъ для выраженія *его* думъ, *его* душевныхъ





ляется не содержимымъ, а содержащимъ, тою суммою внѣшнихъ условій, среди которыхъ съ возможной полнотой и опредѣленностью выражается его „я“; естественно, что въ данномъ случаѣ изображеніе внѣшняго міра само по себѣ отодвигается на второй планъ. Словомъ, если рассуждать такимъ образомъ, то какъ же отвѣтить на вопросъ, къ какому изъ двухъ видовъ художественнаго творчества долженъ быть отнесенъ Гончаровъ?

Не расходясь съ нами въ этомъ пониманіи объективнаго и субъективнаго, критика ставила объективность Гончаровскаго творчества, какъ мы видѣли, внѣ всякаго сомнѣнія. Даже болѣе: она упрекала, бранила его за то, что онъ рисовалъ все, что подвернется подъ руку, не опредѣляя вовсе или опредѣляя недостаточно свое внутреннее отношеніе къ предмету изображенія. Шелгуновъ только мимоходомъ остановился на этомъ вопросѣ, и то указалъ на субъективность Гончарова, какъ писателя вообще, исходя изъ общечеловѣческихъ началъ, и его замѣчаніе прошло безслѣдно,—по крайней мѣрѣ, оно не повліяло на общеустановившееся мнѣніе о Гончаровѣ, какъ художникѣ по преимуществу объективномъ.

Мы рѣшительно не можемъ согласиться съ этимъ мнѣніемъ. Изученіе творчества Гончарова въ его цѣломъ приводитъ насъ къ глубокому убѣжденію въ томъ, что передъ нами одинъ изъ наиболѣе субъективныхъ писателей, для которыхъ раскрытіе своего „я“ было важнѣе изображенія самыхъ животрепещущихъ и интересныхъ моментовъ современной имъ общественной жизни. Первое давало содержаніе, второе опредѣляло національный колоритъ и форму. Доказательство этой мысли должно выяснить вмѣстѣ съ тѣмъ и то сплошное недоразумѣніе между Гончаровымъ и критикой, которое едва ли возможно объяснить съ какой-либо иной точки зрѣнія. Требования, предъявлявшіяся кри-

тикой къ писателю, котораго она признавала безстрастнымъ и безпристрастнымъ изобразителемъ общественной жизни, были своего рода Прокрустовымъ ложемъ для Гончарова, сторонившагося отъ этой жизни и рисовавшаго только „свою жизнь и то, что къ ней приростало“.

Это—подлинныя слова Гончарова. Онъ высказалъ ихъ въ своей авторской исповѣди тогда, когда его критики сошли уже съ литературной и жизненной сцены. „Лучше поздно, чѣмъ никогда“ — таково было заглавіе этой исповѣди, и по отношенію къ Гончарову это заглавіе имѣетъ по истинѣ знаменательный смыслъ. Не будь этой исповѣди, у насъ не было бы одного изъ наиболѣе вѣскихъ свидѣтельствъ справедливости нашей мысли. Въ самомъ дѣлѣ, прислушаемся къ тому, что говорить въ заключительныхъ строкахъ исповѣди самъ писатель о своемъ творчествѣ. „Напрасно — нѣкоторые предлагали задачи для романа: „Опишите такое-то событіе, такую-то жизнь, возьмите тотъ или другой вопросъ, такого-то героя или героиню!“

— „Не могу, не умѣю!—воскликаетъ въ отвѣтъ на это Гончаровъ.—*То, что не выросло и не созрѣло во мнѣ самомъ, чего я не видѣлъ, не наблюдалъ, чѣмъ не жилъ,—то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунтъ, какъ есть своя родина, свой родной воздухъ, друзья и недруги, свой міръ наблюденій, впечатлѣній и воспоминаній,—и я писалъ только то, что переживалъ, что мыслилъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ“...*

Эти слова огромной цѣны и значенія для уясненія творчества Гончарова. Они же были и послѣдними словами его, какъ писателя. Въ нихъ звучитъ своего рода завѣщаніе, обращенное къ намъ, представителямъ грядущихъ поколѣній, выполнить по отношенію къ писателю то, чего не было сдѣлано при его жизни. „Напрасно я ждалъ,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ о

скрытомъ смыслѣ своихъ произведеній,—что кто-нибудь и кромѣ меня прочтетъ между строками и, полюбивъ образы, свяжетъ ихъ въ одно цѣлое и увидитъ, что именно говоритъ это цѣлое. Но этого не было“...

Мы знаемъ другое завѣщаніе Гончарова. Это завѣщаніе—статья его: „Нарушеніе воли“, въ которой онъ просилъ не печатать послѣ его смерти никакихъ документовъ и бумагъ, имѣющихъ автобіографическое значеніе, въ особенности—черновыхъ набросковъ и писемъ,—и, пока разберутся въ томъ, насколько былъ правъ писатель, дѣлая такое завѣщаніе (не разъ уже нарушавшееся впрочемъ), воля его должна остаться неизмѣнной.

Но онъ оставилъ намъ богатое автобіографическое наслѣдство въ своихъ сочиненіяхъ. Въ нихъ онъ подробно, до мелочей, разсказалъ свою жизнь и то, „что къ ней приростало“, и этого слишкомъ достаточно, чтобы сдѣлать попытку дополнить сухія внѣшнія данныя о жизни Гончарова раскрытіемъ нѣкоторыхъ внутреннихъ сторонъ его личности—и какъ человѣка, и въ особенности какъ художника.

Подобная попытка и составляетъ существенную часть нашей работы.

Въ зависимости отъ этого, насъ будетъ интересовать ближайшимъ образомъ то, что касается личности Гончарова, тѣхъ чертъ, которыя носятъ на себѣ, по нашему мнѣнію, автобіографическій характеръ,—то „что къ нему приростало“, непосредственное отраженіе среды, въ которой жилъ Гончаровъ, имѣеть для насъ второстепенное значеніе, да и въ количественномъ отношеніи оно занимаетъ весьма незначительное мѣсто, сравнительно съ матеріаломъ автобіографическимъ по существу.

---

## VI.

[Отраженіе личности Гончарова въ его произведеніяхъ].—Обстановка дѣтства.—Параллели.—Раннія впечатлѣнія.—„Неясное представленіе объ обломовщинѣ“.—Семейная атмосфера.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ родился въ 1812 г. (или около: число и мѣсяцъ въ точности неизвѣстны, такъ какъ метрика сгорѣла въ пожаръ 1812 г.,—стало быть, не позже сентября этого года), въ Симбирскѣ, въ семьѣ мѣстнаго виднаго дѣятеля изъ купцовъ.

Такъ гласитъ біографическая справка. Мы и начнемъ послѣдовательную характеристику Гончарова съ изображенія той обстановки, гдѣ онъ родился и провелъ раннее дѣтство. Это была обстановка приволья и свободы купеческо-помѣщичьей жизни первыхъ десятилѣтій прошлаго вѣка, но безъ причудъ и родовитой спеси крѣпостного дворянства. У Гончаровыхъ была цѣлая деревня, настоящее имѣніе въ самомъ городѣ: домъ—полная чаша, дворы, амбары, людскія, погребя, ледники со всевозможными запасами, обширная дворня, полное хозяйство,—словомъ, всѣмъ и каждому въ этой семьѣ жилось привольно и сытно, и самое крѣпостное право, благодаря вліянію города и общему мирному настроенію, теряло свой мрачный колоритъ. Во всякомъ случаѣ, оно не оставило въ душѣ мальчика тѣхъ острыхъ и жгучихъ впечатлѣній, какими судьба такъ щедро наградила, напримѣръ, Тургенева.

Не трудно замѣтить, что къ подобной же обстановкѣ, мягкой и усыпляющей, нисходятъ корнями своими и всѣ близкіе (и даже очень!) родственники Гончарова—Сашенька Адуевъ, Ильюша Обломовъ, Борисъ Райскій. Молодой Адуевъ, переживая, какъ впослѣдствіи Гончаровъ, первыя впечатлѣнія провинціала въ Петербургѣ,

съ отрадой вспоминаеть „свой городъ“, домики съ остроконечными крышами, палисаднички, голубятни, домики-фонари, домики съ флигелями-будками,—„этотъ весь спрятался въ зелени; тотъ обернулся на улицу задомъ, а тутъ на двѣ версты тянется заборъ, изъ-за котораго выглядываютъ съ деревьевъ румяныя яблоки,—искушеніе мальчишекъ... Присутственныя мѣста—такъ и видно, что присутственныя мѣста: близко безъ надобности никто не подходитъ... А пройдешь тамъ, въ городѣ, двѣ, три улицы, ужъ и чуешь вольный воздухъ, начинаются плетни, за ними огороды, а тамъ и чистое поле съ яровымъ. А тишина, а неподвижность, а скука—и на улицѣ, и въ людяхъ тотъ же благодатный застой! И всѣ живутъ вольно, на распашку, никому не тѣсно; даже куры и пѣтухи свободно расхаживаютъ по улицамъ, козы и коровы щиплютъ траву, ребятишки пускаютъ змѣй“...

Въ этомъ же видѣ застаеть „свой городъ“ и Гончаровъ, когда пріѣзжаетъ, по окончаніи университетскаго курса на родину. Тѣ же дома и домишки, палисадники, заборы, присутственныя мѣста. Ребятишки, если не пускаютъ змѣй, то—„среди улицы располагаются играть въ бабки“. У забора—коза, одна изъ тѣхъ, которыхъ видѣлъ Адуевъ, щиплетъ траву...

Пріѣзжаетъ въ тотъ же городъ и студентъ Райскій. Домъ его—тоже „маленькое имѣніе“, у самаго города, съ превосходными видами на Заволжье и страшнымъ обрывомъ, куда, между прочимъ, не пускали въ дѣтствѣ и Ильюшу Обломова. „Какой Эдемъ распахнулся ему въ этомъ уголкѣ, откуда его увезли въ дѣтствѣ, и гдѣ потомъ онъ гостилъ мальчикомъ иногда, въ лѣтнія каникулы! Какіе виды кругомъ—каждое окно въ домѣ было рамою своей особенной картины! Съ одной стороны Волга съ крутыми берегами и Заволжьемъ; съ другой—широкія поля, обработанныя и пустыя, овраги, и все это замыкалось далью синѣвшихъ горъ.

Съ третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздухъ свѣжій, прохладный, отъ котораго какъ отъ лѣтняго купанья, пробѣгаетъ по тѣлу дрожь бодрости“. Въ этомъ Эдемѣ, какъ въ „Грачах“ Адуева, въ „Обломовкѣ“, наконецъ, въ усадьбѣ Гончаровыхъ,—на первомъ планѣ — хозяйство, козы, куры, повара, дворня, „баловство“, которое охватываетъ юношей, „какъ паромъ“ — сладкой нѣгой внимательности и ухода. „Кромѣ семьи, старые слуги, съ нянькой во главѣ, смотрять въ глаза, припоминають мои вкусы, привычки, гдѣ стоялъ мой письменный столъ, на какомъ креслѣ я всегда сидѣлъ, какъ постлатъ мнѣ постель. Поваръ припоминаетъ мои любимыя блюда—и всѣ не наглядятся на меня“.

Это говоритъ Гончаровъ о своемъ возвращеніи на родину изъ столицы. Но таково же было и его дѣтство, рассказанное въ „Обломовѣ“; няня, упомянутая выше, была та же самая няня, которая смотрѣла за маленькимъ Обломовымъ и не пускала его въ оврагъ и на галерею, какъ не пускали и Гончарова лазить по деревьямъ, по крышамъ или взбираться на колокольню.

Гончаровъ былъ въ дѣтствѣ, по его же словамъ, зоркій и впечатлительный ребенокъ. У него тогда уже, среди этого беззаботнаго житья-бытья, бездѣлья и лежанья, зарождалось неясное представленіе объ „обломовщинѣ“. Столь же зоркимъ, „ничего не пропускающимъ“ и впечатлительнымъ ребенкомъ былъ Пльюша Обломовъ: „ни одна мелочь, ни одна черта не ускользаетъ отъ пытливаго вниманія ребенка; неизгладимо врѣзывается въ душу картина домашняго быта; напивается мягкій умъ живыми примѣрами и безсознательно чертитъ программу своей жизни по жизни, его окружающей“. Ни одна черта, ни одна особенность не ускользаетъ и отъ наблюдательнаго взора Райскаго; по тому, какъ онъ ведетъ себя въ школѣ и относится къ объясненіямъ учителя, можно съ увѣренностью ска-

зять, что его наблюдательность, въ связи съ нѣкоторой не то разсѣянностью, не то распущенностью талантливаго барчука, развилась подъ знойными лучами обломовскаго солнца, подъ стукъ ножей обломовской кухни. Дома, въ Обломовкѣ, онъ оставилъ няню, Захарку, Антипа, Аверку (Акимку-повара—въ „Воспоминаніяхъ“), Арапку, которыхъ онъ въ точности изучилъ и запомнилъ; въ школѣ онъ тѣмъ же переимчивымъ взоромъ наблюдаетъ учениковъ и учителя. „И доску, на которой пишутъ задачи, замѣтилъ, даже мѣлъ, и тряпку, которою стирають съ доски. *Кстати тутъ же представилъ и себя, какъ онъ сидитъ, какое у него должно быть лицо, что другимъ приходится на умъ, когда они глядятъ на него, какимъ онъ имъ представляется*“.

Кромѣ обломовки въ городѣ, Гончарову была знакома Обломовка-деревня. Обломовка романа принадлежала, рассказываетъ авторъ, издавна роду Обломовыхъ; рядомъ съ ней лежало селѣцо Верхлѣво, которымъ владѣлъ богатый помѣщикъ, никогда не показывавшійся въ свое имѣніе. Въ этомъ имѣніи управляющимъ былъ нѣмецъ Штольцъ, открывшій у себя пансіонъ для обученія дѣтей окрестныхъ помѣщиковъ. Мы можемъ дать болѣе опредѣленныя свѣдѣнія объ этомъ имѣніи—оно находилось на правомъ берегу Волги и принадлежало княгинѣ Хованской. Тамъ существовалъ и пансіонъ, куда былъ отданъ маленькій Гончаровъ, но училъ въ немъ не нѣмецъ Штольцъ, а священникъ, воспитанникъ казанской духовной академіи, человекъ просвѣщенный и, можно думать, широко образованный; зато нѣмцу Штольцу соотвѣтствовала *француженка*, (или нѣмка, по дѣвической фамиліи Липманъ), жена священника, учившая дѣтей французскому языку. И маленькій Обломовъ, и Райскій немногому научились въ этой школѣ; едва ли многому научился въ ней и Гончаровъ, хотя онъ и относился къ воспоминаніямъ о ней съ видимою симпатіей. Свя-



щенникъ княжескаго имѣнія напоминаетъ верхлёвскаго старика Штольца. „Нѣмецъ былъ человѣкъ дѣльный и строгій, какъ почти всѣ нѣмцы. Можетъ быть, у него Ильюша и успѣлъ бы выучиться чему-нибудь хорошенько, еслибъ Обломовка была верстахъ въ пятистахъ отъ Верхлёва. А то какъ выучиться? Обаяніе обломовской атмосферы простиралось и на Верхлёво“, умъ и сердце Ильюши исполнились картинъ и нравовъ этого быта, прежде чѣмъ онъ увидѣлъ первую книгу. И не одного Ильюши,—таковъ же былъ и самъ Гончаровъ: эти картины и нравы окрасятъ собою все творчество будущаго писателя и опредѣлятъ его наиболѣе положительные жизненные—если не идеалы и стремленія, — то привычки и вкусы.

Впослѣдствіи, уже на склонѣ лѣтъ, писатель дастъ себѣ отчетъ въ этихъ впечатлѣніяхъ, когда выразитъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, вѣское предположеніе о томъ, что у него, „очень зоркаго и впечатлительнаго мальчика, уже тогда, при видѣ всѣхъ этихъ фигуръ (Якубова и сосѣдей помѣщиковъ), этого беззаботнаго житья-бытья, бездѣлья и лежанья, и зародилось неясное представленіе объ обломовщинѣ“.

Въ воспоминавіяхъ этихъ будетъ много искренности и теплоты. Нѣжностью признательности и любовью откликнется невольно душа на любовь и ласку, испытанная имъ въ раннемъ дѣтствѣ, всякій разъ, какъ память воскреситъ передъ нимъ образъ его покойной матери. Она была разумно строга и добра, по отзыву писателя, и послѣднее свойство, синонимъ безграничной материнской любви, становится исчерпывающимъ и неизмѣннымъ признакомъ, какъ только Гончаровъ принимается изображать личность матери въ семейной обстановкѣ героевъ.

Слѣпая, беззавѣтная, бесконечно-нѣжная любовь — коренная черта въ отношеніяхъ матерей Александра Адуева и Ильи Ильича, сближающая образы этихъ

женщинъ до полнаго совпаденія. Воспоминанія о матери являются у нихъ наиболѣе трогательными и завѣтными, проникнутыми грустью сожалѣнія о невозвратной утратѣ. Переходя во второй періодъ своей сознательной жизни, когда впереди начинается видѣться прозаическая старость, а позади остаются раскаянія и разочарованія, Александръ Адуевъ мысленно пробѣгаетъ свое дѣтство и юношество до поѣздки въ Петербургъ, вспоминаетъ, какъ, ребенкомъ, онъ повторялъ за матерью молитвы, и она твердила ему объ ангелъ-хранителѣ, который стоитъ на стражѣ души человѣческой и вѣчно враждуетъ съ нечистымъ... Указывая на звѣзды, она говорила мальчику, что это очи Божиихъ ангеловъ, которые смотрятъ на міръ и считают добрыя и злыя дѣла людей; небожители плачутъ, когда злыхъ дѣлъ окажется больше чѣмъ добрыхъ, и радуются, если добрыя возьмутъ перевѣсъ. Показывая на синеву дальняго горизонта, она говорила, что это Сионъ... Милая, наивная вѣра, трогательныя суевѣрія дѣтскихъ образовъ — въ нихъ было много теплоты и поэзіи, и Александръ, съ искреннимъ вздохомъ, посылаетъ привѣтъ этимъ воскресшимъ отзвукамъ прошлаго.

Вспоминаетъ молитвы съ матерью и Илья Ильичъ Обломовъ. Тогда, поглощенный дѣтскими мыслями о предстоящей прогулкѣ, онъ „разсѣянно“ и „вяло“ повторялъ слова молитвы, но мать — „влагала въ нихъ всю свою душу“, и эти дѣтскія впечатлѣнія не прошли безслѣдно. „Обломовъ, увидѣвъ давно-умершую мать, и во снѣ затрепеталъ отъ радости, отъ жаркой любви къ ней: у него, у соннаго, медленно выплыли изъ-подъ рѣсницъ и стали неподвижно двѣ теплыя слезы“.

Тѣмъ же чувствомъ проникнуты и воспоминанія Райскаго о матери, но въ нихъ нѣтъ уже этой непосредственности и жизненности, какъ въ „Обломовѣ“.

---

## VII.

[Отраженіе личности Гончарова въ его произведеніяхъ].—Умственныя интересы юноши.— Путешествія, фантастическія сочиненія.— Вліяніе Якубова.—Параллели.

Попытаемся проникнуть въ умственные интересы и міръ впечатлѣній и образовъ Гончарова въ его дѣтскіе и юношескіе годы.

Какимъ былъ Гончаровъ въ школѣ священника и позже, въ московскомъ коммерческомъ пансіонѣ, можно съ значительной достовѣрностью судить по отроческому портрету Райскаго. Воспріимчивость, наблюдательность, художественная жилка—вотъ его существенныя черты, если не считать еще болѣе существенной и объединяющей—избалованности упитаннаго и добродушнаго барчука. И Гончаровъ стоялъ за баловство, какъ элементъ необходимый въ дѣтскомъ воспитаніи. „Оно порождаетъ въ дѣтскихъ сердцахъ благодарность и другія добрыя, нѣжныя чувства, — говоритъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ. — Это своего рода практика въ сферѣ любви, добра“. Гончаровъ рассказываетъ о первыхъ шагахъ школьной жизни Райскаго. Мальчика приводятъ въ классъ. Онъ прежде всего сталъ разглядывать учителя, какой онъ, какъ говоритъ, какъ нюхаетъ табакъ... Учитель сталъ объяснять ему задачу, и—„ничего не ускользнуло отъ Райскаго, только ускользнуло рѣшеніе задачи“.

Зато Райскій любилъ читать книги, и читалъ приблизительно тѣ, которыя нравились самому Гончарову. Райскій читалъ „со страстью“ исторію (по *непрелѣнно въ картинахъ*), эпопею, романъ, басню, особенно фантастическую, и не любилъ „умозрѣній“, какъ не любилъ ихъ всю жизнь и Гончаровъ,—за то, что они увлекали его изъ міра фантазіи въ міръ дѣйствительности.

Чтеніе маленькаго Гончарова составляли по преимуществу солидныя сочиненія по исторіи и литературѣ. Подъ руководствомъ священника, о которомъ говорилось выше, онъ прочелъ Державина, Хераскова, Озерова, изъ историческихъ сочиненій—Роллена, Голикова, изъ путешествій—Мунго-Парка, Крашенинникова, Палласа; дома природная склонность къ фантастическимъ вымысламъ находила богатую пищу въ романахъ г-жи Радклифъ и мистикъ Эккартсгаузена; не обошлось дѣло и безъ сентиментальныхъ романовъ г-жи Жанлисъ, хотя едва ли они могли имѣть большой успѣхъ у Гончарова. Въ домашнемъ же быту, въ кругу сосѣднихъ помѣщиковъ, Гончарову приходилось слышать чтеніе Вольтера (Генріада), Расина и Корнеля. Этихъ же авторовъ будутъ читать, какъ увидимъ ниже, и его герои.

Путешествія составляли, повидимому, любимѣйшее чтеніе юноши. Они удовлетворяли ту особую форму любознательности будущаго художника, которая ищетъ не точнаго знанія, а общаго и непремѣнно картиннаго представленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ шевелить воображеніе, будить мечты. Таковъ былъ и Райскій, который, по отзыву Гончарова, „и знаніе не зналъ, а какъ будто видѣлъ его у себя въ воображеніи, какъ въ зеркалѣ, готовымъ, чувствовалъ его и этимъ довольствовался, а узнавать ему было скучно“... И Райскій болѣе всего любилъ читать путешествія и книги фантастическаго содержанія. „Освобожденный Іерусалимъ“, въ переводѣ Москотильникова, Оссіанъ, позже — Телемакъ, Иліада уносили его далеко отъ дѣйствительности, захватывали въ свою чудесную сферу, очаровывали, почти опьяняли: снились ему „горячіе сны“ о далекихъ странахъ, необыкновенныхъ людяхъ, дивныхъ красотахъ природы, и весь онъ „внутренно разрывался отъ волненія“, когда читалъ. Тѣ же вкусы къ чтенію отличали и близкаго родственника Райскаго — Илью Ильича Обломова, только разница въ темпераментахъ сказывалась на Об-

ломовъ меньшей воспріимчивостью къ чтенію. И онъ любилъ читать путешествія, хотя злополучнаго „Путешествія въ Африку“ такъ и не дочиталъ до конца. Вообще же его утомляли серьезные авторы, „мыслителямъ не удалось расшевелить въ немъ жажду къ умо-зрительнымъ истинамъ“. Няня въ дѣтствѣ наразказала ему столько чудныхъ преданій и сказокъ, что онъ никогда не могъ освободиться изъ-подъ ихъ волшебнаго обаянія: „сказка у него смѣшалась съ жизнью, и онъ безсознательно груститъ подчасъ, зачѣмъ сказка не жизнь, а жизнь не сказка“...

Иногда возможно бываетъ найти въ обстоятельствахъ ранняго дѣтства источникъ подобныхъ настроеній остающихся въ душѣ на всю послѣдующую жизнь.

У маленькаго Гончарова страсть къ чтенію путешествій объяснялась не только природной склонностью. Ее развилъ, если только не вызвалъ, „крестный“ Ивана Александровича, Николай Николаевичъ Трегубовъ, послѣ смерти отца свой человѣкъ въ домѣ Гончаровыхъ, принимавшій большое участіе въ воспитаніи мальчика. Гончаровъ называетъ его Петромъ Андреевичемъ Якубовымъ. Это былъ просвѣщенный по тому времени человѣкъ, съ задатками добродушнаго барства, отставной морякъ, много видѣвшій на своемъ вѣку. Онъ бесѣдовалъ съ юнымъ Гончаровымъ о математической и физической географіи, астрономіи, позже навигаціи, знакомилъ его съ картою звѣзднаго неба, объяснялъ все то, чего не могли объяснить въ школѣ. Въ числѣ книгъ Якубова были описанія всѣхъ кругосвѣтныхъ плаваній, и Гончаровъ признается, что онъ „зачитывался“ ими и „жадно“ поглощалъ рассказы стараго моряка.

Вотъ какъ рассказывалъ объ этомъ Якубовъ, въ передачѣ очевидца: „У кумушки моей была четверка дѣтей; мы раздѣлили ихъ поровну: ей парочку дѣвчатъ, мнѣ пару ребятъ. Съ пеленъ я принялъ ихъ на

себя и самъ училъ грамотѣ съ аза. Коля и Ваня были умныя дѣтки, съ головой. Только Коля былъ какой-то сонный: не поймешь, бывало, что съ нимъ такое? — вѣчно разсѣянъ; слушаетъ — не слышитъ; скажешь что — не пойметъ; рассказывать начнетъ — перевернетъ, — такъ и махнешь рукой. Одно въ немъ было удивительно: огромная память. Сколько стихотвореній онъ зналъ въ дѣтствѣ, и, представьте, всѣ отлично декламировали! А Ваня мой не такой, — этотъ не заснетъ, нѣтъ! Этотъ былъ мальчикъ живой, огонь. Бывало, какъ начнешь рассказывать что-нибудь изъ моихъ скитаній по бѣлу свѣту, такъ онъ, кажется, въ глаза готовъ впрыгнуть, такъ внимательно все слушаетъ, да еще надоѣдаетъ: „крестный, скажи еще“. Такъ, бывало, и пройдетъ весь день съ нимъ въ болтовнѣ. Лѣтъ шести, вѣрно, я выучилъ его грамотѣ, а ужъ и не радъ, какъ онъ началъ читать! Вообразите... такой-то клопикъ заползетъ ко мнѣ въ библіотеку и торчитъ тамъ до тѣхъ поръ, пока насильно его вытащать ѣсть или пить. Бывало, пойдешь полюбопытствовать, не заснулъ ли тамъ мой сынокъ — куда-съ!... Заглянешь въ книжку къ нему — точить какое нибудь путешествіе!... и тутъ же начнетъ лепетать: живо расскажетъ, что ему особенно понравилось. Больше всего любилъ онъ морскія путешествія; объ нихъ онъ всегда азартно мнѣ рассказывалъ. Бывало, восторженный, бѣжитъ съ Волги и кричитъ съ улицы: „крестный! я море видѣлъ. Ахъ, какая тамъ большая, свѣтлая вода прыгаетъ на солнцѣ! Какіе большіе корабли съ парусами!“ — „Какое море твоя Волга! Ты теперь понять еще не можешь, какое большое бываетъ море“, — отвѣтишь ему. Такъ что вы думаете? онъ цѣлый день послѣ того покою мнѣ не дастъ: скажи да скажи, какой длины море бываетъ! А что я скажу ему, положимъ, о Великомъ океанѣ, когда челоуѣчекъ еще понятія не имѣетъ, что такое аршинъ или вершокъ? А какъ скажешь ему, бывало, на ребячьи

восторги его: „ахъ, Ваня, Ваня, еслибъ ты сдѣлалъ со-временемъ хоть одну морскую кампанію, то-то порадовалъ бы меня, старика!“—такъ онъ ничего мнѣ на это не отвѣтитъ,—задумается глубоко и молчитъ... Охъ, что-то онъ теперь подѣлываетъ въ своемъ казенномъ Питерѣ? — долго отъ него нѣтъ вѣстей! Въ чернилахъ, я думаю, купается вмѣсто моря?... Старикъ надъ этимъ вопросомъ задумается надолго, и послѣ того отъ него не услышишь уже ничего“.

Историческія книги Гончарову приходилось читать, какъ мы видѣли, въ дѣтствѣ, да и позже въ университетѣ, но особой любви къ исторической наукѣ онъ не чувствовалъ. По крайней мѣрѣ, Райскій не могъ увлечься исторіей четырехъ Генриховъ, Людовиковъ до XVIII и Карловъ до XII включительно, біографіями Плутарха, — книгами, которыя давалъ ему опекундядя, а вкусы Райскаго и Гончарова по отношенію къ чтенію весьма совпадали: въ этихъ книгахъ не было рисунка, картинъ и, сравнительно, съ путешествіями и романами, „все это было для него (Райскаго), какъ прѣсная вода послѣ рома“. Того же историческаго рисунка требовалъ и Гончаровъ отъ своихъ профессоровъ. „Никакой общей идеи, никакого *рисунка древняго быта*, никакого взгляда, синтеза—такъ отзывается Гончаровъ въ своихъ воспоминаніяхъ объ Ивашковскомъ—ничего не могъ намъ дать этотъ почтенный греческій книгоѣдъ; онъ давалъ одну букву, а духъ отсутствовалъ“. Гончаровъ, какъ его Райскій, искалъ въ предметахъ изученія „новаго, поразительнаго, чтобы въ немъ самомъ все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью“...

Заговоривъ о чтеніи Гончарова и его героевъ, дополнимъ отмѣченныя совпаденія еще нѣсколькими параллелями, довольно любопытными для творчества нашего писателя. Мы этимъ нарушимъ, на первый взглядъ, историческую послѣдовательность разсказа, но зато

намъ не придется возвращаться къ вопросу о чтеніи вторично; при томъ же, мы не пишемъ біографіи нашего писателя, а лишь стараемся освѣтить нѣкоторыя стороны данными его творчества и въ то же время объяснить преобладающе-біографическій характеръ послѣдняго. Дѣло въ томъ, что при сравненіи того, что читалъ Гончаровъ и его герои, оказывается, что бібліотеки ихъ были весьма сходны по своему составу. Такъ, мы видѣли, маленькій Гончаровъ читалъ въ дѣтствѣ Голикова, Россіаду Хераскова, трагедіи Сумарокова. Эти же книги были въ бібліотекѣ Обломова-отца, читавшаго безъ всякаго выбора, что подвернется. „Голиковъ ли попадется ему, новѣйшій ли Сонникъ, Хераскова, или трагедіи Сумарокова, или, наконецъ, третьегоднишнія вѣдомости—онъ все читаетъ съ равнымъ удовольствіемъ“... Несомнѣнно, что и Сонникъ не отсутствовалъ въ Гончаровской бібліотекѣ, и третьегоднишнія вѣдомости могли водиться въ помѣщицьемъ домѣ, гдѣ чтеніе въ значительной степени было призвано занимать умы въ часы досуга, и гдѣ не особенно гнались за новизной газетныхъ сообщеній.

Чтеніе Райскаго отличалось необычайной пестротой, но и въ этой пестротѣ нетрудно подмѣтить воспоминанія и вкусы самого Гончарова. По выходѣ изъ училища, Райскій „дома читалъ всякіе пустяки: „Саксонскій разбойникъ“ попадется—онъ прочтетъ его; вытащить Эккартсгаузена и фантазіей допросится, сквозь туманъ, ясныхъ выводовъ; десять разъ прочелъ попавшійся экземпляръ „Тристрама Шенди“; найдетъ какія-нибудь „Тайны восточной магіи“,—читаетъ и ихъ; тамъ русскія сказки и былины (которыхъ такъ много рассказали крѣпостныя нянюшки Ильшѣ Обломову), потомъ вдругъ опять бросится къ Оссіану, къ Тассу и Гомеру, или уплыветъ съ Кукомъ въ чудесныя страны“. Впослѣдствіи эти книги, естественно, должны были замѣниться другими. Райскій—„отъ Плутарха и путеше-



ствія Анахаренса Младшаго—перешелъ къ Титу Ливію и Тациту, зарываясь въ мелкихъ деталяхъ перваго и въ сильныхъ сказаніяхъ втораго, спалъ съ Гомеромъ, съ Дантомъ, и часто забывалъ жизнь около себя, живя въ анналахъ, сагахъ, даже въ русскихъ сказкахъ“. *Спалъ съ Гомеромъ, Дантомъ* — это вѣрнѣе, чѣмъ зарывался въ детали Ливія или анналы, но университетъ долженъ былъ, во всякомъ случаѣ, осмыслить выборъ чтенія и сообщить ему болѣе опредѣленное направленіе. Гончаровъ въ отношеніи своего домашняго чтенія, какъ онъ самъ говоритъ объ этомъ въ своихъ воспоминаніяхъ, слѣдовалъ указаніямъ профессоровъ, и можно съ увѣренностью сказать, что имъ былъ онъ обязанъ своимъ переходомъ отъ пестраго чтенія ранней юности къ суровымъ и важнымъ классикамъ всѣхъ временъ и народовъ. Составъ библіотеки его мѣняется и, сообразно этому, на страницахъ его романовъ начинаютъ мелькать Шекспиръ, Гомеръ, Платонъ, Оукидидъ, Аристофанъ, Данте, Мильтонъ, Корнель, Расинъ, рядомъ съ ними—французскіе энциклопедисты, да изъ „новыхъ“ книгъ—Маколей и Гизо. Эти книги находитъ Райскій въ библіотекѣ стараго дома; этими же книгами зачитывается и Леонтій Козловъ, который любилъ, между прочимъ, Гете, но не романтика, а классика—вкусъ самаго Гончарова, не испытывавшаго особаго влеченія къ романтикамъ. Изъ той же библіотеки брала книги и Марейнька. И она читала Мишле („Précis de l'histoire moderne“) и Гиббона, но предпочитала имъ, вѣроятно, „Путешествіе Гулливера“ или сказки Кота-Мура. Но Вѣру эта библіотека, особенно послѣ знакомства съ Маркомъ, уже не удовлетворяла.

Подобнаго рода чтеніе могло помочь нашему писателю „забывать жизнь около себя“ и жить въ заколдованномъ мірѣ фантастическихъ сновъ и воспоминаній о прошломъ.

## VIII.

Отношеніе къ стихамъ.—Параллели изъ „Евгенія Онѣгина“ къ настроеніямъ Александра Адуева.—Культь Пушкина у Гончарова.—Изъ юношескихъ воспоминаній Гончарова о Пушкинѣ.—Изъ воспоминаній А. Ѳ. Кони о Гончаровѣ.

Стихотворенія не были, кажется, въ особомъ почетѣ у Гончарова; но въ его воспоминаніяхъ есть намеки на юношескую страсть къ стихамъ, которая была почти общей чертой у молодыхъ и немолодыхъ писателей его времени,—была, по его выраженію, „дипломомъ на интеллигентность“. Райскій переводитъ изъ Гейне, Александръ Адуевъ сочиняетъ стихи, но авторъ относится къ нимъ, какъ къ увлеченіямъ, свойственнымъ молодости, и ставитъ Александра въ комическое положеніе предъ благоразумнымъ Петромъ Ивановичемъ. Послѣдній однажды видитъ въ комнатѣ своего племянника такую сцену: Александръ сидитъ за столомъ и, положивъ голову на руку, спитъ.

Передъ нимъ лежала бумага. Петръ Ивановичъ взглянулъ—стихи.

Онъ взялъ бумагу и прочиталъ слѣдующее:

Весны пора прекрасная минула,  
Исчезъ навѣкъ волшебный мигъ любви,  
Она въ груди могильнымъ сномъ уснула  
И пламенемъ не пробѣжитъ въ крови!  
На алтарѣ ея осиротѣломъ  
Давно другой кумиръ воздвигнулъ я.  
Молюсь ему... но...

На этомъ „но“ Александръ уснулъ, и Петръ Ивановичъ замѣчаетъ, что этотъ сонъ — лучший приговоръ, изреченный самому себѣ славолубивымъ пѣитой. Если эти стихи несомнѣнно принадлежатъ Гончарову, то ихъ нельзя разсматривать иначе, какъ попытку паро-

дировать туманную эротику доморощенных романтиков своего времени.

Тотъ же Александръ Адуевъ, впервые знакомясь съ Петербургомъ, — „добрался, по словамъ Гончарова, до Адмиралтейской площади—и остоленѣлъ. Онъ съ часъ простоялъ передъ *Мѣднымъ всадникомъ*, но не съ горькимъ упрекомъ въ душѣ, какъ бѣдный *Евгеній*, а съ восторженной думой“.

Образъ Ленскаго все время стоялъ передъ глазами Гончарова, когда онъ создавалъ образъ молодого Адуева. Встрѣтивъ соперника въ лицѣ графа Новинскаго, Александръ ревнуетъ, мучится, подозрѣваетъ, — и для передачи его ощущеній у Гончарова есть уже готовая поэтическая формула:

Не поущу, чтобъ развратитель  
Огнемъ и вздохомъ и похвалъ  
Младое сердце искушалъ...  
Чтобъ червь презрѣнный, ядовитый  
Точилъ лилеи стебелекъ,  
Чтобы двухъ-утренній цвѣтокъ  
Увялъ, едва полураскрытый...

Заговорить ли Александръ о томъ, чѣмъ должна быть, по его мнѣнію, идеальная любовь, его восторженная рѣчь невольно переходитъ въ стихи и, собираясь „пѣть красоту любимой женщины, любовь и природу“, онъ уже готовъ начать эту пѣснь, но—увы!—пушкинскими словами: „Смотрѣть ей въ глаза было бы высокимъ счастьемъ. Каждое слово ея было бы мнѣ закономъ. Я бы пѣлъ ея красоту, нашу любовь, природу:

Съ ней обрѣли-бъ уста мои  
Языкъ Петрарки и любви“...

Иногда впрочемъ память нѣсколько измѣняетъ Александру, и онъ слегка перевираетъ цитаты, что впрочемъ можно бы и простить ему, съ точки зрѣнія переживавшихся имъ настроеній. Обманутый въ мечтахъ

объ идеальной любви, Александръ „безпрестанно твердить“:

Я пережилъ свои *страданья* (вм. *желанья*),  
Я разлюбилъ свои мечты...

Уѣзжая изъ Петербурга на родину, Александръ, съ влажными отъ слезъ глазами, читаетъ пушкинское — „художникъ—варваръ кистью сонной“ и т. д., гдѣ, по связи идей, картина генія воплощалась въ невинной душѣ юноши Александра нѣсколько лѣтъ назадъ, а художникъ-варваръ—губительныя вліянія Петербурга, города, гдѣ—снова цитируетъ Александръ —

Гдѣ я страдалъ, гдѣ я любилъ,  
Гдѣ сердце я похоронилъ...

На родинѣ, въ деревнѣ, Александръ восторгается привольемъ и кротостью деревенскихъ впечатлѣній, радуется, подобно Алеко, что онъ—„вдали отъ суеты, отъ этой мелочной жизни, отъ того муравейника, гдѣ люди...

...въ кучахъ за оградой,  
Не дышать утренней прохладой,  
Ни вешнимъ запахомъ луговъ“.

Петръ Ивановичъ тоже знаетъ Пушкина — „и не одного Пушкина“, но цитируетъ Крылова, что ему болѣе къ лицу.

Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,  
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?—

говорить онъ Александру, когда тотъ обрушивается на людей за ихъ холодность и коварство.

Большимъ поклонникомъ Пушкина, какъ и слѣдовало ожидать, оказывается и Райскій. Именемъ Пушкинской героини называетъ Райскій, правда, *сui grato salis*, сладострастную Марину, застигнутую на мѣстѣ преступленія,—и это имя—Земфира, — пришедшее неожиданно на память въ моментъ разгадки аналогич-

наго драматическаго положенія, указываетъ, что образъ свободной въ распредѣленіи своихъ чувствъ цыганки отчетливо рисовался Райскому по гениальной поэмѣ. Софья Бѣловодова представляется Райскому существомъ „выше міра и страстей“, и этотъ стихъ необыкновенно удачно сближаетъ холодную красавицу съ той, которой поэтъ посвятилъ свое —

Въ ней все гармонія, все диво,  
Все выше міра и страстей...

Одну изъ цитатъ Райскій произноситъ нѣсколько театрально. Онъ, какъ Тургеневскій Рудинъ, проигравъ свою партію съ Вѣрой и Маркомъ, рисуется передъ самимъ собой и, выражая намѣреніе сохранить листки своихъ писаній, гдѣ онъ *простодушно*, „не мудрствуя лукаво“, отражалъ красоту жизни, произноситъ:

„И послѣ моей смерти—другой найдетъ мои бумаги:

Засвѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду—  
И—можетъ быть—напишетъ“.

Сопоставленіе съ лѣтописцемъ довольно смѣлое, способное вызвать саркастическую улыбку... конечно, надъ Райскимъ. Но тотъ фактъ, что Пушкинъ особенно часто приходитъ на память Гончарову, когда нужна цитата, — самъ по себѣ значителенъ и долженъ быть отмѣченъ.

Пушкину отдавалъ Гончаровъ преимущественную, если не единственную въ этомъ направленіи, дань любви и почитанія. Это было уже во времена студенчества. Однажды великій поэтъ посѣтилъ университетъ и вошелъ въ аудиторію, гдѣ былъ, въ числѣ другихъ слушателей, студентъ Гончаровъ. „Для меня,—вспоминаетъ объ этомъ посѣщеніи нашъ писатель, — точно солнце озарило всю аудиторію: я въ то время былъ въ чадѣ обаянія отъ его поэзіи; я питался ею, какъ молокомъ матери; стихъ его приводилъ меня въ дрожь восторга. На меня, какъ благотворный дождь, падали строфы его

созданій („Евгенія Онѣгина“, „Полтавы“, и др.). Его генію я и всѣ тогдашніе юноши, увлекавшіеся поэзіей, обязаны непосредственнымъ вліяніемъ на наше эстетическое образованіе. Передъ тѣмъ однажды я видѣлъ его въ церкви, у обѣдни—и не спускалъ съ него глазъ“...

Появился Пушкинъ—и „точно *солнце озарило всю аудиторию*“... Подобную радость могъ испытать развѣ Козловъ, когда Райскій подарилъ ему свою бібліотеку, гдѣ были поэты всѣхъ временъ и народовъ. „— Мнѣ? такую бібліотеку?—воскликаетъ онъ. „Ему вдругъ *какъ будто солнцемъ ударило въ лицо*: онъ просіялъ“...

Одинъ и тотъ же образъ послужилъ писателю для выраженія сильнѣйшей радости, испытанной имъ самимъ и воплощенной въ созданномъ имъ героѣ.

Культь Пушкина жилъ въ душѣ Гончарова до конца его жизни. А. Ѳ. Кони сохранилъ рассказъ Гончарова о впечатлѣніи, произведенномъ на него смертью геніальнаго поэта. Рассказъ этотъ относится къ 1880 г., году постановки памятника Пушкину въ Москвѣ, когда имя великаго поэта было у всѣхъ на устахъ. „Въ одну изъ долгихъ вечернихъ прогулокъ“ въ Дуббельнѣ Гончаровъ заговорилъ о Пушкинѣ, и воспоминанія лучшихъ мгновеній жизни, какъ встарь, согрѣли и озаарили душу этого на видъ ко всему равнодушнаго старика.

„Пушкина я увидѣлъ впервые въ Москвѣ, рассказывалъ Гончаровъ, въ церкви Никитскаго монастыря. Я только что начиналъ читать его—и смотрѣлъ на него болѣе съ любопытствомъ, чѣмъ съ другимъ чувствомъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, живя въ Петербургѣ, я встрѣтилъ его у Смирдина, книгопродавца. Онъ говорилъ съ нимъ серьезно, не улыбаясь, съ дѣловымъ видомъ. Лицо его—матовое, суженное книзу, съ русыми бакенами и обильными кудрями волосъ — врѣзалось въ мою память и доказало мнѣ впослѣдствіи, какъ вѣрно изобразилъ его Кипренскій на извѣстномъ

портретъ. Пушкинъ былъ въ то время для молодежи все. Всѣ ея упованія, сокровенныя чувства, честнѣйшія побужденія, всѣ гармоническія струны души, вся поэзія мыслей и ощущеній—все сводилось къ нему, все исходило отъ него... Я помню извѣстіе о его кончинѣ. Я былъ маленькимъ чиновникомъ, „переводчикомъ“ при министерствѣ финансовъ. Работы было немного—и я для себя, безъ всякихъ цѣлей, писалъ, сочинялъ, переводилъ, изучалъ поэтовъ и эстетиковъ. Особенно меня интересовалъ Винкельманъ. Но надо всѣмъ господствовалъ онъ. Въ моей скромной чиновничьей комнаткѣ, на полочкѣ, на первомъ мѣстѣ, стояли его сочиненія, гдѣ все было изучено, гдѣ всякая строка была прочувствована, продумана... И вдругъ пришли и сказали, что онъ убитъ, что его болѣе нѣтъ... Это было въ департаментѣ. Я вышелъ изъ канцеляріи въ корридоръ—и горько, горько, не владѣя собой, отвернувшись къ стѣнѣ и закрывая лицо руками, заплакалъ. Тоска ножомъ рѣзала сердце—и слезы лились въ то время, когда все еще не хотѣлось вѣрить, что его уже нѣтъ, что Пушкина нѣтъ! Я не могъ понять, чтобы тотъ, предъ кѣмъ я склонялъ мысленно колѣна, лежалъ бездыханнымъ... И я плакалъ горько и неутѣшно,—какъ плачутъ по полученіи извѣстія о смерти любимой женщины... Нѣтъ, это невѣрно—по смерти матери,—да, матери. Черезъ три дня появился портретъ Пушкина съ надписью: „Погасъ огонь на алтарѣ“... но цензура и полиція поспѣшили его запретить и уничтожить.“

Это благоговѣйное отношеніе къ памяти Пушкина составляло трогательную черту личности Гончарова.

## IX.

Университетскіе годы (1831—34 гг.).—Характеръ университетской науки начала 30-хъ гг. XIX в.—Отзывы о профессорахъ.—Отношеніе Гончарова къ университету и университетской наукѣ.

Студенческіе годы оказали на Гончарова своеобразное, но въ извѣстномъ смыслѣ положительное вліяніе.

Теперь уже достаточнo извѣстно, что представляла собою университетская наука въ первые четыре года тридцатыхъ годовъ — время студенчества Гончарова. Судя по его воспоминаніямъ, онъ былъ порядочно подготовленъ, особенно по части языковъ, и университетскій экзаменъ выдержалъ довольно легко. Университетскимъ требованіямъ удовлетворяли, впрочемъ, пятнадцатилѣтніе мальчики, подготовлявшіеся къ нимъ „домашними способами“, и потому успѣхъ Гончарова едва ли можетъ быть приписанъ особой подготовкѣ его въ эти годы. Если основываться на воспоминаніяхъ писателя объ университетѣ и профессорахъ, то придется признать Гончарова образцовымъ студентомъ, который усердіемъ въ научныхъ занятіяхъ превосходилъ своихъ героевъ. Съ теплою признательностью вспоминаетъ онъ о томъ, какимъ „святилищемъ“ былъ университетъ его времени для студентовъ и общества. „Студенты гордились своимъ званіемъ и дорожили занятіями, видя общую къ себѣ симпатію и уваженіе“. Этотъ идиллическій тонъ, простительный старику, вспоминающему лучшіе годы своей жизни, у безпристрастнаго читателя способенъ вызвать саркастическую улыбку. Въ этомъ „святилищѣ“, инквизиторски истреблявшемъ въ мрачные годы Николаевского режима живой духъ свободнаго развитія лучшихъ способностей и стремленій русской молодежи, тяжело дышалось, напримѣръ, Лермонтову, Герцену и его друзьямъ, и



вовсе не было мѣста такимъ неуравновѣшеннымъ натурамъ, какъ Бѣлинскій. Среди студентовъ, кокетничавшихъ, по выраженію Гончарова, своимъ званіемъ и малиновыми воротниками, Бѣлинскій былъ прямо уродливымъ явленіемъ, съ его не знающей удержу пылливостью ко всему, гдѣ онъ провидѣлъ истину, съ его вѣчнымъ протестомъ во имя высшихъ интересовъ справедливости и всеобщаго блага, съ его, наконецъ, страстной ненавистью ко всему, на чемъ лежала печать пошлости и тупого самодовольства. Профессора были искусными кормчими; они умѣло проводили ладью отечественной науки среди скалъ и подводныхъ камней реальной дѣйствительности и, не задѣвая ея, добросовѣстно приводили своихъ слушателей къ берегамъ благословенной Эллады и могучаго Рима, чаровали пышными образами индійской поэзіи, вводили въ таинственныя дебри нѣмецкой романтики. Только отношенія къ началамъ русской жизни не было и не могло быть въ ихъ лекціяхъ, и въ то время, какъ Гончаровъ благоговѣлъ передъ Каченовскимъ, Давыдовымъ, Шевыревымъ, юноши, подобные Бѣлинскому и Герцену, задыхались отъ безсодержательности, мертвящей условности и неискренности научныхъ пріемовъ университетскаго преподаванія. Разница была прежде всего въ натурахъ, въ направленіи ума, въ степени развитія. „Наша юная толпа,—вспоминаетъ Гончаровъ,—составляла собою маленькую ученую республику, надъ которой простиралось вѣчно-ясное небо, безъ грозъ и безъ внутреннихъ потрясеній, безъ всякихъ исторій, кромѣ всеобщей и россійской, преподаваемыхъ съ каеэдръ“... „И точно была республика: надъ нами не было никакого авторитета, кромѣ авторитета науки и ея преподавателей. Начальства какъ будто никакого не было,—но оно, конечно, было, только мы имѣли о немъ какое-то отвлеченное, умозрительное понятіе“... Такой безоблачной и счастливой Аркадіей представлялась

Гончарову его университетская жизнь, и въ тонѣ этихъ словъ звучить неподдѣльная искренность. Типъ студента, къ которому принадлежалъ Гончаровъ,—вѣчный типъ, не измѣняющійся ни при какихъ перемѣнахъ внутренняго строя университетской жизни; его отличительными признаками являются добросовѣстность въ занятіяхъ, служащая источникомъ самоувѣреннаго довольства собой, отсутствіе сомнѣній и порывовъ, вообще благоразумная, улыбающаяся на весь міръ трезвость взглядовъ, которая не исключаетъ высокихъ личныхъ достоинствъ, въ родѣ доброты, нѣжности, чуткости, но въ вопросахъ общественныхъ простирается до полнаго индифферентизма. Все это весьма показательно по отношенію къ Гончарову и его творчеству.

Для Герцена и Бѣлинскаго, исключеннаго „по неспособности“, начальство, къ сожалѣнію, не являлось тѣмъ отвлеченнымъ понятіемъ, которое, напримѣръ, затушевало въ памяти Гончарова образъ инспектора. „Былъ ректоръ, былъ попечитель, можетъ быть, даже и инспекторъ (*кажется, былъ*), но мы его никогда не видали“... Однако, въ университетскую „Обломовку“ нашего писателя вторгается слабая, на первый взглядъ незамѣтная, нотка противорѣчія, показывающая, что Гончаровъ кое-что слышалъ, въ бытность студентомъ, и помимо официальныхъ лекцій. Университетъ кажется ему учрежденіемъ, въ которомъ, болѣе чѣмъ въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, могла раздаваться съ кафедръ свободная профессорская рѣчь. И тѣмъ не менѣе,—Гончарову, можетъ быть, скрѣпя сердце, пришлось сдѣлать оговорку. „Я не говорю,—пишетъ онъ,—чтобы свободѣ этой не полагалось преграды: страхъ, чтобы она не окрасилась въ другую, т.-е. политическую краску, заставлялъ начальство слѣдить за лекціями профессоровъ, хотя проблески этой, *ненаучной*, свободы проявлялись болѣе внѣ стѣнъ университета; свободомысліе почерпалось изъ другихъ, не-университетскихъ

источниковъ“. Серьезная содержательность лекцій ограждала студентовъ, по мнѣнію Гончарова, отъ опасныхъ увлеченій, заносимыхъ туда извнѣ, издалека... Чрезвычайно характеренъ отзывъ автора воспоминаній о закрытіи лекцій Давыдова по исторіи философіи. Пріѣхалъ флигель-адъютантъ изъ Петербурга, послушалъ—и лекціи были закрыты. Тонъ, которымъ рассказано происшествіе—„невмѣстность“ философіи съ флигель-адъютантскимъ воззрѣніемъ, — могъ бы принадлежать самому Гомеру. „Говорили, что въ нихъ проявлялось свободомысліе, противное... не знаю чему. *Я не читалъ этихъ лекцій*“.

Авторъ не читалъ, очевидно, ничего или очень мало изъ той литературы, которая заходила въ стѣны университета „извнѣ, больше издалека“. Оттого ему придется впослѣдствіи не разъ умолкать и прятаться за многоточія, какъ только герои его коснутся вопроса о новыхъ идеяхъ и вѣяніяхъ, проникнутыхъ пресловутымъ свободомысліемъ, проводниками которыхъ являлись писатели „извнѣ“. Мы видѣли,—герои Гончарова читаютъ вмѣстѣ съ авторомъ и знаютъ не больше его, и если это совмѣстное чтеніе Адуева, Обломова, Марейники, Райскаго и самого Гончарова способно вызвать чувство трогательнаго умиленія въ сентиментальномъ читателѣ, то по отношенію къ Марку Волохову оно создавало почву для недоразумѣній подчасъ слегка комическаго свойства.

---

## X.

Университетскіе годы.—Черты Гончарова-студента.— Литературныя параллели.—Умственные и жизненные интересы въ эти годы.

Въ толпѣ юношей, блиставшихъ вмѣстѣ съ Гончаровымъ малиновыми воротниками, мы безъ особеннаго труда различимъ и Адуева, и Обломова, и Райскаго съ Козловымъ. Если отбросить различіе въ степени ихъ усердія къ наукамъ, т.-е. черту, вытекающую изъ требованій индивидуальной типичности и для насъ второстепенную,—другія, болѣе органическія и родственныя черты выступаютъ сами собою.

Прежде всего бросается въ глаза ихъ общій колоритъ и направленіе. Всѣ они — цѣльныя и здоровыя натуры, милые молодые люди, еще весьма юные, совсѣмъ не знающіе жизни. Изъ нихъ только Козловъ былъ бѣденъ — „какъ нельзя уже быть бѣднѣе“, — остальные воспитались на обломовскихъ хлѣбахъ и ихъ задорная жизнерадостность молодыхъ птенцовъ покоилась, главнымъ образомъ, на непоколебимой увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, на заботахъ „недремлющаго ока“ матери, дяди, опекуна; отца они лишаются въ дѣтствѣ. Въ сравненіи съ ними Козловъ — блѣдная, безжизненная фигура; можно сказать, пожалуй, что въ немъ воплотилась та степень изученія и увлеченія древнимъ міромъ, которая была свойственна самому Гончарову, и которая, сообразно характеру каждаго изъ его героевъ, уступала мѣсто другимъ индивидуально-типическимъ чертамъ.

У Козлова любовь къ древности, къ отжившимъ классическимъ формамъ жизни, была, въ сравненіи съ Гончаровымъ, нѣсколько подчеркнута, усилена въ стремленіи создать *типъ*, но сущность осталась неизмѣнной. „Онъ (Козловъ) любилъ ее (старую жизнь), эту родоначальницу нашихъ знаній, нашего развитія,

но любилъ слишкомъ горячо, весь отдался ей, и *отъ него ушла и спряталась современная жизнь*. Онъ былъ въ ней какъ будто чужой, не свой, смѣшной, неловкій“. На той же почвѣ сходится съ Козловымъ и Райскій. „Часто съ Райскимъ уходили они въ эту жизнь. Райскій, какъ дилеттантъ,—для удовлетворенія мгновенной вспышки воображенія, Козловъ—всѣмъ существомъ своимъ“...

Безпощадный анализъ, сомнѣнія, отрицанія—все это было чуждо студентамъ Гончаровскаго кружка, какъ и увлеченіе идеями свободомыслія, приходившими „извнѣ“ и волновавшими студентовъ другого типа. На убогихъ вечеринкахъ, дивно рассказанныхъ Тургеневымъ, гдѣ раздавались вдохновенныя рѣчи Рудина, не было никогда—и это можно съ увѣренностью сказать—ни Обломова, ни Райскаго, не говоря уже объ Александрѣ Адуевѣ. Тургеневъ заставляетъ Лежнева вспомнить свои студенческія впечатлѣнія, а послѣднія переживались имъ въ ту же первую половину тридцатыхъ годовъ. „Вы представьте,—рассказываетъ Лежневъ,—сошлись человѣкъ пять-шесть мальчиковъ, одна свѣча горитъ, чай подается прескверный и сухари къ нему старые-престарые; а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о будущности человѣчества, о поэзіи“...

Гончарову и его близкимъ родственникамъ эти рѣчи были бы не по сердцу. Они не любили „умозрѣній“, какъ и туманныхъ порывовъ юныхъ романтиковъ въ чудесные міры таинственныхъ откровеній и волшебныхъ замираній. И они любили поэзію, но поэзію немеркнувшей классической красоты, обаятельную, какъ статуи Фидія, ясную, какъ безоблачное небо Эллады. Они искали въ этой поэзіи одного чистаго художественнаго наслажденія, они искренно благоговѣли передъ ней,

но никто изъ нихъ не подумалъ бы искать въ ней, отвѣта на волновавшіе и мучившіе ~~дѣлу~~ вопросы о Богѣ, о мірѣ и жизни.

Къ рѣшенію жизненныхъ вопросовъ къ кружкѣ Гончарова, въ кружкѣ—въ широкомъ смыслѣ известной группы студентовъ—подходили съ другой стороны. И они мечтали, но мечты ихъ были далеки отъ тѣхъ поэтическихъ грѣзъ юныхъ романтиковъ, въ которыхъ религія, поэзія, истина, добро и любовь соединялись въ мировую гармонію, водворявшую счастье челоѣчества на землѣ. „Кто хотѣлъ воевать, истреблять родъ людской... другой мечталъ добиться высокаго поста на службѣ, на которомъ можно свободно дѣйствовать на широкой аренѣ... Райскій мечталъ быть артистомъ“... и вмѣстѣ съ артистической славой мерещилась ему въ будущемъ „колоссальная“ страсть, съ огнемъ и грозою, которая очиститъ воздухъ и освѣжитъ его грудь новыми силами для столь же „колоссальнаго“ подвига общественнаго служенія.

Къ шестидесятымъ годамъ, когда Гончаровъ писалъ „Обрывъ“, жизнь успѣла подвести не мало итоговъ, и ему пришлось отмѣтить тотъ фактъ, что „всѣ болѣе или менѣе обманулись въ мечтахъ“: одни не успѣли вернуться въ деревню, какъ развели кучу подобныхъ себѣ и осовѣли на мѣстѣ; другіе, вмѣсто дѣятельности на широкой аренѣ, добились мѣста въ клубѣ и посвятили ему свои досуги. Случилось то, что, какъ уже не разъ указывали, предполагалъ Пушкинъ относительно своего Ленскаго:

А можетъ быть, и то: поэта  
Обыкновенный ждалъ удѣлъ.  
Прошли бы юшества лѣта,  
Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ;  
Во многомъ онъ бы измѣнился,  
Разстался-бъ съ музами, женился;  
Въ деревнѣ, счастливъ и богатъ,  
Носилъ бы стеганный халатъ;

Узналъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ,  
 Подарю-бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ,  
 Пилъ, ѣлъ, окучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ,  
 И, наконецъ, въ своей постелѣ  
 Скончался-бъ посреди дѣтей,  
 Плаксивыхъ бабъ и лекарей.

То, о чемъ мечталъ Райскій, всецѣло взято у Александра Адуева. Мечты послѣдняго были въ полномъ соотвѣтствіи съ пѣснями его нянюшки о томъ, „что онъ будетъ ходить въ золотѣ и не знать горя“. Снились ему и „горячіе сны о колоссальной страсти, которая не знаетъ никакихъ преградъ и совершаетъ громкіе подвиги“, „о пользѣ, которую принесетъ отечеству“, о славѣ писателя,—и весь этотъ хаосъ, питавшій его мечты, пестрѣлъ блесками неизмѣннаго себялюбія и ужъ очень большой наивностью даже для двадцатилѣтняго юноши. „О горѣ, слезахъ, бѣдствіяхъ, онъ зналъ только по слуху“... „будущее представлялось ему въ радужномъ свѣтѣ“...

Мечты Обломова были возвышеннѣе и шире по захвату мысли, но и въ нихъ мелькаютъ тѣ же знакомыя намъ черты: „онъ любитъ вообразить себя иногда какимъ-нибудь непобѣдимымъ полководцемъ, предъ которымъ не только Наполеонъ, но и Ерусланъ Лазаревичъ ничего не значить“... „Или изберетъ онъ арену мыслителя, великаго художника: всѣ поклоняются ему, онъ пожинаетъ лавры“...

Рядомъ съ этими мечтами, были у представителей Гончаровской семьи и другіе, еще болѣе возвышенные, почти идеальныя порывы. Имъ были доступны „наслажденія высокихъ помысловъ, не чужды имъ были и всеобщія человѣческія скорби“, но все это являлось далеко не главнымъ въ переливахъ ихъ душевной жизни и слишкомъ терялось въ присутствіи ихъ самодовлѣющаго, заполнявшаго всѣ уголки ихъ мысли и чувства, болѣзненно-чуткаго собственнаго „я“.

Въ университетѣ Райскій, какъ рассказываетъ Гончаровъ, утро посвящалъ лекціямъ и прогулкамъ по Кремлевскому саду, по воскресеньямъ бывалъ въ Никитскомъ монастырѣ у обѣдни, любилъ заглянуть на разводъ и полакомиться въ кондитерской Пезра и Педотти. Нѣтъ основанія думать, чтобы распредѣленіе дня и самаго Гончарова устроивалось по какому-либо иному плану. Вечера, по словамъ Гончарова, Райскій проводилъ въ „своемъ кружкѣ“, т.-е. избранныхъ товарищей, горячихъ головъ, въ родѣ него самого, великодушныхъ сердецъ, въ родѣ молодого Адуева или Ильи Ильича Обломова.

„Все это кипитъ, шумитъ и гордо ожидаетъ своей будущности“.

Великая будущность рисовалась время отъ времени Райскому въ гусарскомъ мундирѣ; не случайно „заглядываетъ“ онъ на разводъ—и его тревожатъ мечты о военной славѣ. Стремленіе въ ряды защитниковъ отечества весьма идетъ къ тому духу, который царилъ среди студентовъ, „гордившихся своими малиновыми воротниками“. Перефннить малиновые воротники на золотомъ шитые не могло не казаться заманчивымъ. Бабушка Татьяна Марковна только одобрила бы эту замѣну.

„Ты бы въ военную службу поступилъ, въ гвардію“,—говоритъ она Райскому-студенту. „— Дядя говоритъ, что средствъ нѣтъ... — Какъ нѣтъ: а это что? Она указала на поля и деревушку. — Да чтò жь это?.. Чѣмъ тутъ?.. — Какъ чѣмъ? — И начала высчитывать сотни и тысячи“... „Она не жила въ столицѣ, — замѣчаетъ Гончаровъ, — никогда не служила въ военной службѣ, и потому не знала, чего и сколько нужно для этого“.

И Райскому захотѣлось сдѣлаться артистомъ, художникомъ, какъ Адуеву—писателемъ. Слава въ томъ и другомъ случаѣ была могучимъ двигателемъ ихъ самолюбія. То, чтò не далось въ свое время Адуеву, блистательно выполнено было самимъ Гончаровымъ, какъ Пушкинымъ написано было все то, чего не могъ или



не умѣлъ написать Онѣгинъ. Онѣгинъ и Александръ Адуевъ явились, тѣмъ не менѣе, выразителями известной полосы душевнаго развитія авторовъ, полагавшихъ въ основу созданія типовъ черты несомнѣннаго автобіографическаго значенія.

Отмѣтимъ попутно еще одну мелкую параллель. Райскій любитъ полакомиться въ кондитерскихъ Пеэра и Педотти. А вотъ чтò рассказываетъ самъ Гончаровъ объ этой маленькой страстишкѣ у него самого въ дѣтствѣ. Главнымъ баловникомъ въ семьѣ Гончаровыхъ былъ Якубовъ. „Иногда онъ оставлялъ насъ обѣдать,— рассказываетъ Гончаровъ,—и тутъ уже всякому кормленію и баловству не было конца. Былъ у него, между прочимъ, особый шкафчикъ, полный сластей—собственно для насъ“. Не довольствуясь домашними запасами, Якубовъ возилъ дѣтей по всевозможнымъ съѣстнымъ и кондитерскимъ лавкамъ, и дѣти лакомились, несмотря на запрещенія матери, до излишка, находя въ запретномъ плодѣ особую прелесть.

То же повторилось и впослѣдствіи, когда Гончаровъ пріѣхалъ домой по окончаніи университетскаго курса. Якубовъ едва поздоровался, какъ велѣлъ заложить тарантасъ и повезъ юношу, по обыкновенію, въ кондитерскую. „Я засмѣялся, и онъ тоже, когда я спросилъ, гдѣ продается лучшій табакъ“.

Смѣха здороваго, жизнерадостнаго, беззаботнаго вообще было немало въ жизни Гончарова и его литературныхъ сородичей въ эту эпоху. По сообщенію одного изъ очевидцевъ, братъ нашего писателя рассказывалъ объ Иванѣ Александровичѣ, что „изъ университета онъ часто писалъ самыя веселыя и занимательныя письма, которыя, къ сожалѣнію, затерялись“.

Только одно студенческое письмо Ивана Александровича сохранилось, рассказываетъ то же лицо и передаетъ его содержаніе: „То онъ воздастъ должное поклоненіе профессору и удивительной лекціи его и тутъ

же прибавляетъ, что въ Кремлевскомъ саду встрѣтилъ незнакомку, съ которой неожиданно познакомился коротко; то рассказываетъ серьезную бесѣду съ товарищами о философіи, поэзіи, логикѣ и тутъ же сообщаетъ о самомъ пустомъ случаѣ съ нимъ на улицѣ“.

Словомъ, съ самыми радужными настроеніями и надеждами оканчиваютъ Гончаровъ и его сородичи курсъ наукъ въ одномъ и томъ же—очевидно, московскомъ—университетѣ. По крайней мѣрѣ, Александръ Адуевъ впервые попадаетъ, по окончаніи курса наукъ, въ Петербургъ, въ эту, по выраженію его матери, „великолѣпную столицу“. „Профессоры твердили, что онъ пойдетъ далеко“,—очевидно, онъ былъ старательнымъ студентомъ. „Онъ прилежно и много учился. Въ аттестатѣ его сказано было, что онъ знаетъ съ дюжину наукъ, да съ полдюжины древнихъ и новыхъ языковъ“,—совсѣмъ какъ у Обломова, голова котораго представляла „сложный архивъ мертвыхъ дѣлъ, лицъ, эпохъ, цифръ, религій, ничѣмъ не связанныхъ политико-экономическихъ, математическихъ или другихъ истинъ, задачъ, положеній“...

Истекала первая половина тридцатыхъ годовъ, пора тяжелаго похмелья послѣ золотыхъ грезъ первыхъ десятилѣтій вѣка. Это похмелье испытали всѣ, кого исторія называла „благородными идеалистами“ той эпохи, но Гончарова причислить къ нимъ было бы ошибкой. Его стремленія обращались въ другую сторону, далекую, можно думать, отъ „того берега“, съ котораго видѣли Русь Герценъ и его друзья.

Еще былъ живъ Пушкинъ, и предъ Гоголемъ уже носился чудодѣйственный замыселъ „Мертвыхъ душъ“...

## XI.

На родинѣ.—Изъ воспоминаній Гончарова.—Параллели.—Разсказъ очевидца.

По окончаніи университетскаго курса, побывалъ на родинѣ, подобно своимъ героямъ, и Гончаровъ.

Всѣ они могли бы вспоминать свои посѣщенія милыхъ обломовскихъ мѣстъ тѣмъ тономъ и даже тѣми словами, какими передаетъ свои впечатлѣнія самъ авторъ. „Меня охватило, какъ паромъ, домашнее баловство. Многіе изъ читателей, конечно, испытывали сладость возвращенія, послѣ долгой разлуки, къ роднымъ, и поймутъ, что я на первыхъ порахъ весь отдался сладкой нѣгѣ ухода, внимательности. Домашніе не даютъ пожелать чего-нибудь; все давно готово, предусмотрено. Кромѣ семьи, старые слуги, съ нянькой во главѣ, смотрятъ въ глаза, припоминаютъ мои вкусы, привычки, гдѣ стоялъ мой письменный столъ, на какомъ креслѣ я всегда сидѣлъ, какъ постлатъ мнѣ постель. Поваръ припоминаетъ мои любимыя блюда, и всѣ не наглядятся на меня“.

Не трудно вообразить, что это было за баловство, если вспомнить, какъ принимали Александра Адуева во время его побывки на родинѣ. Встрѣчали его чуть не съ иконами; у матери, Анны Павловны, и руки, и ноги отъ радости отнялись. Съ дороги баринъ хочетъ уснуть. Ему готовятъ постель. „Анна Павловна посмотрѣла, хорошо ли постлана постель, побранила дѣвку, что жестко, заставила перестлатъ при себѣ и до тѣхъ поръ не ушла, пока Александръ не улегся. Она вышла на цыпочкахъ, погрозила людямъ, чтобы не смѣли говорить и дышать вслухъ, и ходили бы безъ сапогъ“. Рассказывая о томъ, что кушалъ баринъ въ Петербургѣ, Евсей, камердинеръ его, едва не заплатился своей спи-

ной за то, что давалъ барину постныя, а не сдобныя булочки. Эта сценка весьма напоминаетъ Фонвизинскій разговоръ Простаковой съ Митрофанушкиной нянюшкой Еремѣвной. И нравы и понятія были приблизительно тѣ же, разница могла быть только въ колоритѣ, только въ освѣщеніи, но сущность крѣпостного уклада жизни оставалась нетронутой. Однажды Александръ Адуевъ, прохаживъ цѣлый день съ толпой бабъ и дѣвокъ за грибами, похвалилъ дѣвушку Машу за проворство и ловкость,—„и Маша взята была во дворъ *ходить за бариномъ*“. Простота и естественность, съ какой совершались подобные факты добраго стараго времени, вполне соответствуютъ олимпійскому спокойствію рѣчи. О художникахъ говорятъ въ такихъ случаяхъ, что они проникали въ духъ и настроеніе изображаемой эпохи. Гончарову не трудно было это сдѣлать.

Вотъ разсказъ о томъ, каково жилось Гончарову въ домашнемъ быту у матери, во время своего пребыванія на родинѣ. „Это было самое счастливое время для Гончарова; онъ жилъ здѣсь, если можно такъ выразиться, самую живую жизнью, какою только можетъ жить человѣкъ на землѣ. Тутъ было все: и радость перваго литературнаго успѣха, и плѣнительныя воспоминанія дѣтства, и сіяющее лицо матери, и ласки, восторги подарковъ тому же счастливому любимцу, и воркованіе слѣпой няни, которая теперь готова молиться на своего Ванюшу, и раболѣпіе старика-слуги, который, какъ мальчишка, сбѣгаетъ, суетится, бросается во всѣ углы, лишь бы угодить Ивану Александровичу. А тутъ еще такой почетъ общества, приглашеніе губернатора быть, безъ чиновъ, человекомъ своимъ, и, наконецъ, гордость купцовъ: „каковъ нашъ Гончаровъ! вонъ куда залетаютъ изъ нашихъ!“ Да, окруженный семьей, осыпанный ласками, оживленный всѣмъ окружающимъ, онъ здѣсь вполне чувствовалъ, что онъ именно то солнце, которое все собой озаряетъ и радуетъ всѣхъ. Зато надобно

было видѣть, какъ Иванъ Александровичъ въ это время былъ живъ и игривъ. Боже мой! Какъ умилительно прикладывался къ рукѣ матери, точно къ иконѣ, и въ порывѣ такъ страстно обниметь старуху, что та задыхается въ объятіяхъ сына, на лету ловить, цѣлуетъ брата, сестеръ, племянниковъ, племянницъ, да что и говорить о кровныхъ родныхъ,—онъ въ настоящее время всѣмъ былъ близкій родной... Даже съ прислугой онъ обращался, точно съ братьями и сестрами; комично кланяется всѣмъ и смѣшитъ. Обниметь стараго слугу Никиту и спросить:

— А помнишь, старина, какой я былъ маленькій? Веселое было тогда время! Помнишь, какъ важно приходилъ ты къ крестному во флигель звать меня къ маменькѣ? Даже страшно было, когда ты выговаривалъ: „Иванъ Александрычъ, пожалуйста“...—и вдругъ въ тебя выстрѣлъ: „пошелъ вонъ!“ Угорчался, я думаю, ты этимъ, голубчикъ?

— Да что!—Никита махнулъ рукой.—Все маменька ваша изволила тогда беспокоиться понапрасну! „Поди, веди его!“ А зачѣмъ вести? По-моему, Богъ создать дитю для того, чтобъ онъ игралъ и забавлялся, а они запрещаютъ, ну, развѣ это возможно? Хоша бы колокольня тогда? Ну, что?.. По-моему: пусть барченокъ полюбуется нашимъ городкомъ—оттуда все видно! А они свое: „расшибется!“ Я тогда не вытерпѣлъ, сказалъ: эхъ, матушка-барыня, Богъ-то не въ одной церкви живетъ, Онъ и на колокольнѣ нашего барчонка спасетъ!—такъ куда! Осерчала даже на мои разумныя слова, изволили закричать: „пошелъ вонъ, не разсуждай!“.. Вотъ и только.

„Иванъ Александровичъ не вытерпѣлъ, засмѣялся“...

Сколько здѣсь сходства въ настроеніяхъ и мелкихъ параллелей къ Обломову!

Насъ интересуютъ, конечно, именно эти параллели, наглядно показывающія, какую громадную роль игра-

ли воспоминанія въ созданіи „Обломова“. Сентиментальный тонъ изложенія служитъ особенностью стиля автора этихъ воспоминаній, весьма понятною въ человѣкѣ, знавшемъ покойнаго писателя много десяти-  
ковъ лѣтъ.

Послѣ отдыха и нѣги въ домашней обстановкѣ, Гончарова снова потянуло на сѣверъ—въ Петербургъ.

## XII.

Въ Петербургѣ.—Служебная дѣятельность Гончарова.—Отношеніе къ службѣ.—Параллели.—Отзывъ очевидца о службѣ Гончарова въ цензурѣ.

Потекли ровные годы неторопливой дѣятельности, медлительнаго творчества. Но лучшая пора жизни почти скрывается отъ глазъ наблюдателя, и воспоминанія писателя объ этомъ періодѣ его жизни отрывочны и блѣдны. Внѣшніе факты, впечатлѣнія ближайшей среды, обстановка, несложный перечень событій — такова ихъ сущность, дающая, тѣмъ не менѣе, поводъ предполагать тщательно скрытую за ними богатую гамму разнообразныхъ ощущеній сердца и опыта. Гончаровъ словно стыдится раскрыть ихъ передъ читателемъ, словно не считаетъ читателя вправѣ посягать на поднятіе завѣсы съ сокровеннѣйшихъ уголковъ своихъ воспоминаній о прошломъ. Но, можетъ быть, Гончаровъ разсуждалъ (если только онъ разсуждалъ объ этомъ) и иначе, въ томъ смыслѣ, что многое изъ своей жизни онъ уже воплотилъ въ романахъ, возведя въ типическій образъ то, что было личной чертой, лично пережитымъ фактомъ въ извѣстную пору жизни: съ этой точки зрѣнія воспоминанія писателя являлись лишь необходимымъ допол-

неніемъ, вѣшними рамками сложной внутренней работы, отразившейся въ творческомъ синтезѣ.

Сочиненія даютъ, въ дѣйствительности, не мало указаній въ этомъ направленіи. Конечно, эти указанія—безъ точной хронологіи, подлинныхъ свидѣтельствъ и реальныхъ опредѣленій, но въ нихъ заключается разгадка и общій смыслъ лучшей полосы жизни, не освѣщенной въ личныхъ воспоминаніяхъ. Въ частности, относительно молодости Гончарова и его героевъ можно сдѣлать одно не лишенное вѣроятности замѣчаніе. „Обыкновенная исторія“ создавалась Гончаровымъ, когда ему было уже за тридцать. Она выразила наглядный переходъ наивнаго, сентиментальнаго юноши, едва покинувшаго университетъ, въ положительнаго, серьезнаго человѣка, на сторонѣ котораго, если такъ можно выразиться, были послѣднія симпатіи автора. И въ то время, какъ типъ Адуева — дяди поражаетъ своей законченностью и цѣльностью, образъ Александра Адуева—представляется, въ смыслѣ типа, не выдержаннымъ, мѣстами излишне-карикатурнымъ. Въ художественномъ отношеніи его спасаетъ сопоставленіе съ Петромъ Ивановичемъ, которое объясняетъ и дорисовываетъ его. Очевидно, Петръ Ивановичъ былъ ближе душѣ Гончарова, и созданіе этого образа далось художнику гораздо легче. Тридцатидвухлѣтній Обломовъ былъ можно думать, понятнѣе Гончарову, чѣмъ Обломовъ-студентъ, и тридцатипяти-лѣтній Райскій выступалъ предъ писателемъ отчетливѣе, чѣмъ Райскій лѣтъ десять-пятнадцать назадъ. Очевидно, впечатлѣнія студенческихъ лѣтъ успѣли затуманиться или же не были особенно глубоки.

Оглядываясь назадъ, на годы ранней юности Ильи Ильича, можно было сказать, что между наукой и жизнью лежала у Обломова цѣлая бездна. Наука была у него сама по себѣ, а жизнь сама по себѣ. И сотни цитатъ можно привести о томъ, что эта же бездна

была и у Райскаго: „книги! развѣ это жизнь?“—воскликаетъ онъ въ разговорѣ съ Козловымъ:—„старыя книги сдѣлали свое дѣло, люди рвутся впередъ“, и та же бездна между наукою и жизнью была, повидимому, у самого Гончарова. Въ данномъ случаѣ къ нему, можно было, кажется, примѣнить то же, что онъ сказалъ объ Обломовѣ: „Начальникъ заведенія, подписью своею на аттестатѣ, какъ прежде учитель ногтемъ на книгѣ, провѣль черту, за которую герой нашъ не считалъ уже нужнымъ простирать свои ученыя стремленія“.

Посѣщеніемъ лекцій, домашнимъ чтеніемъ и бесѣдами съ „горячими“ умами и сердцами изъ „своихъ“ исчерпывалась студенческая жизнь Гончарова. Къ концу ея, можетъ быть, слѣдовало бы приурочить развитіе юношеской мечтательности, романтическихъ порывовъ и грезъ. Какъ бы человѣкъ ни относился впослѣдствіи къ воспоминаніямъ своихъ дѣтски-незрѣлыхъ стремленій, очарованій и увлеченій, они оставляютъ глубокий слѣдъ въ его душѣ, они же полагаютъ первыя основы его послѣдовательно вырабатывающейся жизненной философіи, его индивидуальной религіи и поэзии духа. Когда Гончаровъ изображалъ въ своихъ романахъ цвѣтущую пору юности, онъ самъ отошелъ отъ нея на далекое разстояніе въ своемъ жизнепониманіи, и оттого воспоминанія его о молодости, мѣстами тепло рассказанныя, поражаютъ своею блѣдностью и неполнотою. Кое-гдѣ прорывается скептическая жилка и указываетъ на послѣдовательно совершившуюся перемѣну во внутреннемъ отношеніи къ пережитымъ фактамъ, на переоцѣнку явленій, дававшихъ раньше содержаніе и главный интересъ жизни.

Вглядываясь въ портреты Гончарова послѣднихъ двадцати лѣтъ его жизни, невольно обращаешь вниманіе на одну черту, чрезвычайно для нихъ характерную,—на корректную сановитость его лица, которое, можно сказать а priori, должно было принадлежать видному



и просвѣщенному, непремѣнно русскому бюрократу... Этотъ видъ учтиво-равнодушной и корректной сановитости Гончаровъ приобрѣлъ на свыше-сорокалѣтней государственной службѣ, начавшейся вслѣдъ за окончаніемъ университетскаго курса въ родномъ городѣ.

Мы не будемъ слѣдить съ читателемъ за тѣмъ, какъ Гончаровъ служилъ въ канцеляріи симбирскаго губернатора, образъ котораго онъ такъ мастерски нарисовалъ въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ очерковъ. Прослуживъ „отлично, благородно“ года полтора, въ качествѣ чиновника особыхъ порученій и друга семьи у своего помпадуръ, поблиставъ въ это время на балахъ и сумѣвъ сберечь свою независимость отъ матримоніальныхъ набѣговъ провинціальныхъ маменекъ, Гончаровъ наскучилъ жизнью въ провинціи и отправился продолжать служебное поприще въ Петербургъ. Родной городъ онъ покидалъ, повидимому, весело, всецѣло отдаваясь романтическимъ мечтаніямъ и надеждамъ. Въ столицу онъ ѣхалъ вмѣстѣ съ губернаторомъ, котораго, по чьему-то доносу, отставили, и онъ направлялся туда, пылая негодованіемъ противъ „жандармеріи“, чтобы оправдаться передъ кѣмъ слѣдуетъ.

Передъ отъѣздомъ—позволимъ себѣ отмѣтить мелкую, но характерную черточку—передъ отъѣздомъ Гончаровъ прощался съ чиновниками губернаторской канцеляріи. Вотъ какъ онъ рассказываетъ объ этомъ. „Съ чиновниками канцеляріи я простился дружелюбно, пожавъ имъ всѣмъ руки въ первый и послѣдній разъ: *они были уже не подчиненные мнѣ*“. Юноша, годъ назадъ сидѣвшій на студенческой скамьѣ, считалъ невозможнымъ, оказывается, подавать руку своимъ сослуживцамъ, которые было старше лѣтами и опытнѣе его въ канцелярскомъ дѣлѣ. Но онъ былъ ступенью выше поставленъ, —и потому такое отношеніе считалось вполне естественнымъ, вполне согласованнымъ съ понятіями о чиновничьихъ рангахъ. Гончаровъ шелъ въ данномъ

случаѣ уже по проторенной колѣѣ; новаторство, даже самое невинное, не было въ его натурѣ, и потребовалась длинная вереница лѣтъ, чтобы въ его бюрократическихъ понятіяхъ совершилась та уступка новымъ вѣяніямъ, признакомъ которой явился слегка ироническій тонъ въ воспоминаніяхъ о молодыхъ годахъ своей службы.

Въ Петербургѣ его ожидало прозаическое поприще сначала переводчика, потомъ—столоначальника въ департаментѣ внѣшней торговли. „Задумалъ молодой челоѣкъ служить въ Петербургѣ, рассказывалъ авторъ воспоминаній о Гончаровѣ,—и тутъ ему не пришлось хлопотать и мѣста искать: оно давно было готово для него. Родной братъ Трегубова былъ въ Петербургѣ важное лицо, а кому изъ насъ неизвѣстно, что такое важное лицо въ Петербургѣ, и что оно можетъ творить?“... — Но долгіе годы чиновничьей жизни Гончарова не возмущались ни пламеннымъ стремленіемъ къ служебной карьерѣ, ни участіемъ въ какихъ-либо общественныхъ движеніяхъ и партіяхъ. Трудъ былъ на половину механической, „исполненіе“ бумагъ велось по одному, разъ навсегда заведенному порядку, и подобная работа, при всемъ своемъ однообразіи и скукѣ, была если не пріятна, то удобна для Гончарова, такъ какъ она не мѣшала совершаться въ душѣ его другой, болѣе сложной и могучей—творческой работѣ.

Онъ не заблуждался и относительно качества своего канцелярскаго служенія. Оно казалось ему мертвымъ дѣломъ, ничего не дававшимъ ни уму, ни сердцу. Но оно было „дѣломъ“, и этого было достаточно, чтобы Гончаровъ относился къ нему, какъ прежде—къ посѣщенію лекцій, внимательно и аккуратно, не пренебрегая своими обязанностями, но и не внося въ исполненіе ихъ особеннаго усердія или даже глубокаго интереса.

Прислушаемся къ тому, что говорятъ на эту тему его герои, но начнемъ ихъ отзѣвы не съ Адуева Але-

ксандра, свидѣтельство котораго мы оцѣнимъ по достоинству нѣсколько позже — а по другому, хотя и близкому поводу.

Илья Ильичъ Обломовъ, владѣлецъ трехсотъ-пятидесяти душъ въ одной изъ дальнихъ губерній, „чуть не въ Азіи,“ готовился прежде всего къ службѣ, — „что и было цѣлью его пріѣзда въ Петербургъ. Потомъ онъ думалъ о роли въ обществѣ; наконецъ, въ отдаленной перспективѣ, на поворотѣ съ юности къ зрѣлымъ лѣтамъ, воображенію его мелькало и улыбалось семейное счастье“.

На службѣ Илью Ильича постигли нѣкоторыя, для него жестокія испытанія. Служба оказалась дѣломъ обязательнымъ и утомительнымъ. Чиновники не составляли особой дружной и тѣсной семьи, неусыпно пекущейся о взаимномъ спокойствіи и удовольствіяхъ; начальники вовсе не были тѣми „отцами“ подчиненныхъ, какъ представлялось это на родинѣ, — всѣ передъ ними трепетали, суетились, стремились взапуски выразить свое почтеніе, и Обломовъ видѣлъ, что начальники по степени раболѣпства и почтительности своихъ подчиненныхъ не разъ составляли мнѣніе объ ихъ ревности и даже способностяхъ къ службѣ.

Илья Ильичъ не обладалъ той выдержкой, какая была у Гончарова, и, отправивъ однажды какую-то нужную бумагу, вмѣсто Астрахани, въ Архангельскъ, испугался отвѣтственности и подалъ въ отставку. О службѣ онъ вынесъ совершенно опредѣленное мнѣніе, независимое, впрочемъ, отъ его личной служебной неудачи. Дѣловитый и исполнительный чиновникъ Судбинскій, его бывший товарищъ по службѣ, вызываетъ у него искреннее сожалѣніе: „увязъ“ въ службу — и сталъ слѣпъ, и глухъ, и нѣмъ для всего остального въ мірѣ. „А выйдетъ въ люди, — думаетъ Обломовъ, — будетъ, со временемъ, ворочать дѣлами и чиновъ нахватаетъ... У насъ это называется тоже карьерой! А какъ мало тутъ

человѣка-то нужно: ума его, воли, чувства—зачѣмъ это? Роскошь! И проживетъ свой вѣкъ, и не пошевелится въ немъ многое, многое“...

Не самообольщаются относительно службы и Петръ Ивановичъ Адуевъ, и Иванъ Ивановичъ Аяновъ, кстати сказать, весьма похожіе другъ на друга, оба по-своему дѣльные и видные бюрократы. Для нихъ служба—источникъ ихъ фортуны, ихъ положенія и вѣса въ обществѣ, средство удовлетворенія обычнаго у среднихъ людей буржуазнаго тщеславія. Ихъ служба—уже не грубое молчалинское подслуживанье, а та способность приспособляться къ обстоятельствамъ и людямъ, та привычка трудиться не болѣе, но и не менѣе другихъ, притомъ не заглядывая въ конечный результатъ своего труда, которая, съ одной стороны, даетъ имъ возможность считать себя порядочными людьми, а съ другой приносить имъ удовлетвореніе почтенно, не хуже другихъ, исполняемаго долга. Ихъ связи въ обществѣ уже не столько родовыя, сколько дѣловыя связи, опредѣляемыя сложной сѣтью соображеній, поскольку тотъ или иной дѣятель можетъ быть полезенъ или вреденъ въ различныхъ житейскихъ случаяхъ, вліятеленъ или ничтоженъ. Тонкій ужинъ и удачно подобранная партія въ вистъ котируются на петербургской бюрократической биржѣ неизмѣримо выше безупречной честности, искренности, отзывчивой души, участливаго сердца, тѣхъ фантастическихъ бредней, о которыхъ тоскуетъ въ первые годы Александръ. И душа, и сердце—лишніе предметы въ той машинѣ, которая „работаетъ стройно, непрерывно, какъ будто нѣтъ людей,—одни колеса да пружины“.

„Дядя любитъ заниматься дѣломъ,—пишетъ Александръ Адуевъ подъ диктовку Петра Ивановича,—что совѣтуетъ и мнѣ, а я тебѣ (письмо пишется „другу“):—мы принадлежимъ къ обществу,—говоритъ онъ,—которое нуждается въ насъ; занимаясь, онъ не забываетъ и себя; дѣло доставляетъ деньги, а деньги—комфортъ.

который онъ очень любить“. Такъ разсуждаетъ Петръ Ивановичъ, на сторонѣ котораго, чувствуется, многія симпатіи Гончарова.

Аяновъ, всегда „блиставшій спокойствіемъ и наслаждавшійся этимъ“, состоялъ по особымъ порученіямъ у одного изъ министровъ. Впрочемъ, онъ служилъ при нѣсколькихъ, послѣдовательно смѣнявшихся, и всегда былъ ловкимъ исполнителемъ чужихъ проектовъ, неизмѣнно раздѣляя взглядъ министра на дѣло. Мѣнялся начальникъ, вмѣстѣ съ нимъ мѣнялся взглядъ и проектъ, и Аяновъ работалъ по прежнему—умно и ловко. Служба его напоминала службу Калынова (въ „Литературномъ вечерѣ“), этого „техника-организатора“, по выраженію автора, а въ далекомъ прошломъ—и службу самого Гончарова при Углицкомъ. „По утрамъ (Аяновъ) являлся къ нему (министру) въ кабинетъ, потомъ къ женѣ его въ гостинную, и дѣйствительно исполнялъ нѣкоторыя ея порученія, а по вечерамъ, въ положенные дни, непременно составлялъ партію, съ кѣмъ попросить“... Дѣла у Аянова, стало быть, было еще меньше, чѣмъ у Петра Ивановича.

Такой отчетливый, ясный взглядъ на служебныя обязанности и общій типъ русскаго чиновника проходитъ по всѣмъ романамъ Гончарова, и нѣтъ основанія думать, что самъ авторъ смотрѣлъ на свою собственную служебную дѣятельность съ иной точки зрѣнія. Карьера Гончарова могла быть намѣчаема, въ его молодости, родными и въ особенности Якубовымъ такъ, какъ опредѣляетъ ее, напримѣръ, опекунъ Райскаго: „Ты поступишь въ университетъ, въ юридическій факультетъ, потомъ служи въ Петербургѣ, учись дѣлу, добивайся прокурорскаго мѣста, а родня выведетъ тебя въ камеръ-юнкеры“. De facto — разница произошла только въ вѣдомствахъ, да камеръ-юнкерства не было, но внутреннее отношеніе осталось то же.

Не обостряя своего честолюбія въ сторону чинов-

ничьей карьеры, Гончаровъ долго служилъ въ департаментѣ виѣшной торговли; въ 1858 г., онъ перешелъ въ цензурное вѣдомство, сначала цензоромъ, потомъ членомъ главнаго управленія по дѣламъ печати; въ 1862 г. редактировалъ официальную „Сѣверную почту“; въ 1873 г. вышелъ въ отставку, вѣроятно, безъ тяжелыхъ укоровъ совѣсти въ прошломъ, но и безъ какихъ бы то ни было сожалѣній. Литературная извѣстность доставила ему много вліятельныхъ знакомствъ и, между прочимъ, со многими лицами царской фамиліи,—и это льстило, говорятъ, самолюбію Гончарова. Съ худо скрытымъ равнодушіемъ отзывался онъ о своихъ связяхъ въ этомъ кругу, но въ отзывахъ этихъ чувствовался, по осторожному выраженію одного изъ друзей писателя, „почтительный и тонкій царедворецъ“. Съ другой же стороны, безъ малаго сорокалѣтняя государственная служба была для него, очевидно, дѣломъ, не выходившимъ за предѣлы виѣшнихъ условій, виѣшной рамки человѣческой жизни, и не этому дѣлу была отдана таинственная работа ума и сердца Гончарова.

Ко времени службы нашего писателя въ цензурѣ сохранился одинъ не лишенный интереса отзывъ лица, обращавшагося къ нему по цензурному вопросу. Этотъ отзывъ принадлежитъ Ѳ. П. Еленеву и былъ сдѣланъ послѣднимъ въ письмѣ къ цензору Гилярову-Платонову. Въ письмѣ этомъ, напечатанномъ въ работѣ кн. Н. В. Шаховского о годахъ службы Гилярова-Платонова въ московскомъ цензурномъ комитетѣ, разсказывается, какъ авторъ письма, Еленевъ, обратился къ Гончарову по поводу разрѣшенія къ печати его сочиненія, касавшагося различныхъ сторонъ состоянія, исторіи и быта Россіи.

„Въ отношеніи ко мнѣ лично,—пишетъ Еленевъ,—Гончаровъ поступилъ такъ, что кромѣ благодарности я ничего не могу о немъ сказать. Снисходя къ

моимъ обстоятельствамъ, онъ далъ мнѣ слово прочитать рукопись въ недѣлю и, дѣйствительно, исполнилъ это, хотя имѣлъ полное право держать ее три мѣсяца, тѣмъ болѣе, что у него достаточно работы и цензурной и своей собственной, литературной. Что же касается до его цензуры, то она не была такъ снисходительна къ моему сочиненію, какъ самъ цензоръ былъ снисходителенъ ко мнѣ, и въ этомъ я нисколько его не упрекаю. Я знаю, что образъ цензуры, при извѣстныхъ требованіяхъ закона, зависитъ, во-первыхъ, отъ врожденной способности яснаго пониманія вещей и, во-вторыхъ, отъ суммы свѣдѣній цензора по тому предмету, о которомъ идетъ рѣчь: но это такія два условія, которыя не зависятъ отъ доброй воли цензора. Чтобы обозначить короче характеръ цензуры Гончарова, достаточно сказать, что она была совершенно противоположна вашей цензурѣ. При этомъ сравненіи мнѣ приходитъ на мысль тотъ текстъ, о которомъ мы такъ много говорили: „буква убиваетъ, а духъ животворитъ“. Гончаровъ въ цензурномъ уставѣ видитъ только букву, тогда какъ вы извлекли его духъ, и хотя тяжель духъ сего устава, но всетаки цензура по духу безъ всякаго сравненія легче цензуры по буквѣ. Въ духѣ видимъ смыслъ, извѣстное требованіе, быть можетъ и противное нашему убѣжденію, но къ которому всетаки можно какъ-нибудь поддѣлаться, хотя бы и наружнымъ только образомъ, а съ буквой нельзя совладать никакимъ образомъ, потому что въ ея дѣйствіяхъ не видишь ни смысла, ни цѣли, ни причины. Не говорю уже о тѣхъ, весьма рѣдкихъ случаяхъ, когда цензоръ не только не поработщаетъ себя буквѣ устава, но и самый духъ его старается смягчить и подчинить его высшему духу истины и добра, принимая на себя отвѣтственность за свое великодушіе. Такихъ случаевъ нельзя забыть тому, кто былъ ихъ свидѣтелемъ, хотя нельзя также не чувствовать боязни за этихъ людей, для которыхъ любовь къ

истинѣ всегда можетъ обратиться въ вину противъ закона. Гончаровъ, съ похвальнымъ усердіемъ ревнуя къ буквѣ закона, неумолимо крестилъ все,—какъ то, что дѣйствительно можетъ возбуждать нѣкоторое сомнѣніе, такъ еще болѣе то, въ чемъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, пропуская только то, гдѣ именно были самые пункты: „Слона-то онъ и не замѣтилъ“.

Это было писано въ 1856 г., и хотя мы можемъ предполагать нѣкоторую дозу раздраженія въ авторѣ, потерпѣвшемъ отъ неравной схватки съ цензоромъ, но, повидимому, характеристика эта довольно объективно изображаетъ отношеніе Гончарова къ служебному дѣлу.

### XIII.

Отзывы А. В. Никитенка о службѣ Гончарова въ цензурномъ вѣдомствѣ.—Служебная атмосфера.—Гончаровъ заграницей.—Упоминанія Никитенки.—Разсказъ П. Д. Боборыкина.

Безпристрастіе требуетъ, чтобы мы привели и отзывы другого рода, относящіеся къ той же полосѣ служебной дѣятельности Гончарова. Мы имѣемъ въ виду тѣ краткія сообщенія, которыя приводитъ А. В. Никитенко въ своихъ любопытнѣйшихъ мемуарахъ. Никитенко былъ близокъ съ Гончаровымъ; онъ оказалъ большое вліяніе на его служебное движеніе и, можетъ быть, на нѣкоторыя стороны міросозерцанія нашего писателя. Подъ 24 ноября 1855 г. у Никитенки записано: „Мнѣ удалось провести Гончарова въ цензора. Къ 1 января смѣняютъ трехъ цензоровъ, наиболѣе нелѣпыхъ. Гончаровъ замѣнитъ одного изъ нихъ, конечно, съ тѣмъ, чтобы



не быть похожимъ на него. Онъ уменъ, съ большимъ тактомъ, будетъ честнымъ и хорошимъ цензоромъ. А съ другой стороны, это и его спасетъ отъ канцеляризма, въ которомъ онъ погибаетъ“. Подъ 18 января 1858 г.: „Министръ прочиталъ записку о необходимости дѣйствовать ценаурѣ въ смягчительномъ духѣ. Записку эту писалъ кн. Вяземскій, съ содѣйствіемъ Гончарова“. Въ 1861 г. Никитенко хлопочетъ, но сначала неудачно, о назначеніи Гончарова членомъ совѣта по дѣламъ печати, а чрезъ полгода, 7 іюля 1862 г., сообщаетъ о томъ, что вмѣстѣ съ Арсеньевымъ они составили телеграфическую депешу къ Гончарову въ Москву, приглашая его скорѣе вернуться въ Петербургъ: „у Валуева есть намѣреніе поручить ему главную редакцію „Сѣверной почты“. Въ 1864 г., подъ 3 февраля, Никитенко приводитъ любопытный разсказъ, характеризующій не столько направленіе дѣятельности Гончарова, сколько ту атмосферу, въ которой ему приходилось служить.—„Засѣданіе въ совѣтѣ по дѣламъ печати. Пржецлавскій читалъ свою записку о сильномъ распространеніи у насъ матеріализма и полагалъ, что достаточно выбрать хорошихъ цензоровъ, чтобы остановить этотъ пагубный потокъ“... Никитенко возражалъ докладчику. „Матеріалистическое настроеніе, говорилъ онъ, есть настроеніе времени. Оно не только врывается въ печать, оно сидитъ на каѳедрахъ университетскихъ, проникаетъ въ воспитаніе. Естественная наука овладѣла духомъ времени и вмѣстѣ съ утилитарнымъ направленіемъ образуетъ нравы нашего времени. Если это зло, то противъ него надо ополчиться силами равными. Сюда нужно призвать на помощь ужъ, конечно, не одну полицію, т. е. цензуру, а все, что есть лучшаго въ вѣрованіяхъ человѣческихъ, въ разумѣ, въ воспитаніи. Но какъ это сдѣлать?..“ Въ такомъ же духѣ оспаривали Пржецлавскаго предсѣдатель, Гончаровъ и Туруновъ“.

Гончарову въ этой атмосферѣ дышалось, какъ видно, не особенно легко, что и объясняетъ отчасти его взглядъ на службу, какъ на мертвое дѣло. „Вечеръ просидѣлъ у меня Гончаровъ, заноситъ въ свой дневникъ Никитенко, подъ 23 декабря 1865 г. — Онъ съ крайнимъ огорченіемъ говорилъ о своемъ невыносимомъ положеніи въ совѣтѣ по дѣламъ печати. Министръ смотритъ на вопросы мысли и печати, какъ полицейскій чиновникъ; председатель совѣта есть ничтожнѣйшее существо, готовое подчиниться всякому чужому вліянію, кромѣ честнаго и умнаго, а всему даетъ направленіе Ф. Онъ доноситъ Валуеву о словахъ и мнѣніяхъ членовъ и предрасполагаетъ его къ извѣстнымъ рѣшеніямъ, настраивая его въ то же время противъ лицъ, которыя ему почему-нибудь неугодны“.

Года черезъ два Никитенко отмѣчалъ разговоры Валуева съ Гончаровымъ на ту тему, что онъ, министр Валуевъ, не признаетъ общественнаго мнѣнія. Неизвѣстно, какъ чувствовалъ себя Гончаровъ при подобнаго рода разговорахъ, но отношенія къ Валуеву составляли свою особую полосу въ жизни Гончарова; отъ этихъ отношеній, по отзывамъ друзей писателя, остался слѣдъ, въ видѣ ряда писемъ, въ которыхъ, говорятъ, не мало характеризующихъ Гончарова тонкихъ критическихъ замѣчаній о современной литературѣ и, между прочимъ, о романѣ („Лоринъ“) самого Валуева.

Но и служба и жизнь дѣлали свое дѣло, — годы ползли. Гончаровъ на службѣ скучалъ, дома писалъ, бывалъ на вечерахъ, обѣдахъ, посѣщалъ театры, ѣздилъ за границу... У Никитенки встрѣчаемъ бѣглыя указанія и на эти стороны жизни писателя. „Приходилъ Гончаровъ проститься, отмѣчаетъ онъ, напримѣръ, подъ 19 мая 1859 г.—Онъ ѣдетъ за границу на 4 мѣсяца. Счастливецъ! И свобода, и югъ, и горы, и горы Шварцвальда, и Рейнъ!“ Подъ 22 мая 1860 г. (въ Дрезденѣ): „Дни проводимъ въ пріисканіи квартиры и прогулкахъ по

ороду съ Гончаровымъ, который одержимъ неистовой страстью бродить по городу и покупать въ магазинахъ разныя ненужныя вещи. Мы перепробовали съ имъ сигары во всѣхъ здѣшнихъ лучшихъ сигарныхъ магазинахъ.“ Подъ 14 сентября (въ Дрезденѣ): „Усердно гуляемъ то въ Гросгартенѣ, то на Брюллевской террасѣ; то я безцѣльно брожу по городу съ И. А. Гончаровымъ, который продолжаетъ неистово заниматься покупками — въ настоящее время особенно сигаръ и стееоскопныхъ картинокъ съ видами“... Подъ 23 мая (тамъ-же): „Прогулка въ Тарантъ со всей семьей и съ Гончаровымъ въ коляскѣ“. Такія сообщенія способны, ожалуй, разубѣдить иныхъ изъ читателей въ томъ, удто бы Гончаровъ былъ ужъ очень неподвиженъ и ѳнивъ.

Но эти поѣздки за границу ничто въ сравненіи съ ѳмъ путешествіемъ, которое онъ совершилъ въ началѣ пятидесятихъ годовъ на фрегатѣ „Паллада“. Исполнилась давнишняя мечта, навѣянная въ дѣтствѣ разказами моряка Якубова, увидѣть въявь тѣ соблазнительныя страны, которыя раньше мелькали въ фантастическихъ грезахъ или описаніяхъ путешественниковъ. Въ дневникѣ этого путешествія Гончаровъ далъ художественный отчетъ въ своихъ впечатлѣніяхъ; любопытство было удовлетворено, воображеніе улеглось, и жизнь приняла снова старыя формы неторопливаго, спокойнаго теченія, какъ только Гончаровъ почувствовалъ себя на своей петербургской квартирѣ.

Значительно позже за границей познакомился съ Гончаровымъ П. Д. Боборыкинъ и вотъ какъ онъ описывалъ характеръ и привычки Ивана Александровича. Попутно читатель отмѣтитъ и любопытныя замѣчанія о томъ, какъ „писалъ“ Гончаровъ свои романы.

„Съ личностью Ив. Ал., его тономъ, отѣнками характера, странностями и слабостями,—разсказывалъ г. Боборыкинъ,—меня довольно подробно ознакомилъ графъ

В. А. Соллогубъ, еще въ бытность мою студентомъ въ Дерптѣ. Уже тогда я зналъ, что преобладающей чертой его характера была необычайная, почти болѣзненная осторожность и боязнь попасть въ какое-нибудь неловкое положеніе. Соллогубъ изображалъ въ лицахъ цѣлый рядъ сценъ. И одна изъ нихъ сохранилась въ моей памяти: на какихъ-то водахъ онъ напелъ Ив. Ал. на станціи въ обществѣ какой-то дамы, совершенно приличной особы, изъ его петербургскихъ знакомыхъ. И какъ бѣдный Ив. Ал. конфузился, уклонялся отъ разговора, стараясь поскорѣе уйти изъ пассажирской залы!

„Эта черта была въ немъ коренная, и на старости, разумѣется, развилась до крайности, чѣмъ объясняется на половину и его предсмертный запретъ оглашать его письма, не предназначавшіяся къ печати.

„Черезъ одиннадцать лѣтъ по появленіи „Обломова“ познакомился я лично съ Гончаровымъ и провелъ въ его обществѣ добрый мѣсяцъ, видаясь съ нимъ почти каждый день.

„Это было въ концѣ мая 1870 года, мѣсяца за два до объявленія франко-прусской войны, въ Берлинѣ. Я пріѣхалъ пожить въ прусской столицѣ, больше какъ корреспондентъ двухъ русскихъ газетъ, и сейчасъ-же, черезъ товарища моего по Дерпту, д-ра Вл. Бакста, сошелся съ цѣлымъ кружкомъ русской молодежи, которая сама себя называла „бандой“, вмѣстѣ прожигали жизнь по Берлину и обѣдали за табльдотомъ — тогда самымъ лучшимъ въ Берлинѣ, въ Hôtel de Rome, когда-то воспѣтомъ поэтомъ Огаревымъ.

„Эта „банда“ состояла какъ-бы и при Ив. Алекс. Онъ жилъ въ Берлинѣ передъ отправленіемъ на какія-то воды, кажется, въ Мариенбадъ.

„Передъ тѣмъ, почти ровно за годъ, живя въ Швейцаріи, по возвращеніи изъ Испаніи, въ горахъ, около Цюриха, я часто навѣщаль другую студенческую банду

и одинъ изъ ея членовъ давалъ мнѣ читать „Обрывъ“. Романъ сильно интересовалъ насъ всѣхъ и своимъ замысломъ, и отдѣльными фигурами. Кое-что дошло уже и за границу, гдѣ я оставался цѣлыхъ четыре года, о томъ инцидентѣ, какой омрачилъ отношенія Гончарова къ своему собрату и—до того времени—пріятелю Тургеневу, по появленіи „Отцовъ и дѣтей“. Намъ было жаль автора „Обрыва“ въ томъ смыслѣ, что онъ могъ, дѣйствительно, задумать типъ „нигилиста“ раньше Тургенева. Но кто же былъ виноватъ въ томъ, что онъ, какъ истый Кунктаторъ, писалъ свой романъ болѣе десятка лѣтъ?

„Я говорю: „писать“. Это невѣрно. Обдумывалъ, дожидаясь расположенія къ работѣ, досуга—да, но писалъ очень быстро.

„Одно изъ первыхъ авторскихъ сообщеній намъ былъ рассказъ самого И. А. о томъ, какъ онъ на водахъ, а потомъ, если не ошибаюсь, въ Парижѣ такъ быстро писалъ „Обрывъ“, что у него затекала рука, и онъ сидѣлъ часами за письменнымъ столомъ, напisyвая до печатнаго листа въ сутки и болѣе.

„Гончарову было въ 1870 г. пятьдесятъ восемь лѣтъ; такъ какъ онъ родился въ 1812 г. и былъ на цѣлыхъ два года старше Лермонтова.

„Его внѣшность я нашелъ совершенно такую, какъ на его тогдашнихъ портретахъ; еще свѣжій баринъ (хотя и былъ купческаго рода), полный, но не тучный, съ тѣми чертами и выраженіемъ лица, какъ онъ самъ описалъ себя въ своемъ романѣ. Тонъ его сразу нравился, и тонъ, и самый языкъ, сочный, съ обильной и мѣткой фразой, съ привлекательной объективностью и тонкостью всѣхъ замѣчаній и характеристикъ. Одѣвался онъ безъ франтовства, но очень старательно, какъ истый житель Петербурга.

„Его можно было легко принять, особенно заграницей—и за крупнаго петербургскаго чиновника, чи-

новника, директора департамента или за кого-нибудь въ такомъ родѣ.

„Ив. Алекс. очень любилъ тогдашній Берлинъ и находилъ, что такого городского парка для прогулки, какъ „Тиргартенъ“, нѣтъ ни въ одной столицѣ. Онъ ходилъ туда неизмѣнно каждый день, въ послѣобѣденные нѣмецкіе часы, т. е. послѣ двухъ.

„И вотъ тутъ я могъ самъ убѣдиться въ вѣрности наблюденій графа Соллогуба насчетъ преобладающей черты его характера: постоянной заботы о томъ, чтобы себя не выдать, избѣжать всякой неловкости, уклониться отъ каждаго сколько-нибудь рискованнаго поступка, даже и въ совершенныхъ пустякахъ.

„Банда“ всюду его сопровождала. И чуть не каждый день кто-нибудь изъ ея членовъ, начиная съ Вл. Бакста, игравшаго въ ней роль „старосты“, скажетъ Гончарову:

— Иванъ Александровичъ! Когда-же вы пожелаете къ намъ, въ Hôtel de Rome, за табльдотъ? Вѣдь, это лучший обѣдъ Берлина, и стоитъ, по абонементу, всего пятнадцать зильбергрошей. Самъ Мольтке обѣдаетъ у насъ! Въ нашемъ „Britisch Hôtel’ъ“—дороже и гораздо хуже! А вы не можете освободить себя отъ этого плѣненія!

— Вы правы, друзья мои, — неизмѣнно отвѣтитъ И. А.—Обѣдъ у меня совсѣмъ не важный. Но войдите въ мое положеніе. Я тамъ останавливаюсь столько лѣтъ. И вдругъ хозяинъ стоитъ на крыльцѣ и видитъ, какъ я, въ обѣденные часы, ушелъ въ другую гостиницу. Простите! Я не могу! Не могу!

„Мина его лица дѣлалась жалостной. И мы всѣ чувствовали, что онъ, дѣйствительно, не можетъ посмѣть измѣнить хозяину Бритишь-отеля“...

Романы Гончарова многое доскажутъ изъ того, что можетъ быть названо исторіей образованія личности, выработки характера и міросозерцанія. Безъ этого драгоценнаго матеріала самыя яркія воспоминанія, именно

по отношенію къ Гончарову, были бы всегда слишкомъ недостаточны и характеризовали бы только внѣшнія черты его натуры.

#### XIV.

„Обыкновенная исторія“. — Автобіографическія черты. — Адуевы: племянникъ и дядя въ отношеніяхъ къ Гончарову. — Черта дѣловитой практичности, отразившаяся въ романѣ.

„Обыкновенная исторія“ была первымъ романомъ Гончарова по времени своего созданія; въ ней естественно искать и болѣе непосредственнаго отраженія автобіографическихъ чертъ самого автора.

Вчитываясь внимательно въ это произведеніе, нельзя не замѣтить, дѣйствительно, что все оно—скорѣе художественный мемуаръ, съ самонаблюденіемъ на первомъ планѣ, чѣмъ романъ, и менѣе всего какая бы то ни было „исторія“. Исторія предполагаетъ извѣстную послѣдовательность въ переходѣ героевъ изъ одного состоянія въ другое. Здѣсь же мы видимъ не то: въ цѣломъ рядѣ сценъ изображается борьба дяди съ племянникомъ, переходящая, наконецъ, въ примиреніе, въ полное совпаденіе въ одномъ типѣ. Дядя разочаровываетъ племянника въ его юношескихъ мечтахъ о любви и дружбѣ, осмѣиваетъ его творческіе опыты, его незрѣлый идеализмъ, излагаетъ передъ нимъ практическую философію жизни и—черезъ нѣсколько лѣтъ—убѣждается, что слова его не пропали даромъ, что племянникъ—живое воплощеніе дяди. И насколько много этихъ сценъ, дѣлающихъ чтеніе романа подчасъ утомительнымъ, настолько мало постепенности и равномѣрности въ изложеніи „исторіи“ въ узкомъ смыслѣ. Послѣдняя совершается за спиной читателя;

о ней въ короткихъ словахъ рассказываетъ самъ Гончаровъ. „Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Кто бы узналъ нашего провинціала..?“—такъ связываетъ Гончаровъ начало и продолженіе своего повѣствованія, но это — чисто внѣшняя связь. Провинціалъ измѣнился только по наружности—онъ возмужалъ, „черты лица созрѣли и образовали физіономію“, и хотя Гончаровъ и добавляетъ, что „физіономія обозначила характеръ“, однако внутренняя перемѣна еще не наступила. Александръ все тотъ же — вплоть до послѣдней главы, за которой слѣдуетъ знаменитый эпилогъ. Въ этой главѣ дана попытка раскрыть внутренній процессъ совершившихся въ Александрѣ перемѣнъ, — попытка, безъ которой совпаденіе дяди и племянника въ одномъ типѣ было необъяснимымъ и случайнымъ.

Поѣздка Александра Адуева, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ службы въ столицѣ, можетъ найти себѣ параллель въ послѣдней поѣздкѣ Гончарова на родину, черезъ четырнадцать лѣтъ по окончаніи университетскаго курса. Мать нашла Александра Адуева похудѣвшимъ, задумчивымъ; волосы значительно порѣдѣли. Камердинеръ его, Евсей, объяснялъ эту перемѣну „писаньемъ“, которому ежедневно предавался его баринъ; запомнилъ онъ еще слово „разочарованный“, подслушанное въ отзывѣ Петра Ивановича объ Александрѣ, но другихъ, болѣе глубокихъ мотивовъ перемѣны въ баринѣ не могъ указать.

Во время этого посѣщенія родного города Гончаровымъ, г. Потанинъ, авторъ уже цитировавшихся воспоминаній, впервые увидѣлъ „знаменитаго литератора“ и „отчаяннаго питерскаго франта“. Застѣнчивый гимназистъ съ трепетомъ ожидалъ встрѣчи съ нимъ, но, къ его счастью, въ гостиницѣ, куда его привели, „не было ничего страшнаго“... И г. Потанинъ набрасываетъ миленькую жанровую сценку изъ жизни.—„Иванъ Александровичъ бесѣдовалъ съ гувернанткой, Варварой



Лукинишной, и, должно быть, очень весело, потому что гувернантка хохотала чуть не до истерики. Передо мной предсталъ обыкновенный мужчина средняго роста, полный, блѣдный, съ бѣлыми руками, какъ фарфоръ; коротко стриженные волосы, голубовато-сѣрые глаза, какъ на портретѣ отца, но улыбка не отцовская, насмѣшливая. Одѣтъ онъ былъ безукоризненно: визитка, сѣрые брюки съ лампасами, прюнелевые ботинки съ лакированнымъ носкомъ, одноглазка на резиновомъ шнуркѣ и короткая цѣпь у часовъ, гдѣ мотались замысловатые брелоки того времени: ножичекъ, вилочка, окорокъ, бутылка и т. п. Петербургскіе франты того времени не носили длинныхъ цѣпей на шеѣ. Гончаровъ былъ подвиженъ, быстръ въ разговорѣ, поигрывалъ одноглазкой, цѣпочкой или разводилъ руками.

— Братъ, вотъ тотъ учитель, о которомъ я съ тобой говорила, господинъ Потанинъ.

— А, пріятно слышать!..—отозвался онъ небрежно и осмотрѣлъ меня съ головы до ногъ, впрочемъ подаль руку и пригласилъ:—присядьте, побесѣдуемъ.

„Я, какъ Акакій Акакіевичъ, присѣлъ на кончикъ стула. А литераторъ задумался, точно соображалъ, о чемъ ему побесѣдовать съ гимназистомъ. Онъ съ того и началъ:

— Такъ учительствуете, господинъ, какъ васъ по имени?

— Да, учу и учусь, Иванъ Александровичъ.

— Это похвально-съ.

„Въ это время за матерью вбѣжали два мои ученика.

— Ну, а какъ вотъ эти сорванцы, мои племяши, зовутъ васъ въ классъ: педагогъ или педагогъ?

— Не такъ и не этакъ, Иванъ Александровичъ. Они просто зовутъ меня „учитель“. А еслибъ вздумалось имъ, по незнанію, искалѣчить слово „педагогъ“, такъ моя обязанность, какъ учителя, поправить, и я, конечно, поправлю.

— Такъ-съ, резонно.

„Онъ взглянулъ на гувернантку, та улыбнулась, а я покраснѣлъ“...

Но вернемся къ „Обыкновенной исторіи“.

„Прошло два-три мѣсяца“... „Такъ прошло года полтора“... Въ Александрѣ Адуевѣ, на протяженіи нѣсколькихъ страницъ, происходитъ, подъ вліяніемъ уединеннаго размышленія, то, что на языкѣ Петровъ Иванычей называется отрезвленіемъ, сознаніемъ сдѣланныхъ ошибокъ и готовностью итти на компромиссъ. „И что я здѣсь дѣлаю? за что вяну?—спрашиваетъ себя Александръ Адуевъ, уже тяготясь деревенскимъ бездѣльемъ.—Зачѣмъ гаснутъ мои дарованья? Почему мнѣ не блистать тамъ своимъ трудомъ?.. Теперь я сталъ разсудительнѣе. Чѣмъ дядюшка лучше меня? Развѣ я не могу отыскать себѣ дороги? Ну, не удалось до сихъ поръ, не за свое брался—что-жъ, опомнился теперь: пора, пора!.. нельзя же погибнуть здѣсь! Тамъ тотъ и другой—всѣ вышли въ люди... А моя карьера, а фортуна?“

Въ этихъ словахъ выразилась вся „исторія“ волшебнo-быстраго превращенія племянника въ дядю; по отношенію къ ней весь романъ является не болѣе, какъ введеніемъ. Другими словами, Гончаровъ не столько заботился о томъ, *какъ* племянникъ переходилъ въ дядю, сколько говорилъ намъ: вотъ какимъ былъ Петръ Ивановичъ въ молодости, и вотъ какимъ онъ сталъ, когда сдѣлался старше, разсудительнѣе, благоразумнѣе. Читателямъ предоставлялось судить, что было лучше; на нихъ же возлагалась и отвѣтственность за то или другое толкованіе заглавія романа.

Симпатіи Гончарова лежали всецѣло на сторонѣ дяди, о чемъ мы замѣтили уже выше. Когда создавался романъ, авторъ и по годамъ и по міросозерцанію былъ весьма близокъ къ Петру Ивановичу. Хорошая половина жизни была уже отжита; раннія увлеченія и разочарованія, вмѣстѣ съ юношескимъ романтизмомъ, отошли

въ область невозвратнаго прошлаго. О нихъ можно было вспоминать—когда съ улыбкой, когда съ легкимъ вздохомъ сожалѣнія, потому что въ нихъ было очень много хорошаго, теплаго, искренняго, было много наивной сердечной поэзіи. „Ахъ! еслибы я могъ еще вѣрить въ это!—думаетъ Александръ, вспоминая бесѣды матери о Богѣ и Божьихъ ангелахъ. Младенческія вѣрованія утрачены, а что я узналъ новаго, вѣрнаго?.. ничего: я нашелъ сомнѣнія, толки, теоріи... И отъ истины еще дальше прежняго... Къ чему этотъ расколъ, это умничанье?.. Боже!.. Когда теплота вѣры не грѣетъ сердца, развѣ можно быть счастливымъ! Счастливы ли я?.. Гончарову не трудно было взять вѣрный тонъ человѣка, который рассказываетъ объ увлеченіяхъ и заблужденіяхъ своей собственной молодости, набрасывая на рассказъ легкую дымку ироніи, но подъ этой дымкой еще теплится любовь къ тому, чѣмъ украшалась молодость, чѣмъ она жила, во что вѣрила, и легкая грусть кое-гдѣ сквозила между строкъ, проникнутыхъ, на первый взглядъ, неподдѣльнымъ юморомъ.

Исключая эпилога, писатель нигдѣ не ставитъ Петра Ивановича въ комическое положеніе, подобное тому, въ какое ставитъ онъ на каждомъ шагѣ Александра. Писатель не допускаетъ и мысли, чтобы дядя хотя на минуту пересталъ быть резоннымъ и вѣрнымъ себѣ. Принципы его выработаны разъ навсегда, взгляды ясны, житейская философія цѣльна и законченна. Низведи его Гончаровъ съ пьедестала, и романъ его получилъ бы совершенно другой смыслъ, смыслъ, который—кто знаетъ?—можетъ быть болѣе соотвѣтствовалъ бы заглавію „обыкновенной исторіи“, чѣмъ теперь, когда послѣднее является нѣкоторой загадкой. Вѣдь если перемѣна, совершившаяся въ Александрѣ, естественна и необходима въ жизни, если Петръ Ивановичъ представляется Гончарову положительной величиной въ обществѣ, личностью въ нѣкоторомъ родѣ идеальной, то, съ точки зрѣнія автора,

обыкновенная исторія должна представляться исторіей прекрасной, достойной подражанія и сочувствія: въ такомъ случаѣ—побольше бы такихъ обыкновенныхъ исторій, и въ результатѣ окажется больше порядка въ общественной и домашней жизни, больше ясности въ сложныхъ человѣческихъ отношеніяхъ, наконецъ больше практической и государственной пользы.

Едва ли Гончаровъ задумывался надъ теоретическою постановкою вопроса о значеніи Петра Ивановича какъ общественнаго типа, и о томъ, въ какихъ отношеніяхъ находится этотъ типъ къ общему смыслу романа и, въ частности, къ его заглавію. Это и для насъ вопросъ второстепенный. Важно то, что Александръ Адуевъ и Петръ Ивановичъ тождественны въ своей сущности и писаны, несомнѣнно, съ одного лица, только въ разные періоды его жизни.

Тождественность эта прямо поразительна. Біографія Александра оказывается весьма схожею съ біографіей Петра Ивановича въ молодости. Дѣтство обоихъ проходитъ въ одинаковыхъ условіяхъ; они получаютъ одинаковое воспитаніе, учатся въ университетѣ и—каждый въ свое время—одинаково относятся къ наукѣ, искусству, литературѣ. Оба, опять-таки каждый въ свое время, влюбляются по нѣскольку разъ, сначала у себя на родинѣ, въ деревнѣ, гдѣ оба плачутъ надъ озеромъ, рвутъ желтые цвѣты, пишутъ въ одинаковыхъ выраженіяхъ влюбленные письма, потомъ въ столицѣ то очаровываются, то падаютъ съ небесъ, „бѣснуются, ревнуютъ“, наконецъ остываютъ, становятся благоразумными и стараются забыть „глупости“ молодыхъ лѣтъ. Въ итогѣ у обоихъ—крупный чинъ, орденъ на шеѣ, лысина, сѣдина на вискахъ и въ бакенбардахъ, хорошее состояніе, а главное—одинаковое отношеніе къ благамъ жизни, одно и то же міросозерцаніе, вкусы, привычки... даже боль въ поясницѣ и манера выражаться, и та, по духу ближайшей родственности, перешла отъ старшаго

къ младшему. Одна и та же личность—въ два разные момента. Въ стремленіи сопоставить эти моменты, сдѣлать изъ нихъ большую и малую посылку для вывода — „обыкновенная исторія“,— авторъ совершенно упустилъ изъ виду необходимость исторической перспективы при обрисовкѣ развитія каждаго изъ героевъ. Петръ Ивановичъ лѣтъ на пятнадцать, на двадцать старше Александра. Въ эти пятнадцать-двадцать лѣтъ русская жизнь—заключимъ ее въ промежутокъ двадцатыхъ сороковыхъ годовъ,—несмотря на всѣ преграды, все-же значительно ушла впередъ въ смыслѣ умственного и общественнаго самосознанія, въ смыслѣ отношенія къ кореннымъ явленіямъ своей современности. Эта сторона сама по себѣ совершенно не затронута въ романѣ, а между тѣмъ въ ней-то и слѣдовало искать раскрытія общественнаго значенія романа, какъ оно представлялось автору. Въ этомъ отношеніи Гончаровъ не далъ ни одного намека на смѣну поколѣній, на борьбу отживающихъ традицій съ новыми вѣяніями, на все то, что создаетъ неизбѣжную и вѣчную разницу между отцами и дѣтьми, разницу, необходимость которой столько же коренится въ законахъ природы, сколько въ условіяхъ историческаго развитія общества. То, что мелькаетъ, какъ новое вѣяніе въ Александрѣ, въ свое время промелькнуло въ Петрѣ Ивановичѣ и, какъ въ одномъ, такъ и другомъ случаѣ, оставило послѣ себя слѣдъ въ воспоминаніяхъ, которыхъ впослѣдствіи стыдились оба героя „Обыкновенной исторіи“. Словомъ, историческая точка зрѣнія была чужда Гончарову, когда онъ писалъ этотъ романъ: его занимала не послѣдовательность въ развитіи тѣхъ или иныхъ общественныхъ типовъ, какъ онъ наблюдалъ ихъ въ окружающей жизни, а собственные воспоминанія, попытка разобратъ въ томъ, чѣмъ онъ былъ пятнадцать-двадцать лѣтъ назадъ и чѣмъ сталъ, успокоившись отъ напрасныхъ стремленій и безплоднаго романтизма юношескихъ порывовъ.

Въ этомъ смыслѣ „Обыкновенную исторію“ можно назвать не романомъ, а художественной автобіографіей. Въ ней разсказана выработка формально-дѣловой, житейски-практической стороны міросозерцанія Гончарова, тотъ внѣшній укладъ его, которымъ онъ былъ обращенъ, какъ чиновникъ, къ государству и въ частности къ людямъ, съ которыми онъ сталкивался въ повседневной жизни.

Эта сторона дѣловитой практичности, возведенной въ своего рода искусство, затронута и въ другихъ романахъ. Въ „Обрывѣ“ мы видѣли ее въ лицѣ Аянова. Въ „Обломовѣ“ ее олицетворяетъ заводчикъ Штольцъ, весьма напоминающій „тайнаго совѣтника и заводчика“ Петра Адуева, и столь же любезный сердцу Гончарова, скрасившаго, такъ или иначе, свое купеческое происхождение чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. И тотъ фактъ, что генералы обратились къ практической дѣятельности въ области промышленности и торговли, игралъ въ глазахъ нашего писателя немало-важную роль; отъ этого, казалось, возвышалось самое званіе промышленника и купца, самое дѣло пріобрѣтало оттънокъ особой порядочности и благородства. Раньше, говорить онъ въ своей исповѣди, считалось чуть не униженіемъ отдаваться практическому дѣлу заводчика. „Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца—не было лестно“.

Еслибы Гончаровъ далъ себѣ трудъ провѣрить, сколько среди бюрократическихъ дѣльцовъ прошло на его глазахъ индивидуально-честныхъ Адуевыхъ и гуманныхъ Штольцевъ, онъ увидѣлъ бы, что таковыхъ было весьма немного. Не ими гордится русское общество, останавливаясь мыслью на недавнемъ прошломъ, о которомъ могъ говорить Гончаровъ: въ его настоящихъ, передовыхъ и чернорабочихъ дѣятеляхъ за этотъ періодъ было немного истыхъ бюрократовъ, въ духѣ Петра Ивановича, а бюрократовъ-заводчиковъ и того меньше.

Но Гончаровъ не дѣлалъ попытокъ провѣрять жизненность своихъ типовъ, въ томъ значеніи, какое онъ придавалъ имъ, на примѣрахъ дѣйствительной жизни. И это, конечно, говорится не въ укоръ ему, — мы далеки отъ мысли предъявлять подобныя требованія къ художникамъ, — но когда послѣдніе, не довольствуясь созданіемъ образа, начинаютъ морализировать по поводу его, — ихъ невольно хочется иной разъ перенести изъ мастерской, изъ мерцающихъ сумерекъ вдохновенія и гармоніи, въ обычную людскую толпу, съ шумомъ и гамомъ, заботами и смѣхомъ повседневной жизни, такъ, чтобы они на время забыли свою палитру и краски, смѣшались съ толпой и въ хаосѣ ея разнородныхъ стремленій утопили свои личные интересы, личные радости и скорби.

Жизнь Гончарова рано приняла ровное и слишкомъ ужъ обособленное теченіе, чтобы явленія общественнаго или массоваго характера могли захватить и увлечь его. Можетъ быть, это теченіе какъ нельзя болѣе подходило къ необходимѣйшимъ условіямъ его творческой дѣятельности, менѣе всего требовавшей толчковъ и побужденій извнѣ, изъ жизни, изъ самага горнила ея, гдѣ кипятъ страсти и бьется въ противорѣчіяхъ мысль, — но оно, это спокойствіе, дѣлало его мало отзывчивымъ на запросы окружающей среды, какъ только они выходили изъ круга идей извѣстнаго порядка, изъ рамокъ органически развившагося и ставшаго привычнымъ міросозерцанія.

Это характерное для Гончарова, привычное міросозерцаніе выражалось вполне опредѣленнымъ отношеніемъ къ служебнымъ обязанностямъ. Здѣсь Гончаровъ былъ человѣкомъ внѣшняго долга, добросовѣстнымъ работникомъ, однако никогда не доводившимъ своей исполнительности до настоящей, сознательной любви къ службѣ. Но едвали не съ большей полнотой выражалось это міросозерцаніе въ томъ укладѣ и порядкѣ,

который завелъ Гончаровъ у себя дома, куда уходилъ онъ и отъ назойливой суеты свѣтски-общественной жизни, и отъ „исполненія“ нужныхъ и ненужныхъ бумагъ.

## XV.

„Обломовъ“.—Двойственность въ изображеніи Ильи Ильича.—Автобіографическія черты.—Домашній укладъ, неподвижность, апатія.—Вялая обыденность жизни въ представленіи Гончарова.—Кругосвѣтное путешествіе, какъ средство скрасить дѣйствительность.

На сходство автора съ образомъ Ильи Ильича Обломова указывалось съ давнихъ поръ, еще при жизни Гончарова. Не высказываясь опредѣленно, по своему обыкновенію, онъ замѣчалъ, что, какъ это случалось со всѣми писателями, читатели старались его самого „подводить“ подъ того или другого героя, отыскивая его то тамъ, то сямъ, или угадывая тѣ или другія личности. „Чаще всего меня видятъ въ Обломовѣ, любезно упрекая за мою авторскую лѣнь и говоря, что я это лицо писалъ съ себя. Иногда же, напротивъ, затруднялись, куда меня дѣвать въ которомъ-нибудь романѣ, напримѣръ, въ дядю или племянника въ „Обыкновенной исторіи“.

Нѣсколько далѣе, характеризуя процессъ своей творческой работы въ прошломъ, когда онъ писалъ то, что казалось ему, носилось около него въ воздухѣ и было далеко отъ „выдумки“, онъ приводитъ любопытный примѣръ близости къ нему создававшихся образовъ. „Мнѣ, — говоритъ онъ, — прежде всего бросался въ глаза лѣтний образъ Обломова — въ себѣ и въ другихъ — и все ярче и ярче выступалъ передо мной. Конечно, я инстинктивно чувствовалъ, что въ эту фигуру вбира-



ются мало-по-малу элементарныя свойства русскаго чело-вѣка—и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образъ былъ вѣренъ характеру“.

Романъ „Обломовъ“ писался, тоже по обыкновенію Гончарова, очень долго—лѣтъ около десяти, съ перерывами для „Фрегата Паллады“, съ отвлеченіями въ сторону „Обрыва“, образы котораго уже начинали тревожить творческіе нервы писателя. Не говоря уже о томъ, что во второмъ романѣ обнаружилось значительно большее мастерство кисти художника и болѣе глубокая вдумчивость при построеніи романа и обрисовкѣ центральной фигуры, самое отношеніе Гончарова къ своему герою должно было измѣниться съ годами, и оно дѣйствительно измѣнилось.

Въ этомъ отношеніи намъ придется нѣсколько разойтись съ тѣмъ общераспространеннымъ мнѣніемъ, что Обломовъ ближе другихъ героев подходитъ къ самому Гончарову. Еслибы это было дѣйствительно такъ, Гончаровъ не относился бы къ нему съ такимъ неизмѣннымъ чувствомъ ироніи, какого, напримѣръ, у него вовсе нѣтъ, какъ только рѣчь заходитъ о Петрѣ Ивановичѣ Адуевѣ или Штольцѣ. Въ этой ироніи нѣтъ злости, нѣтъ и оттѣнка желчи и раздраженія, порождающаго сарказмъ. Напротивъ, добродушное, даже любовное отношеніе придаетъ ей особую задумчивость и прелесть. Такъ пожилой и ласковый по натурѣ чело-вѣкъ снисходительно улыбается слабостямъ своего младшаго пріятеля, слабостямъ, которыя далеко не чужды и ему самому. И эта улыбка такъ искренна, такъ непосредственна на устахъ Гончарова, что читатель невольно поддается ея обаянію, и самъ начинаетъ улыбаться тою же снисходительною и доброй улыбкой.

Мы видѣли уже не разъ—въ рассказѣ объ Обломовѣ не мало автобіографическихъ штриховъ. Ихъ не трудно подмѣтить въ исторіи дѣтства Обломова, въ отдѣльных частностяхъ, несомнѣнно и въ обрисовкѣ

характера, съ слабостью волевого элемента на первомъ планѣ и съ сильно развитымъ сознаніемъ, внѣшнимъ и внутреннимъ, доводящимъ иногда процессъ самоанализа до глубокаго и истиннаго страданія. Но отъ Обломова до Гончарова—разстояніе гораздо большее, чѣмъ отъ Адуевыхъ, племянника и дяди. Кстати сказать, Илья Ильичъ первой половины романа отличается, на нашъ взглядъ, отъ Ильи Ильича второй половины. Это два типа равно свойственные русской жизни, близко родственные, но не вполне одинаковые. Первый—съ несомнѣннымъ трагическимъ началомъ сознанія своего безсилія—такъ и умираетъ, не сдѣлавъ ничего полезнаго и высокаго въ жизни, къ чему стремился такъ пламенно, но—увы!—платонически; его тревога не утихаетъ съ годами,—она можетъ перейти въ тихую жалобу, въ покаяніе Рудина, но ни на минуту не станетъ пошлой и плоской. Сильное возбужденіе, страсть, негодованіе могутъ воспламенить ихъ пожаромъ, правда, на одно мгновеніе, но въ это мгновеніе они могутъ явиться героями, способными пожертвовать собой, во имя идеи или за улыбку красавицы, смотря по моменту. Вторая категорія Обломовыхъ—иного свойства. Если у нихъ и было какое-либо міросозерцаніе, въ смыслѣ извѣстныхъ „умственныхъ“ идей и нравственныхъ требованій, то это міросозерцаніе уснуло у нихъ раньше, чѣмъ глаза успѣли заплыть жиромъ отъ вѣчнаго спанья и въ груди появилась одышка отъ неподвижной жизни. Проза будничной домашней жизни, низменность желаній, не выходящихъ изъ круга инстинктовъ пищеваренія и элементарнаго животнаго довольства—вотъ атмосфера, изъ которой никогда не вытащатъ ихъ на свѣтъ Божій никакіе Штольцы и Ольги Ильинскія. Пошляки Маниловы—ихъ ближайшіе родственники, если они одарены благожелательно-настроенной душой, но никакъ не „коптители неба“ Тентетниковы, всю жизнь собирающіеся заняться большимъ сочиненіемъ о Россіи, словно Обло-

мовъ, въ первой части романа, со своимъ грандіознымъ планомъ переустройства Обломовки.

Кромѣ наклонности къ неподвижности и лѣни, общей вялости, мы не видимъ у Обломова крупныхъ чертъ, роднящихъ этотъ образъ съ самимъ Гончаровымъ. На присутствіе этихъ чертъ въ характерѣ нашего писателя указываютъ его же собственныя слова—тамъ, гдѣ онъ довольно недвусмысленно рисуеъ свою собственную наружность. Въ дѣтствѣ онъ—здоровый, краснощекій мальчикъ „съ мечтательными глазами“, какъ Ильяша Обломовъ; студентомъ цвѣтущій, жизнерадостный юноша; ко времени трезвости и благоразумія онъ, какъ двѣ капли воды, напоминаетъ остепенившагося Александра Адуева, съ брюшкомъ и плѣшью, съ начинающейся сѣдиной въ вискахъ и бакенбардахъ. Пройдетъ еще нѣсколько лѣтъ, и Гончаровъ, кончая „Обломова“, будетъ опредѣлять себя такъ: „литераторъ, полный, съ апатическимъ лицомъ, задумчивыми, какъ будто сонными глазами“. Этотъ отзывъ напомнитъ собою „пожилого беллетриста Скудельникова“ (въ „Литературномъ вечерѣ“), который — „какъ сѣлъ, такъ и не пошевелился въ креслѣ, какъ будто приросъ или заснулъ. Изрѣдка онъ поднималъ апатичные глаза на автора (читавшаго свой романъ) и опять опускалъ ихъ. Онъ, повидимому, былъ равнодушенъ и къ этому чтенію, и къ литературѣ—вообще ко всему вокругъ себя. Григорій Петровичъ (Урановъ, хозяинъ) вытащилъ его изъ его гнѣзда, общалъ хорошій романъ, хорошее общество, хорошихъ, даже прекрасныхъ, дамъ и хорошій ужинъ. Онъ и пріѣхалъ“.

Послѣднія слова чрезвычайно важны, пожалуй важнѣе самого портрета. Въ нихъ выразились основныя привычки и вкусы „пожилого беллетриста“. Онъ не прочь бывать въ обществѣ, но предпочитаетъ покой и тишину своего „гнѣзда“. Общество онъ посѣщаетъ только избранное, гдѣ онъ встрѣтитъ, какъ художникъ,

красоту и грацію аристократическаго женскаго лица, услышитъ остроумную бесѣду и веселый смѣхъ; какъ гастрономъ и бывшій обломовецъ, онъ оцѣнитъ по достоинству тонкій ужинъ и хорошее вино. Но вообще говоря—къ людямъ его не особенно тянетъ. И переживая въ томъ кругу, гдѣ онъ бывалъ, привычныя и милыя сердцу ощущенія, онъ самъ не вносилъ въ общество ни веселья, ни даже оживленія, хотя ни въ умѣ, ни въ остроуміи ему отказать было нельзя. Онъ, какъ художникъ, накапливалъ впечатлѣнія, но расточалъ ихъ въ разговорѣ неохотно и скупо.

Въ общемъ представленіи жизнь казалась Гончарову вялою и скучною. Уѣзжая изъ усадьбы, Райскій собирается написать романъ—картину вялаго сна, вялой жизни. Изображеніе зѣвоты и мечтательной задумчивости встрѣчается у него также часто, какъ изображеніе ѣды и сна.

Часы ѣды и сна являются священными для Гончарова при всѣхъ положеніяхъ, въ которыя онъ ставитъ своихъ героевъ. Даже болѣе: отношеніемъ къ этимъ благамъ жизни характеризуются у нихъ душевныя состоянія, причемъ Гончаровъ нигдѣ не упускаетъ случая отмѣтить значеніе тонкаго обѣда или ужина, присутствіе или отсутствіе аппетита у того или другого героя, благотѣльное вліяніе сна или безсонницы. Райскій волнуется по поводу Вѣры, раздумывая, отъ кого она получила другое, загадочное, письмо, и волненіе это выражается у него въ томъ, что онъ „машинально обѣдалъ“; страницей ниже Гончаровъ отмѣчаетъ по тому же поводу, что Райскій—„ночью не спалъ, мало ѣлъ и даже похудѣлъ немного“. Волненіе рѣдко впрочемъ отзывается у Райскаго безсонницей; обыкновенно сонъ не покидаетъ его, въ качествѣ „друга“, въ самыя тяжелыя минуты, навѣщаетъ и днемъ послѣ обѣда, и Райскій спитъ долго и крѣпко. Вернувшись на разсвѣтъ домой послѣ страшной драмы, разыгравшейся

въ обрывѣ, Райскій до того былъ измученъ, что самъ, не узналъ себя въ зеркалѣ. „Ему было не легче Вѣры“, и онъ навѣрно заболѣлъ бы, еслибы его не выручилъ спасительный сонъ. Райскій отдался ему, какъ „здравому другу, поручая себя его попеченіямъ. И сонъ исполнилъ эту обязанность“...—„Ему снилось все другое, противоположное“... — „... Приснилось ему, что онъ сидитъ съ пріятелями у Сентъ-Жоржа и съ аппетитомъ ѣсть и пьеть, рассказываетъ и слушаетъ пошлый вздоръ, обыкновенно рассказываемый на холостыхъ обѣдахъ, что ему отъ этого стало тяжело и скучно, и *во снѣ даже стать захотѣлось*. И онъ спалъ здоровымъ, прозаическимъ сномъ“... Вѣра, душу которой „раздираетъ“ страсть къ Марку, неизмѣнно появляется передъ читателями въ часы ѣды и чая. „Она, поздоровавшись съ бабушкой, попросила кофе, съ аппетитомъ съѣла нѣсколько сухарей“...—„...Прошло два дня. По утрамъ Райскій не видалъ почти Вѣру наединѣ. Она приходила обѣдать, пила вечеромъ вмѣстѣ со всѣми чай, говорила объ обыкновенныхъ предметахъ, иногда только казалась утомленной“. Но какія бы драмы ни разыгрывались въ душѣ героевъ, какія бы страсти ни волновали ихъ, обычный порядокъ не нарушался, — „въ домѣ у Татьяны Марковны все шло своимъ порядкомъ, отужинали и сидѣли въ залѣ, позѣвывая“... Негодующее или разгнѣванное сердце бабушки успокаивается сразу, какъ только виновные выражали желаніе позавтракать или пообѣдать; въ такихъ случаяхъ она готова была примириться даже съ безобразникомъ Маркомъ. Эта бытовая черта проходить по всѣмъ романамъ. Влюбленный Александръ Адуевъ приходитъ къ дядѣ сообщить ему о своемъ намѣреніи вызвать на дуэль соперника графа Новинскаго, у него „дѣло идетъ о жизни и смерти“, а Петръ Ивановичъ предлагаетъ ему поужинать,—„ужинъ не портитъ дѣла“—и ужинаетъ, на протяжении нѣсколькихъ страницъ, пока Александръ, ко-

торый „не ужиналъ двое суток“, рассказывалъ ему обстоятельства своего трагическаго положенія.

Остановимся еще на одной чертѣ — апатіи, неизмѣнно присутствующей, какъ только Гончаровъ начинаетъ говорить о самомъ себѣ. По отношенію къ человѣку, неустанно работавшему въ тиши кабинета надъ созданіемъ ряда произведеній, техника которыхъ, по его собственнымъ словамъ, стоила ему большого труда, это слово должно имѣть особый, условный смыслъ. Это менѣе всего — внутреннее разочарованіе въ томъ, во что вѣрилось въ юности, въ идеалахъ, надеждахъ, наконецъ, любви и дружбѣ. Наоборотъ, мощью здороваго идеализма звучать послѣднія произведенія Гончарова; ласковый юморъ ихъ достигаетъ мѣстами удивительной свѣжести, изящества и даже глубины. Это и не безсиліе человѣка, который вышелъ на борьбу, и увидѣлъ, что руки у него были связаны. Борьба не была въ натурѣ Гончарова, и менѣе всего онъ подходилъ бы подъ понятіе борца во имя чего бы то ни было. Правильнѣе всего признать, кажется, что Гончаровская апатія, если не принимать въ расчетъ нѣкоторой доли скептицизма, свойственнаго всѣмъ пожилымъ людямъ, видѣвшимъ свѣтъ, сводилась преимущественно къ внѣшнимъ проявленіямъ, къ внѣшнему виду или, вѣрнѣе, къ тому впечатлѣнію, которое производилъ Гончаровъ на людей своей неподвижной, по виду вялой, по разговору — равнодушной фигурой. Въ головѣ и въ сердцѣ творилась невидимая глазу сложная работа, изъ которой слагалось творчество образовъ и картинъ; на эту работу и уходила значительная доля энергіи и органической самостоятельности художника.

Будь Гончаровъ только Обломовымъ, въ немъ и не пошевелилось бы желаніе промѣнять свое насиженное „гнѣздо“ на каюту готоваго ко всякаго рода случайностямъ, безпокойствамъ и опасностямъ „Фрегата Паллады“. Но въ немъ жило какое-то особое на-

чало, которое разжигало и мучило его. Слишкомъ сѣрая дѣйствительность давила его своей однотонностью, какъ онъ ни скрашивалъ ее цвѣтами фантазіи и поэзіи. „Дни мелькали—такъ характеризуетъ онъ свою жизнь въ первой главѣ „Фрегата Паллады“,—жизнь грозила пустотой, сумерками, вѣчными буднями: дни, хотя порознь разнообразны, сливались въ одну утомительно-однообразную массу годовъ. Зѣвота за дѣломъ, за книгой, зѣвота въ спектаклѣ, и та же зѣвота въ шумномъ собраніи и въ пріятельской бесѣдѣ!“

Зѣвота и апатія — неотъемлемые признаки Гончарова; безъ нихъ онъ и представить самого себя не можетъ. „Между моряками, *тѣлая апатически*, лѣнливо смотреть въ безбрежную даль“ океана литераторъ, помышляя о томъ, хороши ли гостинницы въ Бразиліи, есть ли прачки на Сандвичевыхъ островахъ, на чемъ ѣздить въ Австраліи?“ Но этого апатическаго литератора манитъ поэзія путешествія, просторъ и „рядъ неисчерпанныхъ наслажденій“ — и онъ объѣдетъ весь міръ, хотя бы для того, чтобы сказать потомъ, что въ немъ нѣтъ ничего чудеснаго, что и вдали, какъ и вблизи — „все подходитъ подъ какой-то прозаическій уровень“. Но самое путешествіе является для него праздникомъ, радостнымъ воплощеніемъ съ дѣтства лелѣянной мечты.

Ничего подобнаго нѣтъ въ Обломовѣ, не только второй, но и первой половины романа. Илью тянетъ вдали только тогда, когда его соблазняетъ своими рассказами Штольцъ, и то лишь пока тотъ не ушелъ изъ комнаты. Но едва Штольцъ оставляетъ Обломова одного, въ немъ начинаются колебанія, сомнѣнія, ему жаль разстаться съ диваномъ и халатомъ, и всѣ планы падаютъ, какъ карточный домикъ, отъ самой ничтожной причины: ячмень вскочить или губа раздуется накануне ѣзды. „Нельзя же съ такою губой въ море!“—скажетъ Илья Ильичъ и махнетъ рукой.

Гончаровъ любитъ комфортъ; Обломовъ къ нему совершенно равнодушенъ. Гончаровъ задаетъ вопросы о сандвичевскихъ прачкахъ; у Обломова по нѣскольку дней не подметается квартира. Гончаровъ весь на сторонѣ порядка — и дома, и въ обществѣ, и въ государствѣ; Обломовъ заговариваетъ о порядкѣ исключительно съ цѣлью донять Захара „жалкими словами“. Его порядокъ чересчуръ опредѣляется временемъ завтрака, обѣда, ужина, сна... Гончаровъ безконечно цѣлостнѣе и шире и по отношенію къ нему Обломовъ — только часть, близкая, кровная, но не важнѣйшая...

---

## XVI.

Юношескія увлеченія въ романахъ. — Любовь къ музыкѣ и пѣнію. — Автобіографическія черты. — „Неумѣстное и смѣшное отступленіе.“ — „Норма любви“.

Объ одной полосѣ жизни Гончаровъ ни слова не говоритъ въ воспоминаніяхъ. Полоса эта — юношескія увлеченія, грезы, муки и радости застѣнчивой первой любви. Рискованно высказывать какія-либо предположенія по отношенію къ самому Гончарову, но у героевъ его нельзя не отмѣтить нѣсколькихъ чертъ, указывающихъ на то, что эта полоса пережита ими приблизительно одинаково. Пусть Петръ Ивановичъ Адуевъ смѣется надъ стихами и желтенькими цвѣтами Александра, — въ молодости онъ самъ писалъ стихи и вздыхалъ, глядя на луну. „Я докажу, — уличаетъ его Александръ, — что не я одинъ любилъ, бѣсновался, ревновалъ, плакалъ... позвольте, позвольте, у меня имѣется письменный документъ“...

Бѣснуется отъ любви и ревности не одинъ Александръ Адуевъ, выполняющій до мелочей біографи-



ческую программу своего дядюшки; таковъ же и Борисъ Райскій, готовый влюбиться то въ Марѣиньку, то въ Вѣрочку, то въ обѣихъ племянницъ разомъ. Обломову въ его за-тридцать лѣтъ не пристало, сообразно съ отведенной ему ролью, бѣсноваться и плакать, однако и онъ, полюбивъ Ольгу, „встаетъ въ семь часовъ, читаетъ, носитъ куда-то книги. На лицѣ ни сна, ни усталости, ни скуки“... Сброшенъ халатъ, хотя и не надолго. А для Обломова этого было не мало...

Ни Обломовъ, ни его сородичи не принадлежали къ тѣмъ натурамъ, что принято называть пламенными, огненно-страстными, для которыхъ любовь къ женщинѣ являлась роковымъ интересомъ, способнымъ подчинить всю душу человѣка. Чувство ихъ неглубоко, недолговѣчно и себялюбиво; требуя жертвы отъ любимаго человѣка, само оно неспособно на самопожертвованіе, на добровольное страданіе во имя любви. Александръ Адуевъ съ легкостью мотылька переходитъ отъ одной привязанности къ другой. Обломовъ, послѣ разрыва съ Ольгой, безропотно отдается вдовѣ Пшеницыной и находить въ ней осуществленіе своего идеала—„неизмѣнную фізіономію покоя, вѣчное и ровное теченіе чувства“: „вѣдь это—*норма* любви“. Человѣкъ, вносящій въ мечты о взаимной любви соображенія о *нормѣ* этого чувства, всего менѣе подходитъ къ типу людей, способныхъ беззавѣтно увлечься не только любовной, но и всякой другой страстью. Своего рода нормой любви кончаетъ и Александръ Адуевъ.

Райскій всегда влюбленъ—и никого въ сущности не любитъ. Его влюбленность—чувство тонкаго артиста-эстета, столько же ищущаго красоты въ жизни, сколько настраивающаго себя на восторженно-артистическій ладъ. Чувство беретъ въ немъ рѣшительный перевѣсъ надъ работой мысли. Ему особенно близки и свойственны тѣ состоянія духа, при которыхъ мысль погружается въ сладостную нѣгу, дробится мириадами

грезъ, тонеть въ плѣнительныхъ ощущеніяхъ красоты и поэзіи, въ легкой дымкѣ мечтательной грусти и неясныхъ предчувствіяхъ блаженства, еще неизвѣднаго и влекущаго „мерцаніемъ тайны“. Композиторы-лирики старой школы—величайшіе чародѣи въ этой области; чувство сладостной и неопредѣленно-томной влюбленности прежде всего отзывается на ихъ звуки. И это чувство было свойственно всѣмъ героямъ Гончарова.

Всѣ они любятъ музыку и пѣніе; у Александра Адуева и Обломова любовь готова вспыхнуть при первыхъ звукахъ родственной ихъ душѣ музыки. Тогда они преобразуются, становятся истинными поэтами, рѣчь ихъ блещетъ вдохновеніемъ восторга, яркостью и граціей образовъ. „Аголось, голось!—восклицаетъ Александръ:—что за мелодія, что за нѣга въ немъ! Но когда этотъ голось прозвучитъ признаніемъ... нѣтъ выше блаженства на землѣ! Дядюшка! какъ прекрасна жизнь! какъ я счастливъ!“

Обаяніе голоса Ольги Ильинской еще сильнѣе дѣйствовало на Обломова. „Отъ словъ, отъ звуковъ, отъ этого чистаго, сильнаго дѣвическаго голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. Въ одинъ и тотъ же моментъ хотѣлось умереть, не пробуждаться отъ звуковъ, и сейчасъ же опять сердце жаждало жизни... Обломовъ вспыхивалъ, изнемогалъ, съ трудомъ сдерживалъ слезы“...

Еще одинъ такой же вечеръ, еще „Casta diva“ — и Обломовъ влюбленъ. „У него на лицѣ сіяла заря пробужденнаго, со дна души возставшаго его счастья: наполненный слезами взглядъ устремленъ былъ на нее“.

Въ эти мгновенья Обломовъ былъ способенъ на подвигъ, на трудъ, на самопожертвованіе и смерть.

Ольга замѣчаетъ слезы и внутренно „скромно торжествуетъ“, чувствуя силу своего обаянія. — „Какъ глубоко чувствуете вы музыку!—восклицаетъ она.—Нѣтъ, я чувствую... не музыку... а... любовь!—тихо ска-

залъ Обломовъ“. И взглянувъ въ его обезумѣвшіе отъ страсти глаза, Ольга понимаетъ, что это слово вырвалось у него само собой, и что оно—истина.

Райскій не менѣе Обломова воспріимчивъ къ музыкальнымъ ощущеніямъ. Въ школѣ онъ заслушивался одного изъ своихъ товарищей — Васюкова, когда тотъ игралъ на скрипкѣ. По лицу Васюкова „бродитъ нѣга, счастье“. Райскій слушаетъ и—„нервы покоятъ ему какіе-то гимны въ немъ плещется жизнь, какъ море, и мысли, чувства, какъ волны, переливаются, сталкиваются и несутся куда-то, бросаютъ кругомъ брызги, пѣну“. Ласки покойной матери вспоминаются ему, — „какъ, послѣ музыки, она всю дрожь наслажденія сосредоточивала въ горячемъ поцѣлуѣ ему“, какъ она водила его на Волгу, и они смотрѣли на гору, освѣщенную солнцемъ, на темную зелень, плывущія суда, облака, все, что видѣлъ Гончаровъ въ родномъ уголкѣ своего дѣтства. И когда игралъ Васюковъ, передъ Райскимъ „открывалось глубокое пространство, тамъ являлся движущійся міръ, какія-то волны, корабли, люди, лѣса, облака“, и Райскій видитъ тотъ же, сладостный сонъ, которому улыбается и Обломовъ, какъ только послушная мечта уноситъ его въ родныя мѣста съ невозвратнымъ прошлымъ.

Весьма возможно, что и Гончаровъ былъ похожъ на своихъ героевъ въ отношеніи юношескихъ увлеченій и грезъ. И онъ былъ очень юнъ въ ту пору, когда университетскіе годы подходили къ концу, былъ беззаботенъ, мечтателенъ и, можно допустить, наивенъ не меньше Александра Адуева.

...„Мнѣ такъ много, такъ много надо сказать вамъ... ахъ!“—говоритъ влюбленная Наденька Любецкая влюбленному Александру.

„— И мнѣ тоже...“

И ничего не сказали, или почти ничего, такъ кое-что, о чемъ уже говорили десять разъ прежде. Обыкновенно что: мечты, небо, звѣзды, симпатія, счастье. Разго-

воръ больше происходилъ на языкѣ взглядовъ, улыбокъ и междометій“...

Передавъ эту сцену, происходившую въ полусвѣтѣ весенней петербургской ночи, Гончаровъ отъ себя задаетъ нѣсколько вопросовъ читателю. „Какая тайна,—спрашиваетъ онъ,—пробѣгаетъ по цвѣтамъ, деревьямъ, по травѣ и вѣетъ неизъяснимой нѣгой на душу? зачѣмъ въ ней тогда рождаются инныя мысли, инныя чувства, нежели въ шумѣ, среди людей?“

Въ тонѣ этихъ вопросовъ звучатъ нотки живыхъ воспоминаній пережитого, и тихой поэзіи этихъ воспоминаній не въ силахъ отогнать обычная склонность къ рефлексіи, усмѣшка много пожившаго и обманутаго жизнью человѣка. „Какъ могущественно все настраивало умъ къ мечтамъ, сердце—къ тѣмъ рѣдкимъ ощущеніямъ, которыя во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, неумѣстными и смѣшными отступленіями... да! бесполезными, а между тѣмъ въ тѣ минуты душа только и постигаетъ смутно возможность счастья, котораго такъ усердно ищутъ въ другое время и не находятъ“.

Неумѣстныя и смѣшныя отступленія въ правильной и строгой жизни... подѣ этими словами охотно подписался бы Петръ Ивановичъ Адуевъ, и не одинъ онъ: ихъ могъ бы высказать и самъ Гончаровъ отъ себя. Онъ былъ человѣкомъ порядка прежде всего; правильная и строгая жизнь была для него идеаломъ. И тѣмъ не менѣе, эта жизнь не прошла безъ неумѣстныхъ и—въ однихъ случаяхъ смѣшныхъ, въ другихъ—грустныхъ отступленій. Одно изъ нихъ занесено на страницы „Обрыва“; оно отмѣчено всѣми чертами автобіографическаго происхожденія.

Въ романѣ отступленіе это приписано Борису Райскому. Размышляя о связи искусства съ жизнью, рассказываетъ авторъ, Райскій нашелъ тетрадь, озаглавленную „Наташа“. Въ ней сохранился „старый эпизодъ“

ранней юности, когда онъ любилъ и его любили. „Онъ записалъ его когда-то, подъ вліяніемъ чувства, которымъ жилъ, не зная тогда еще, зачѣмъ, — можетъ быть, съ сентиментальной цѣлью посвятить эти листки памяти своей тогдашней подруги, или оставить для себя замѣтку и воспоминаніе въ старости о молодой своей любви, а, можетъ быть, у него уже тогда бродила мысль о романѣ, о которомъ онъ говорилъ Аянову, и мелькалъ сюжетъ для трогательной повѣсти изъ собственной жизни“.

„Онъ послѣ говорилъ о себѣ въ третьемъ лицѣ, — рассказываетъ дальше Гончаровъ. — Думая въ послѣдствіи о своемъ романѣ, онъ предполагалъ выработать этотъ очеркъ и включить въ романъ, какъ эпизодъ“.

Положительно Гончаровъ вводитъ читателя здѣсь, и позже — въ авторской исповѣди — въ легкое заблужденіе, но только въ самое легкое; умыселъ его слишкомъ прозраченъ. Читатель не задумается ни на минуту отнести къ самому автору то, что онъ говоритъ о Борисѣ Райскомъ. Не Райскій, а самъ Гончаровъ говоритъ о себѣ въ третьемъ лицѣ въ этомъ очеркѣ, который и ввелъ въ свое произведеніе, въ видѣ эпизода, не вяжущагося съ общимъ ходомъ романа и ненужнаго для характеристики Райскаго. Предположеніе „выработать“ этотъ очеркъ такъ и осталось невыполненнымъ; рассказъ остался блѣднымъ и растянутымъ, какъ онъ и былъ записанъ въ черновой тетради.

Это — сентиментальная, наивная, старая, какъ свѣтъ, исторія несчастной любви легкомысленнаго студента къ простой и милой дѣвушкѣ. „Онъ уважалъ ея невинность, она цѣнила его сердце — оба протягивали руки къ брачному вѣнку — и оба... не устояли“. Она любила просто, онъ же мечталъ о страсти, столь же колоссальной, какъ страсть молодого Адуева, и кончилось тѣмъ, что онъ, какъ и надо было ожидать, охладѣлъ къ ней и не думалъ объ ея существованіи, проводя время въ толпѣ

„веселыхъ пріятелей, художниковъ, красавицъ“, она же зачахла отъ любви и—умерла.

Раскаянія не долго мучили Райскаго. Исторія несчастной любви отправилась въ папку съ набросками для будущаго романа, а самъ онъ съ легкимъ сердцемъ уѣхалъ къ себѣ въ деревню, гдѣ ждали его новыя любовныя „эпизоды“.

Въ „Обломовѣ“ находимъ дальнѣйшее, по внутренней послѣдовательности, развитіе мыслей на тему о женскомъ вопросѣ.

Во второй половинѣ романа, когда прежній Обломовъ окончательно опускается и пошлѣетъ, подъ влияніемъ кулинарныхъ талантовъ вдовы Пшеницыной, его роль по отношенію къ Ольгѣ Ильинской начинаетъ играть Штольцъ. Исторія любви послѣдняго въ высокой степени напоминаетъ романъ Обломова съ Ольгой. „Онъ не хотѣлъ бы порывистой страсти, какъ не хотѣлъ ея и Обломовъ, только по другимъ причинамъ. Но ему хотѣлось бы, однако, чтобы чувство потекло по ровной колѣѣ, вскипѣвъ сначала горячо у источника, чтобы черпнуть и упиться въ немъ, и потомъ всю жизнь знать, откуда бьетъ этотъ ключъ счастья“...

Обломовъ, рассказываетъ Гончаровъ, „среди тупой дремоты и среди вдохновенныхъ порывовъ, всегда мечталъ о женщинѣ, какъ женѣ и иногда — какъ любовницѣ“.

„Грезилась ему на губахъ ея улыбка, не страстная, глаза, не влажныя отъ желаній, а улыбка, симпатичная къ нему, къ мужу, и снисходительная ко всѣмъ другимъ; взглядъ, благосклонный только къ нему и стыдливый, даже строгій, къ другимъ“.

„Онъ никогда не хотѣлъ видѣть трепета въ ней, слышать горячѣй мечты, внезапныхъ слезъ, томленія, изнеможенія и потомъ бѣшенаго перехода къ радости. Не надо ни луны, ни грусти, она не должна внезапно

блѣднѣть, падать въ обморокъ, испытывать потрясающіе врывы...

— У такихъ женщинъ любовники есть, говорилъ онъ:—да и хлопотъ много:—доктора, воды и пропасть разныхъ причудъ. Уснуть нельзя покойно!

„А подлѣ гордо-стыдливой покойной подруги спитъ беззаботно человѣкъ. Онъ засыпаетъ съ увѣренностью, проснувшись, встрѣтитъ тотъ же кроткій, симпатичный взглядъ... И такъ до гробовой доски!“

И Гончаровъ, устами Обломова, спрашиваетъ, не составляетъ ли тайной цѣли любящихъ—„найти въ своемъ другѣ неизмѣнную фізіономію покоя, вѣчное и ровное теченіе чувства? Вѣдь это *норма любви*“...

И продолжаетъ, высказываясь уже гораздо больше отъ своего имени, чѣмъ отъ имени Обломова: „Давать страсти законный исходъ, указать порядокъ теченія, какъ рѣкѣ, для блага цѣлаго края, — это общечеловѣческая задача, это вершина прогресса, на которую лѣзутъ всѣ эти Жоржъ-Занды, да сбиваются въ сторону. За рѣшеніемъ ея вѣдь уже нѣтъ ни измѣнъ, ни охлажденій, а вѣчно-ровное біеніе покойно-счастливаго сердца, слѣдовательно вѣчно наполненная жизнь, вѣчный сокъ жизни, вѣчное нравственное здоровье“. Нѣсколько странная выходка противъ несимпатичныхъ Гончарову теченій въ современной ему европейской литературѣ всего менѣе идетъ къ Обломову и скорѣе должна быть отнесена къ числу непосредственно-субъективныхъ воззрѣній самого автора, какихъ у него вообще не мало разбросано въ романахъ.

„Страсть! все это хорошо въ стихахъ, да на сценѣ, гдѣ, въ плащахъ, съ ножами, расхаживаютъ актеры, а потомъ идутъ, и убитые, и убійцы, вмѣстѣ ужинать...“

„Хорошо, еслибъ и страсти такъ кончались, а то послѣ нихъ остаются: дымъ, смрадъ, а счастья нѣтъ! Воспоминанія — одинъ только стыдъ и рваніе волосъ.“

...„Да, страсть надо ограничить, задушить и утопить въ женитьбѣ“...

Это разсужденіе — въ высшей степени характерное для самого Гончарова. Во всемъ въ жизни должна быть своя мѣрка, своя норма; страсть труднѣе всего подвести подъ эту норму: она — „несчастіе“, и когда такое несчастіе постигаетъ человѣка, — „такъ это все равно, какъ случается попасть на избитую, гористую, несносную дорогу, по которой лошади падаютъ и сѣдокъ изнемогаетъ“. Страсть—несчастіе, потому что нарушаетъ покой жизни и равновѣсіе духа, выводитъ человѣка изъ того естественнаго, нормальнаго состоянія, въ которомъ внутренняя духовная дѣятельность происходитъ жизнерадостно, свободно, безъ толчковъ, отвлеченій и стѣсненій, получаемыхъ извнѣ.

---

## XVII.

Эгоизмъ, по опредѣленію Адуева-дяди. — Страсть и ея выраженія въ произведеніяхъ Гончарова. — Автобіографическія черты. — Отношеніе къ браку.

Въ кодексѣ нравственныхъ правилъ Петра Ивановича Адуева есть любопытное разсужденіе объ эгоизмѣ. По его опредѣленію, настаивать, напимѣръ, на томъ, чтобы человѣкъ, переставшій любить, оставался вѣренъ, являлось бы верхомъ эгоизма. „Требовать вѣрности отъ жены—тутъ есть еще смыслъ: тамъ заключено обязательство; отъ этого зависитъ часто существенное благосостояніе семейства; да и то нельзя требовать, чтобы она никого не любила... а можно только требовать, чтобы она... того...“ Эта холодная разсудительность, вполне понятная у человѣка, который могъ быть такъ увѣренъ въ своей женѣ, какъ Петръ Ивановичъ въ Ели-



заветъ Александровнѣ, подходитъ и къ общимъ взглядамъ Гончарова на страсть, стихійность которой ставитъ ее внѣ контроля разсудка и воли. Стихійность страсти явится для Гончарова, какъ увидимъ ниже, основнымъ смягчающимъ и даже оправдательнымъ мотивомъ при сужденіи о т. н. „паденіи“ и „грѣхѣ“.

Но страсть Гончаровъ понималъ не въ одномъ обыденномъ смыслѣ.

Выше, говоря о грезахъ Обломова, Гончаровъ, быть можетъ, случайно, мимоходомъ, сдѣлалъ одно замѣчаніе, на нашъ взглядъ чрезвычайно цѣнное. Женскій образъ грезился Ильѣ Ильичу „среди тупой дремоты и вдохновенныхъ порывовъ“. Тупая дремота—это та сѣрая дѣйствительность, — о ней онъ говорилъ, какъ мы видѣли, передъ поѣздкой въ кругосвѣтное плаваніе, — тѣ сумерки, тѣ вѣчные будни, отъ которыхъ единственное спасеніе—въ полетѣ мечты, въ мірѣ фантастическихъ грезъ. Область мечты и фантазіи и есть то заколдованное царство, куда направляется „вдохновенный порывъ“ художника, и а ргіогі можно сказать, что образы, взятые изъ этого міра, въ часы „тупой дремоты“ и въ моменты „вдохновеннаго порыва“, будутъ неизмѣримо различны.

Будутъ глубоко различны и понятія страсти, порожденные мечтами той и другой категоріи. Въ первомъ случаѣ, мечты окрасятся страстью, которая на практикѣ жизни приведетъ или къ „законному исходу“, въ домикъ вдовы Пшеницыной, или къ воспоминаніямъ стыда и раскаянья.

Этого рода страсть была знакома всѣмъ героямъ Гончарова, и тѣмъ въ большей степени, чѣмъ былъ мо-  
ложе ихъ авторъ. Иванъ Савичъ Поджабринъ—типическое воплощеніе этой страсти, по качеству однородной съ тѣми „колоссальными“ страстями, о которыхъ мечтали въ свое время и Александръ Адуевъ, и Обломовъ, и Райскій.

Но послѣднему знакома гораздо въ большей степени другая страсть—страсть „вдохновенныхъ порывовъ“, ведущихъ къ творческому „паѳосу“, къ радостямъ и скорбямъ творческой работы.

Роль этой страсти—совершенно иная. „Зачѣмъ гроза въ природѣ?.. спрашиваетъ Райскій у Вѣры.—Страсть—гроза жизни... О, еслибъ испытать эту сильную грозу!.. Нѣтъ, не къ раскаянію поведетъ васъ страсть: она очиститъ воздухъ, прогонитъ міазмы, предрасудки, и дастъ вамъ дохнуть настоящей жизнью... Вы не упадете, вы слишкомъ чисты, свѣтлы; порочны вы быть не можете. Страсть не исказитъ васъ, а только подниметъ высоко“...

Въ этихъ словахъ художникъ и влюбленный, а главное—влюбчивый человѣкъ, нераздѣльны. Такъ и должно было быть, по воззрѣнію Гончарова. „И что за матеріальная любовь?—возражаетъ у него Адуевъ-дядя племяннику: такой любви нѣтъ, или это не любовь такъ точно, какъ нѣтъ и одной идеальной...—мы не духи и не звѣри“.

Райскій поочередно влюбляется въ Марейиньку и Вѣру. Чувство его къ первой, конечно, гораздо элементарнѣе и проще. Но вотъ онъ видитъ Марейиньку рядомъ съ Викентьевымъ—и въ немъ это чувство еще молодого, здороваго и празднаго человѣка сразу уступаетъ восторгу художника передъ граціей и цѣльностью образа. „Онъ любовался уже ихъ любовью и радовался ихъ радостью, томясь жаждой превратить и то и другое въ образы и звуки. Въ немъ умеръ любовникъ, и ожилъ безкорыстный артистъ“.

Это возвышенное начало, придающее красоту и благородство самосознанію охваченнаго страстью человѣка, неизмѣнно присутствуетъ въ его отношеніяхъ къ Вѣрѣ—Здѣсь оно гораздо сложнѣе, глубже и тоньше, и вмѣстѣ съ тѣмъ гораздо мучительнѣе и тревожнѣе. „Вѣра не подозрѣвала его тайныхъ мукъ, замѣчаетъ по этому

поводу Гончаровъ,—не подозрѣвала, какою страстною любовью охваченъ былъ онъ къ ней—какъ къ женщинѣ челоуѣкъ и какъ къ идеалу художникъ“.

Къ страсти художника, проникнутаго порывомъ къ идеалу, намъ придется вернуться въ одной изъ слѣдующихъ главъ. Теперь намъ важно отмѣтить основной характеръ опредѣленія страсти и любви, въ высшей степени послѣдовательно проведенный въ романахъ и являющейся, такимъ образомъ, коренной чертой міросозерцанія ихъ автора. Съ одной стороны, страсть—состояніе близкое къ сумасшествію, стихійное явленіе, отъ котораго надо стараться избавляться возможно скорѣе, какъ отъ „несчастія“, постигающаго челоуѣка, съ другой—она необходима въ жизни, будничной и сѣрой, какъ „гроза въ природѣ“, которая очищаетъ атмосферу и прогоняетъ міазмы. Она бываетъ прекрасна, когда въ нее входитъ возвышенный элементъ художественнаго воспріятія, поднимающаго духъ челоуѣка надъ ея низменной и узко-эгоистической стороною. Вообще же, по выраженію Райскаго,—„всѣ непремѣнно чувствовали, кто разъ, кто больше—смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, живоотно—смотря по воспитанію, но всѣ испытали раздраженіе страсти въ жизни, судорогу, ея муки и боли, это самозабвеніе, эту другую жизнь среди жизни, эту хмельную игру силъ“...

Если челоуѣкъ умѣетъ, тѣмъ не менѣе, бороться съ нею, ограничивать и переживать ее такъ, чтобы не было повода раскаиваться впослѣдствіи, онъ испытаетъ высочайшее наслажденіе въ послѣдующіе моменты, когда буря утихнетъ и разсудокъ вступитъ въ свои права; тогда-то душа и отдастся истинному счастью—сладостному отдыху и покою. „На остывшіи слѣдъ этой огненной полосы,—проповѣдуетъ Райскій Вѣрѣ, *бурно, едва успѣвая говорить*,—этой молніи жизни ложится потомъ покой, улыбка отдыха отъ сладкой бури, благодарное воспоминаніе къ прошлому, тишина.

И эту-то тишину, этот слѣдъ любви люди и назвали святой, возвышенной любовью, когда страсть сгорѣла и потухла“. Охваченный самъ страстью, Райскій говорить „бурно“—о чемъ же?—о покоѣ, отдыхѣ отъ страсти, тишинѣ, говорить не разъ, не замѣчая неестественности подобныхъ рѣчей, на которыя не отваживался даже Обломовъ въ разговорахъ съ Ольгой Ильинской. Ясно субъективное участіе самого Гончарова въ этомъ поэтизированіи тишины и отдыха послѣ страсти. Такъ менѣе всего можетъ говорить человѣкъ въ минуту аффекта, съ ураганомъ въ мысляхъ и огнемъ въ душѣ,—и такъ вполне естественно можетъ говорить художникъ, подобный Гончарову, у котораго между лично пережитой страстью и творческимъ воспоминаніемъ о ней лежитъ промежутокъ десяти-двадцати лѣтъ.

Еще нагляднѣе раскрывается отношеніе Гончарова къ вопросу о бракѣ.

Въ самомъ раннемъ произведеніи Гончарова, „Иванъ Савичъ Поджабринъ“, произведеніи, отъ котораго впоследствии писатель съ удовольствіемъ отрекся бы, рассказана цѣлая исторія увлеченій Ивана Савича до любви „лаконической“ включительно. Тамъ есть, между прочимъ, такая сцена. Дворникъ явился поздравить Ивана Савича, ухаживавшаго въ это время за нѣкоей Прасковьей Михайловной, со „вступленіемъ въ законный бракъ“. Иванъ Савичъ пришелъ въ ужасъ.

— „Что-о?“

— Въ законный бракъ...

— Какъ съ кѣмъ? что ты? съ ума, что ли, сошелъ?

— Никакъ нѣтъ, батюшка! слышь, съ верхней нашей жиличкой, Прасковьей Михайловной...

— Какъ!

Иванъ Савичъ остолбенѣлъ..."

Исторія кончилась тѣмъ, что дворника вытолкали за дверь, а Иванъ Савичъ рѣшилъ съѣхать съ этой квартиры, къ немалому негодованію слуги Авдѣя,

ближайшаго родственника Обломовскаго Захара. Они помѣнялись ролями: тамъ Захаръ пристаётъ къ Обломову съ переѣздомъ на другую квартиру, а баринъ упрямится; здѣсь баринъ, который, по собственно-му выраженію, любить свободу, приказываетъ слугѣ найти новую квартиру и тѣмъ „постараться вывести барина изъ бѣды“. Разговоръ о квартирѣ „съ удобствомъ всякимъ, и сараемъ особымъ, и ледникомъ отъ хозяина“, могъ бы служить превосходнымъ вариантомъ бесѣды Ильи Ильича съ Захаромъ.

„Иванъ Савичъ Поджабринъ“, повторяемъ, — самое раннее произведеніе Гончарова. Но въ числѣ самыхъ позднихъ, писанныхъ спустя много-много лѣтъ, въ возрастѣ, когда люди получаютъ право называть остатки пережитого „домашнимъ архивомъ“, есть одинъ очеркъ — „Слуги“, въ которомъ писатель далъ художественную характеристику нѣсколькихъ типовъ слуги стараго времени. Вопросъ о слугахъ имѣлъ особое значеніе для Гончарова, домосѣда, любителя порядка и комфорта, — оттого и въ романахъ ихъ типы такъ жизненны и реальны. Но дѣло не въ томъ. Здѣсь мы находимъ сценку, которая наглядно иллюстрируетъ личное отношеніе Гончарова къ браку.

Въ квартиру Гончарова забрались однажды, много лѣтъ назадъ, воры и произвели погромъ. Слуга оказался мертвецки пьянымъ — мошенники опоили его. Разгромъ былъ полный: вмѣстѣ съ письмами, пакетами и бумагами были разсѣяны на полу большія тетради, числомъ до тридцати, „Обломова“, приготовленнаго со-всѣмъ для печати. Досада Гончарова была безпре-дѣльна. „У меня сердце сжалось тоской, — рассказы-ваетъ онъ. — Я чувствовалъ, что не живу подъ знаме-немъ охраны, благоустроенности, порядка. Я предо-ставленъ самому себѣ, я беззащитенъ. Будь я помо-ложе, я, можетъ быть, заплакалъ бы. Никого около меня — нѣтъ опоры, нѣтъ защиты!“

Сознаніе довольно любопытное. Тоска, одиночества не прорывалась, судя по произведеніямъ и воспоминаніямъ, не давала нигдѣ себя чувствовать, пока въ жизни царилъ покой и порядокъ. Нужно было произвести настоящій разгромъ квартиры, чтобы вызвать жалобу, и то не на одиночество вообще, не на то, что не съ кѣмъ дѣлить радостей и горестей жизни, а на то, что не на кого *опереться*, не у кого попросить *защиты*, когда злые посторонніе люди причиняютъ беспокойство и хлопоты.

„— Вотъ не женились—и наказаны! Вотъ вамъ прелесть холостой жизни! „Свобода и независимость!“ — говорила мнѣ потомъ одна пріятельница, Анна Петровна, страстная охотница устраивать свадьбы. — Была бы жена, волки-то и не забрались бы... Женитесь-ка—еще время не ушло! Я бы вамъ славную невѣсту сосватала!

— Еслибъ жеңился, можетъ быть, забрались бы другіе волки, злѣе этихъ!—меланхолически отвѣтилъ я“.

Гончаровъ, какъ извѣстно, такъ и не женился до конца дней своихъ, но если взглянуть въ ту роль, какую играетъ женщина въ его произведеніяхъ, можно безъ особеннаго грѣха вывести заключеніе, что въ душѣ его жило неизмѣнное стремленіе къ тому „ewig Weibliche“, которое въ жизни, можно думать, сказалось рядомъ горькихъ разочарованій, а въ поэзіи озарилось лучами дивной красоты и обаянія. Жизнерадостная, веселая и ясная Марейнька была ближе душѣ Гончарова, чѣмъ загадочная, пылливо-тревожная Вѣра, не желавшая „жить слѣпо, по указкѣ старшихъ“; но художника она привлекала этимъ „мерцаніемъ тайны“: этой гордой и вмѣстѣ съ тѣмъ благородной замкнуто-стью, за которой творится неустанная работа мысли и духа, этимъ сознаніемъ своего женственного достоинства и нравственной силы. Въ Вѣрѣ съ избыткомъ были всѣ данныя для того, чтобы отнести ее къ категоріи тѣхъ женщинъ, въ рукахъ которыхъ должно

оказаться, по выраженію Гончарова, „прямое рѣшеніе, такъ называемаго, женскаго вопроса“.

Это двойственное тяготѣніе—умѣреннаго Обломова и нервнаго художника въ Гончаровѣ—къ женскому образу нашло себѣ трогательное истолкованіе въ послѣдніе годы его жизни. Друзья поднесли ему въ 1882 г., по случаю тридцатипятилѣтія его литературной дѣятельности, кабинетные часы съ бронзовымъ бюстомъ молоденькой дѣвушки. То была Марейнька изъ „Обрыва“, по объясненію литераторовъ, и Гончаровъ былъ чрезвычайно доволенъ. По сдѣланному намъ сообщенію одного изъ близкихъ друзей писателя, онъ сознавался, что Марейнька „съ давнихъ поръ была его маленькой слабостью“.

Не забыта была, но, конечно безотчетно и безотнositельно и Вѣра. Отъ имени „русскихъ женщинъ“ 2 февраля 1883 г. былъ поднесенъ Гончарову адресъ и двѣ прекрасныя кабинетныя вазы. Несомнѣнно, къ этого типа женщинамъ должны были относиться слова его авторской исповѣди о томъ, что послѣднія „открыто идутъ въ открытыя имъ двери учебныхъ заведеній, обществъ, курсовъ, при общемъ участіи и уваженіи“. Эти слова были какъ бы искупленіемъ и отрицаніемъ своего же собственнаго неудачнаго и страннаго предположенія, въ минуту раздраженія вырвавшася у писателя, въ концѣ романа, какъ бы русскія дѣвушки, по примѣру Вѣры, не стали, прочитавъ романъ, бросаться очертя голову на дно „обрыва“. Рѣшеніе „такъ-называемаго женскаго вопроса“ открывало для себя выводы въ такихъ областяхъ, о какихъ не могъ и думать Гончаровъ въ прежніе годы.

Поэтому-то, говоря о взглядахъ Гончарова, необходимо держаться прежде всего исторической точки зрѣнія и не упускать изъ вида тѣхъ вліяній, которымъ они могли подвергаться.

## XVIII.

Вопросъ о вліяніи А. В. Никитенки на Гончарова.—Ихъ взаимныя отношенія.—Нѣсколько словъ о личности Никитенки. — Его общественныя взгляды.—Ихъ общая оцѣнка.

Прежде чѣмъ приступить къ характеристикѣ міросозерцанія Гончарова, какъ оно выразилось въ романахъ, нельзя не отмѣтить значительной общности взглядовъ у нашего художника и извѣстнаго А. В. Никитенки. Внимательное чтеніе соотвѣтствующихъ мѣстъ дневника наводитъ на мысль о возможности вліянія послѣдняго на отношеніе Гончарова къ нѣкоторымъ вопросамъ современной общественной жизни. Конечно, объ этомъ вліяніи слѣдуетъ говорить съ большою осторожностью, принимая въ соображеніе, что, ко времени дружбы съ Никитенкомъ, Гончаровъ былъ уже сравнительно пожилой человѣкъ. Однако слѣдуетъ замѣтить, что до появленія „Обрыва“ вопросы живой современности почти не находили себѣ мѣста въ романахъ Гончарова, а главное, если принять въ соображеніе солидарность во многихъ сужденіяхъ, сходство настроеній, наконецъ служебныя и личныя связи обоихъ дѣятелей, то вопросъ о близкой родственности ихъ взглядовъ не покажется столь невѣроятнымъ.

Дружественныя отношенія Гончарова съ Никитенкомъ развились и окрѣпли въ шестидесятые годы. Послѣдній высоко цѣнилъ талантъ Гончарова, который читалъ ему главы своего романа, по мѣрѣ того, какъ шла работа, и, можно думать, руководствовался его мнѣніемъ. „Вечеромъ Гончаровъ читалъ мнѣ новую, написанную имъ въ Дрезденѣ, главу своего романа, — отмѣчаетъ Никитенко подъ 16 сентября 1860 г.—Онъ передъ тѣмъ читалъ мнѣ кое-что изъ него. Мѣста, мнѣ прочитанныя, до сихъ поръ очень хороши. Главная черта его таланта — это искусная тушовка, умѣнье оттѣнять какъ



дую подробность, давать ей значеніе, соотвѣтственное характеру всей картины. Притомъ, у него особенная мягкость кисти, и языкъ легкій, гибкій. Въ новой, сегодня читанной главѣ, начинается развертываться характеръ Вѣры. На этотъ разъ я остался не безусловно доволенъ. Мнѣ показалось, что характеръ этотъ созданъ на воздухѣ, гдѣ-то въ другой атмосферѣ, и принесенъ на свѣтъ сюда къ намъ, а не выдвинутъ здѣсь изъ нашей же почвы, на которой мы живемъ и движемся. Между тѣмъ на него потрачено много изящнаго. Онъ блестящъ и ярокъ. Я тутъ же подѣлился съ авторомъ моимъ мнѣніемъ и сомнѣніемъ.“

Черезъ годъ съ небольшимъ Никитенко заноситъ въ дневникъ коротенькую замѣтку о томъ, что у него были Маркъ (Любошинскій) и Гончаровъ и вели — „тѣ же безконечные разговоры о современныхъ происшествіяхъ: впрочемъ, эти судили о нихъ, какъ зрѣлые люди, а не какъ студенты.“ Поговорить было о чемъ: дневникъ живо отражаетъ интересы и настроенія этой, единственной въ своемъ родѣ, эпохи съ общественнымъ возбужденіемъ, вызваннымъ отмѣною крѣпостного права, съ временнымъ оживленіемъ литературы, науки, съ призраками широкой общественной свободы...

Подъ тѣмъ же 17 октября, нѣсколькими строками выше сообщенія о „безконечныхъ разговорахъ“ на общественныя темы, въ которыхъ, высказывалъ свои зрѣлыя сужденія Гончаровъ, Никитенко помѣщаетъ слѣдующія строки, совершенно подходящія по своему характеру и содержанію къ полемикѣ Гончарова съ Маркомъ Волоховымъ: „...Вы (т. е. представители новыхъ крайнихъ ученій) говорите, что надо разрушать все старое, все, все чтобы потомъ создалось новое. Но развѣ это возможно? Старое въ человѣчествѣ: и наука, и искусство, и всякіе опыты, и открытія вѣковъ. Старое все то, откуда, изъ чего вытекаетъ все новое. Разрушить все старое—значить уничтожить исторію, образованіе, начать съ Ада-

ма и Евы, съ звѣриной шкуры, съ дубины дикаря, съ грубой физической силы... Въ общественномъ порядкѣ бываютъ перестройки, а не постройки сызнова всего такъ, какъ будто ничего не было прежде. А когда перестраиваютъ, то иное оставляютъ, другое исправляютъ, а до кое-чего даже вовсе не дотрогиваются, потому именно, чтобы не разрушить всего. Тутъ нужны разсудокъ, осмотрительность, а не безуміе и страсти, попыхи и скачка сломя голову... Говорить дурно о правительствѣ, обвинять его во всемъ сдѣлалось нынѣ модою. А я думаю, что еслибы правительство показало, что съ нимъ шутить нельзя — мода эта быстро прошла бы...”

Искренній и высоко-нравственный дѣятель, глубоко проникнутый идеями гражданскаго и государственнаго долга, Никитенко былъ и убѣжденнымъ поборникомъ русской науки и гуманитарнаго просвѣщенія. Трогательнымъ воодушевленіемъ дышать тѣ страницы его дневника, въ которыхъ онъ говоритъ, напримѣръ, объ освобожденіи крестьянъ, или объ успѣхахъ русской науки, о свѣтлыхъ явленіяхъ литературы; напротивъ, о стѣснительномъ положеніи литературы, о закрытіи журналовъ, о недостойномъ поведеніи нѣкоторыхъ дѣятелей онъ говоритъ съ негодованіемъ и скорбью. Біографія Никитенки, рассказанная имъ самимъ, очень поучительна: онъ происходилъ изъ крѣпостныхъ графа Шереметева и своимъ возвышеніемъ и благотворнымъ вліяніемъ на современниковъ былъ обязанъ исключительно своему уму и любви къ наукѣ. Его общественные взгляды образовались среди самыхъ разнообразныхъ положеній, людей и умственныхъ вѣяній. Въ немъ гармонично уживались просвѣщенный бюрократизмъ, на почвѣ стремленія къ идеаламъ государственной пользы и національнаго достоинства, съ занятіями наукой въ университетѣ и академіи, и любовь къ литературѣ съ многолѣтнимъ участіемъ въ дѣлахъ цензур-

наго комитета. Девизомъ его государственнаго служенія можно поставить его же собственныя слова: „я понимаю систему *сдерживанія*, но не допускаю системы *притѣсненія*“, а политическія убѣжденія могли бы быть кратко охарактеризованы его же выраженіями, помѣщенными имъ въ дневникъ (подъ 20 іюня 1868 г.) вслѣдъ за словами, которыя мы только-что привели, въ качествѣ девиза: „Массы должны быть призываемы къ содѣйствію, когда это надо,—читаемъ здѣсь, — но не къ постоянному участію въ управленіи. Къ этому онѣ и не способны, и имъ некогда. Необходимы выборные люди.“

Будучи въ дружественныхъ отношеніяхъ ко многимъ изъ членовъ редакціи „Современника“, принимая участіе въ общихъ литературныхъ собраніяхъ и дѣлахъ вмѣстѣ съ Некрасовымъ, Панаевымъ, Тургеневымъ, не говоря уже о Гончаровѣ, Никитенко не сходилъ, однако, во взглядахъ съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ. Послѣдніе олицетворяли собой, въ глазахъ Александра Васильевича, опасныхъ носителей гончаровской „новой правды“, съ матеріализмомъ и отрицаніемъ авторитетовъ, небесныхъ и земныхъ, въ основѣ; изъ-за ихъ образовъ надвигались на религіознаго и, кажется, мнительнаго Никитенку грозные признаки Фейербаха, Молешотта, Бюхнера... Не давая себѣ труда различить научныя и философскія основы матеріалистическаго ученія отъ публицистическихъ стремленій названныхъ писателей, Никитенко равно вооружался противъ нихъ, смѣшивая въ одномъ безформенномъ представленіи и публицистовъ „Современника“, и П. Л. Лаврова, и матеріалистическую философію, и студенческія волненія, и государственныя преступленія. Въ его дневникѣ находимъ цѣлый рядъ полемическихъ вылазокъ, свидѣтельствующихъ о крайне элементарномъ пониманіи сущности матеріализма, переводимой на обыкновенный житейскій языкъ. Мы остановимся лишь на нѣкоторыхъ

изъ его возраженій, весьма совпадающихъ, по содержанию и тону, съ отношеніемъ Гончарова къ ученію Марка. Конечно, взгляды Гончарова не могли выразиться въ художественномъ произведеніи такъ непосредственно и полно, какъ могъ это сдѣлать Никитенко въ своихъ запискахъ, но для общаго содержанія достаточно и тѣхъ отраженій субъективнаго авторскаго чувства, которыя нарушали художественную цѣльность и типичность образа, подставляя вмѣсто него отвлеченное разсужденіе автора.

Подъ 10 ноября 1860 г. встрѣчаемъ такого рода опроверженіе матеріализма:

„Ученіе матеріалистовъ, чувствуя невозможность достигнуть знанія вѣчной и высочайшей истины, обходить ее и говорить, что она и не нужна; что можно безъ нея обойтись для исполненія не только обыкновенной общественной обязанности, но и высшихъ задачъ человѣческаго существованія. Безъ знанія этой истины можно обойтись—съ этимъ спорить нельзя: родъ человѣческій и до сихъ поръ безъ него обходится. Но безъ вѣрованія въ нее можно-ли обойтись — это другой вопросъ. До сихъ поръ родъ человѣческій еще не открылъ возможности обойтись безъ этого вѣрованія. На немъ покоятся всѣ наши нравственныя отношенія, всѣ стремленія къ лучшему, все, чѣмъ человѣкъ укрощаетъ свои страсти и возвышается до самообладанія, самоуправленія, до высшаго пониманія себя и своей жизни.

„Философія матеріализма есть философія отчаянія. Ее можно формулировать слѣдующимъ образомъ: „такъ какъ высшее знаніе, истина для человѣка—не достижимы, то откажемся отъ нихъ и постараемся убѣдить себя и другихъ, что можно устроить наилучшій нравственный порядокъ вещей на землѣ, ни мало не нуждаясь въ основаніяхъ нравственности, слѣдуя единственно за фізіологическими отправлениями нашего тѣла.

„Дѣло не въ началахъ, а въ силѣ. Нынѣшніе уто-

писты — матеріалисты, соціалисты, приверженцы такъ называемой положительной философіи — думаютъ, что они огромную услугу оказываютъ человѣчеству, толкуя о незаконности собственности, о злоупотребленіяхъ власти и пр., и о средствахъ поправить зло, излагая теорію человѣческихъ обществъ, раздѣленіе собственности и труда. Они не видятъ, что всѣ ихъ понятія, начиная съ Платона, очень стары. Но дѣло, очевидно, не въ понятіяхъ, не въ началахъ, а въ силѣ осуществлять понятія, начала...

„Нравственный порядокъ вещей невозможенъ, когда въ томъ, что мы о немъ знаемъ и должны знать, не допустимъ связи съ тѣмъ, чего мы не знаемъ и не можемъ знать.

„Незнаемое есть верховный двигатель всякаго стремленія къ совершенствованію. Законъ развитія есть не иное что, какъ побужденіе изъ извѣстнаго перейти въ неизвѣстное“.

Гончаровъ могъ бы дополнить эту характеристику матеріализма въ тѣхъ формахъ, какъ онъ выразился въ Маркѣ Волоховѣ.

„Онъ (Маркъ),—повѣствуетъ Гончаровъ отъ имени Вѣры,—во имя истины, развѣнчалъ человѣка въ одинъ животный организмъ... Самый процессъ жизни онъ выдавалъ и за ея конечную цѣль... Угадывая законы явленія, онъ думалъ, что уничтожилъ и невѣдомую силу, давшую эти законы, только тѣмъ, что отвергалъ ее... Закрывалъ доступъ въ вѣчность и къ безсмертію всѣмъ религіознымъ и философскимъ упованіямъ...

„Между тѣмъ, отрицая въ человѣкѣ человѣка—съ душой, съ правами на безсмертіе, онъ проповѣдывалъ какую-то правду, какую-то честность, какія-то стремленія къ лучшему порядку, къ благороднымъ цѣлямъ“...

Въ сокращенномъ видѣ это обвинительный актъ противъ Марка. Онъ, по мнѣнію Гончарова, грубый матеріалистъ, не вѣрить не только въ Бога, но даже въ

такія „очевидности“, какъ губернаторъ и полиція, не уважаетъ старшихъ, беспокоитъ мирныхъ людей,—и онъ же осмѣливается распространять среди чуткой и впечатлительной молодежи свои проповѣди о *какой-то* новой правдѣ. Не иначе отнесся бы къ Марку и Никитенко.

10 декабря того же года, Никитѣнко заноситъ въ дневникъ любопытное разсужденіе, показывающее, подъ какимъ угломъ смотрѣлъ онъ на явленія современной литературы, которая едва ли не должна была играть, по его мнѣнію, служебную роль. „У нашихъ писателей, говоритъ онъ, при началѣ нынѣшняго царствованія, не достало такта, чтобы воспользоваться дарованіемъ печати большею долею свободы. Они много могли бы сдѣлать для упроченія нѣкоторыхъ началъ въ обществѣ и для склоненія правительства къ разнымъ либеральнымъ мѣрамъ. Но они ударились въ крайности и испортили дѣло. Возгордившись первыми успѣхами, они потеряли мѣру, сдѣлались черезчуръ требовательными, забывъ, что годъ или два тому назадъ имъ едва позволили бы держать перо въ рукахъ. Имъ захотѣлось вдругъ всего—и они начали сплошь на все нападать, какъ люди рьяные, но неспособные руководить общественнымъ мнѣніемъ. Они употребили во зло печатное слово, вмѣсто того, чтобы воспользоваться имъ. Тщетно старался я стать примирительнымъ лицомъ между литературой и правительствомъ. Первая такъ далеко занеслась, что вдругъ встала въ жестокую и открытую оппозицію съ послѣднимъ. Послѣднее встрепенулось и стало усерднѣе подтягивать возжи. Такіе господа, какъ Чернышевскій, Бовъ (Добролюбовъ) и прочіе, вообразили себѣ, что они могутъ взять силой право, на которое они еще не приобрѣли права. Они взяли на себя задачу несвоевременную и непосильную, и вмѣсто того, чтобы двигать дѣло впередъ, только тормозятъ его“...

Любопытны и дальнѣйшія разсужденія Никитенки.

„Считая себя передовыми людьми, руководителями общественного мнѣнія, продолжаетъ онъ свою характеристику несимпатичныхъ ему дѣятелей, — они дѣйствовали, какъ зажигатели, какъ демагоги, чѣмъ и доказали свою незрѣлость и неспособность управлять общественнымъ движеніемъ. Передъ ними была роль дѣйствительно прекрасная: быть именно руководителями умовъ тамъ, гдѣ все такъ шатко, незрѣло, неразвито. Но они не поняли ея и, увлекаясь лирическими порывами, упали сами въ толпу тѣхъ, которымъ нужно вразумленіе и руководство. Они какъ будто захотѣли бросить перчатку правительству, вызвать его на бой, вмѣсто того, чтобы соединить прогрессивныя свои стремленія съ лучшими его видами — въ которыхъ нельзя ему отказать... — и такимъ образомъ, сдѣлавъ его, такъ сказать, своимъ помощникомъ, съ своей стороны помогая ему во всемъ благомъ и не стараясь вдругъ, однимъ ударомъ, сломить его ошибки и старыя преданія.

„Они, притомъ, смѣшали людей, стоящихъ около центра, съ самымъ центромъ, и то, что въ отсталыхъ прежнихъ правителяхъ было дурного, они отнесли къ самой идеѣ правительства. Словомъ, это были люди, жаждавшіе отличія, желавшіе, во что бы то ни стало, сдѣлаться популярными и, по примѣру западныхъ корифеевъ, публицистовъ, быть политическими дѣятелями, вмѣсто того, чтобы быть только общественными, предоставивъ времени и постепеннымъ успѣхамъ нашего развитія дѣлать свое дѣло“.

Люди, жаждавшіе отличія и популярности... такъ наивно понималъ Никитенко Добролюбова и его единомышленниковъ. Что же сказать о теоретическомъ обоснованіи ихъ взглядовъ? Начала „постепенности“, приведшія, въ либеральныхъ стремленіяхъ извѣстной группы лицъ въ обществѣ и литературѣ, къ „постепенщинѣ“, какъ общественно-историческому явленію,

получили у Никитенки нѣсколько позже (въ 1864 г., подъ 10 апрѣля) такую формулировку, по поводу тогдашнихъ событій въ прусской палатѣ общинъ: „Прусская палата общинъ стремится, пишетъ Никитенко, къ нивеллированію сословій во имя демократическаго принципа, но на самомъ дѣлѣ для того, чтобы захватить власть въ свои руки и управлять страной на основаніи какой-то представительной олигархіи. Бисмаркъ это очень хорошо понимаетъ, и вотъ откуда весь антагонизмъ... Самая консервативная страна въ мірѣ, безъ сомнѣнія Англія... Дѣло не въ стремленіи остановить движеніе ко всеобщей реформѣ, а въ томъ, чтобы сдѣлать это стремленіе, во 1-хъ, не столь разрушительнымъ, какимъ оно угрожаетъ быть, а во 2-хъ, подчиняя его въ извѣстной мѣрѣ закону постепенности, тѣмъ самымъ обезпечить благія его послѣдствія. Это борьба, но безъ борьбы никакая истина, никакой успѣхъ не могутъ быть прочными. Вотъ почему я, въ моихъ либеральныхъ тенденціяхъ, придерживаюсь начала постепенности. Настоящее и будущее должны имѣть связь съ прошедшимъ. Не перестроивъ планеты, нельзя радикально строить ни человѣка, ни общества. Всякія крайнія и абсолютныя покушенія въ этомъ родѣ ведутъ къ рабству, бѣдствіямъ и гибели. Зачѣмъ это?“

Въ этихъ немногихъ выдержкахъ изъ дневника Никитенки выразились основные взгляды ихъ автора, какъ на явленія текущей жизни, такъ и на общественныя стремленія и идеалы. Гуманистъ и ученый дѣятель, съ несомнѣннымъ либеральнымъ отбѣнкомъ, вдумчивый и искренній, благородный патріотъ и религиозный человѣкъ, онъ былъ, однако, для идейныхъ стремленій шестидесятихъ годовъ, нѣсколько запоздалымъ, что и дѣлало его типичнымъ постепеновцемъ, примирявшимъ крайности двухъ порубежныхъ эпохъ въ культѣ того „добраго“ и „хорошаго“, по его мнѣнію, что оставалось отъ <



старого и различалось въ пестрой смѣнѣ явленій набѣгавшей новой жизни.

Къ началу шестидесятыхъ годовъ у Никитенки, несомнѣнно, вполне уже сложился взглядъ на умственные и нравственные качества Гончарова, примѣненіе которыхъ къ службѣ по цензурному вѣдомству казалось ему крайне желательнымъ, какъ съ точки зрѣнія интересовъ литературы, такъ и государственной пользы: по крайней мѣрѣ, около этого времени начинаются усиленныя хлопоты Никитенки объ упоминавшихся выше служебныхъ назначеніяхъ Гончарова.

Послѣ этой своего рода „странички изъ исторіи умственныхъ вліяній 60-хъ годовъ“, мы можемъ обратиться къ характеристикѣ общественнаго міросозерцанія Гончарова.

## XIX.

Отраженіе личности Гончарова въ „Обрывѣ“.—Правильность и послѣдовательность въ жизни.—Гончаровъ и Райскій.—Художникъ и моралистъ.

Требованія правильности и послѣдовательности являлись для Гончарова обязательными не только въ узкомъ примѣненіи ихъ къ домашней жизни и службѣ. Ихъ онъ ставилъ во главѣ своихъ сужденій вообще о ходѣ человѣческихъ событій. Порядокъ и цѣлесообразность зависѣли, по мнѣнію Гончарова, исключительно отъ человѣка, отъ того, какъ онъ понималъ общія и частныя явленія жизни, и какъ онъ опредѣлялъ свои къ нимъ отношенія. Въ самомъ пониманіи этихъ явленій должны, казалось Гончарову, скрываться апріорныя требованія извѣстной закономерности и общей гармоніи, и только сообразно этому пониманію міръ принималъ въ человѣческомъ представленіи ту или другую

форму и окраску. Теоретическія разсужденія Гончарова о жизни не отличались особенной отвлеченностью. Сама по себѣ жизнь не бываетъ ни хорошою, ни дурною, или, съ другой стороны, и хорошою, и дурною, смотря по тому, какой ее дѣлають и представляютъ себѣ люди. Стремленіе объяснить ее однимъ какимъ-либо началомъ или понятіемъ казалось Гончарову простой игрой словъ. Жизнь неуловима для сколько-нибудь точныхъ опредѣленій, она—*эластична*, по выраженію Райскаго: „подводили ее подъ фатумъ, потомъ подъ разумъ, подъ случай—подходить ко всему“... „Во что хочешь вѣруй: въ божество, въ математику или въ философію,—развиваетъ онъ свою теорію дальше,—жизнь поддается всему“... У бабушки для объясненія жизни были Богъ и судьба, у дворни—чаще всего домовою и нечистая сила, но сущность оставалась безъ измѣненія: жизнь поддавалась всякому пониманію и въ то же время оставалась необъяснимой и загадочной.

Отсюда долженъ былъ неизбѣжно вытекать естественный выводъ: всякаго рода системы, метафизическія умозрѣнія, „умствованія“ были совершенно бесполезны по отношенію къ жизни. Жизнь можетъ быть весьма простой и разумной, если просто и разумно смотрѣть на нее, при томъ не задумываться надъ нею, а брать ее такою, какова она есть. Маркъ Волоховъ сходится въ этомъ требованіи непосредственнаго отношенія къ жизни съ Райскимъ, хотя, въ практическихъ примѣненіяхъ этого взгляда, они приходятъ къ одному и тому же итогу діаметрально противоположными путями. Итогъ этотъ—удовлетвореніе и оправданіе эгоистическихъ запросовъ своего „я“, самоосвобожденіе отъ борьбы внутренней при посредствѣ борьбы вѣшной, создающей стремленіе къ господству и власти надъ другимъ существомъ.

„Онъ (Маркъ) показалъ ей (Вѣрѣ) на кучку кружившихся другъ около друга голубей, потомъ на мелькнув-

шихъ одна въ догонку другой ласточекъ.— *Учитесь у нихъ, они не умничаютъ!*

— Да,—сказала она:—смотрите и вы: вонъ они кружатся около гнѣздъ.

Онъ отвернулся“...

Взгляды Гончарова,—независимо отъ тѣхъ, что высказывались въ романахъ его многочисленными alter ego,—находили отраженіе непосредственное и въ его общихъ разсужденіяхъ и сентенціяхъ. Въ нихъ Гончаровъ нерѣдко выходилъ за предѣлы художника, создающаго извѣстнымъ образомъ ограниченный типъ, личность или характеръ, субъективизмъ его развертывался во всю ширину, и рѣчь принимала оттѣнокъ свободного изліянія своихъ излюбленныхъ идей и настроеній. Тогда въ особенности становится замѣтнымъ, что авторъ въ гораздо большей степени старается выразить свое „я“, чѣмъ оттѣнить ту или другую черту въ своемъ героѣ. Нерѣдко авторъ настолько увлекается этимъ свободнымъ, всегда красивымъ и плавнымъ изліяніемъ, что послѣднее становится въ явное противорѣчіе съ предполагаемымъ міросозерцаніемъ героя, который всегда одностороннѣе и уже Гончарова.

Поразительный примѣръ такого противорѣчія,—не по существу, а съ точки зрѣнія логики художественнаго творчества—представляетъ собой начало третьей части „Обрыва“. Здѣсь Гончаровъ хочетъ увѣрить насъ, что Райскій, этотъ легкомысленный, но талантливый художникъ, какимъ онъ рисуется въ романѣ, менѣе всего думавшій о серьезныхъ общественныхъ и нравственныхъ вопросахъ, отличался столь же определеннымъ и устойчивымъ міросозерцаніемъ, какъ самъ Гончаровъ. Все, что онъ говоритъ въ данномъ случаѣ, менѣе всего подходитъ къ Райскому, въ смыслѣ типа, и болѣе всего—къ самому автору.

„Райскій считалъ себя,—разсказываетъ Гончаровъ,—не новѣйшимъ, т.-е. не молодымъ,—но отнюдь не отста-

лымъ человѣкомъ"... Имѣя давно уже за тридцать, Райскій, конечно, могъ считать себя таковымъ, но и въ эти годы онъ только и живетъ, что предчувствіями творческихъ восторговъ и жаждою страсти, особенно послѣдней. Сердце то-и-дѣло сжимается у него тревогой ожиданія грозы и страсти, „вздрагиваетъ отъ роскоши грядущихъ ощущеній“, но ни на минуту не увлекаетъ его, если не считать младенческихъ грезъ, въ міръ общественной борьбы и гражданской дѣятельности. Напротивъ, къ подножію страсти онъ готовъ бросить не только ту область высшихъ стремленій, ради которой иные отказывались отъ самомалѣйшихъ личныхъ запросовъ, но и то, что для него дороже всего въ жизни—искусство и славу. „Что искусство, что самая слава передъ этими страстными бурями!—не безъ комическаго трагизма вздыхаетъ онъ, обуреваемый страстью къ Вѣрѣ.—Что всѣ эти дымно-горькіе, удушливые газы политическихъ и соціальныхъ бурь, гдѣ бродятъ однѣ идеи, за которыми жадно гонится молодая толпа, укладывая туда силы, безъ огня, безъ трепета нервъ? Эти головныя страсти—игра холодныхъ самолюбіи, идеи безъ красоты, безъ палящихъ наслажденій, безъ мукъ... часто не свои, а вычитанныя, скопированныя!“

Эта вдохновенно-безсвязная рѣчь простибельна влюбленному человѣку, который носится по саду и „оретъ“, по буквальному выраженію автора, что онъ хочетъ „обыкновенной, жизненной и животной страсти, со всею ея классической (непремѣнно классической!) грозой“. Но и тутъ ясно, что, и не будучи влюбленнымъ,—а послѣднее бывало съ нимъ въ высшей степени рѣдко,—Райскій отдалъ бы всѣ свои идеи о политической и соціальной жизни за одинъ благосклонный взглядъ не только Вѣры или Марейньки, но и той смазливенькой мѣщанки, которую онъ запримѣтилъ какъ-то, возвращаясь къ себѣ верхомъ изъ города.

Что же, однако, рассказываетъ намъ Гончаровъ?

„Онъ (Райскій) открыто заявлялъ, что, вѣря въ прогрессъ, даже досадуя на его „черепашій“ шагъ, самъ онъ не спѣшилъ укладывать себя всего въ какое-нибудь едва обозначившееся десятилѣтіе, дешево отрекаясь и отъ завѣщанныхъ исторіею, добытыхъ наукою, и еще болѣе отъ выработанныхъ собственной жизнью убѣжденій, наблюдений и опытовъ, въ виду едва занявшейся зари quasi-новыхъ идей, болѣе или менѣе блестящихъ или остроумныхъ гипотезъ, на которыя бросается жадная юность“...

А между тѣмъ весь романъ построенъ на томъ, что у Райскаго нѣтъ никакихъ убѣжденій, того, что казалось въ поэтической формулѣ—„ума холодныхъ наблюдений и сердца горестныхъ замѣтъ“, и въ этомъ отношеніи онъ остается болѣе юнымъ и непослѣдовательнымъ, чѣмъ дѣйствительный юноша—Маркъ.

Нейдетъ къ Райскому, какъ къ типу, и то, что какъ нельзя болѣе подходитъ къ самому Гончарову, будто—„онъ (Райскій) ссылается на свои лѣта (и не-такія ужъ были у Райскаго лѣта, иное дѣло Гончаровъ—въ періодъ созданія „Обрыва“), говоря, что для него наступила пора выжиданій и осторожности: тамъ, гдѣ не увлекала его фантазія, онъ терпѣливо шелъ за вѣкомъ“.

Но, во-первыхъ, когда же не увлекала фантазія Райскаго, который, въ противномъ случаѣ, пересталъ бы быть самимъ собой; а во-вторыхъ: видалъ ли кто когда-либо Райскаго терпѣливымъ?

Гончаровъ продолжаетъ импровизировать, и въ этой импровизаціи явственно слышатся размѣренные рѣчи Петра Ивановича Адуева и благожелательно-корректнаго Штольца, которые и Пушкина любили, и заводы устраивали. „Онъ (Райскій все) привѣтствовалъ смѣлые шаги искусства, рукоплескалъ новымъ откровеніямъ и открытіямъ, видоизмѣняющимъ, *но не ломающимъ жизнь*, праздновалъ естественное, но не насильственное рожде-

ніе новыхъ ея требованій, какъ праздновалъ весну съ новой зеленью, не провожая безплодной и неблагодарной враждой отходящаго порядка и отживающихъ началъ, вѣря въ ихъ историческую неизбѣжность и неопровержимую, преемственную связь съ „новой весенней зеленью“, какъ бы она нова и ярко-зелена ни была“.

Райскій, если вѣрить этой характеристикѣ Гончарова, являлся своего рода выжидающимъ постепеновцемъ, шедшимъ наравнѣ съ вѣкомъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда прогрессъ совершался безъ ломки, безъ рѣзкихъ переходовъ и сильныхъ контрастовъ. Однако, въ четвертой части романа рассказывается, какъ тотъ же Райскій „шелъ къ бабушкѣ, и у нея въ комнатѣ, на кожаномъ канапе, за рѣшетчатымъ окномъ, находилъ еще какое-то колыханіе жизни, тамъ еще была ему какая-нибудь работа—*ломать старый вѣкъ*“...

Какая изъ двухъ характеристикъ вѣрнѣе — рѣшить не трудно. Гончаровъ-художникъ рельефнѣе опредѣлилъ натуру Райскаго; зато моралистъ превосходно передалъ существеннѣйшія черты мірозерцанія Гончарова, какъ человѣка. Его именемъ должно быть подписано все, чѣмъ выше онъ надѣлилъ неповиннаго Райскаго, и что такъ противорѣчитъ образу Райскаго въ первой половинѣ романа.

---

## XX.

Отраженіе общественныхъ взглядовъ Гончарова въ образъ Райскаго. — Вѣра въ идеальный прогрессъ; разладъ дѣйствительности съ красотой идеаловъ. — Отношеніе къ окружающей жизни; крѣпостное право; воплощеніе „новыхъ“ вѣяній въ образъ Марка Волохова.

Итакъ, намъ пришлось уже отмѣтить, что Райскій „досадовалъ“ на черепаший шагъ прогресса. Но тотъ же Райскій, по словамъ Гончарова, былъ равнодушенъ ко всему на свѣтѣ, кромѣ красоты. Онъ слу-  
жилъ ей, какъ рабъ, былъ холоденъ ко всему, гдѣ ея не было, — „и былъ грубъ, даже жестокъ ко всякому безобразію“. Это самое существенное изъ противорѣчій, отразившихся въ созданіи образа Райскаго. Оно не устранимо само по себѣ, но происхожденіе его вполне ясно.

Во вторую половину пятидесятыхъ и въ шестидесятые годы Райскій вносилъ положительный анахронизмъ, какъ представитель своего поколѣнія, своимъ исключительнымъ культамъ красоты. Но этотъ культъ былъ такъ понятенъ въ Гончаровѣ, какъ завѣтное наслѣдіе того круга идей, въ которомъ жили художники въ тридцатые и сороковые годы. Философія и поэзія вступали тогда въ трогательный союзъ, направленный къ указанію высочайшихъ идеаловъ человѣчеству, служеніе которымъ обезпечивало блаженство сознанія всемірной гармоніи и первенствующую роль человѣка въ исторіи мірозданія. Красота — одна опредѣляла законы развитія міра; стремленіе къ ней приводило къ познанію божества, являло свои откровенія наиболѣе ревностнымъ жрецамъ искусства — художникамъ и поэтамъ. Последніе смотрѣли на себя, какъ на призванныхъ вождей человѣчества на пути его развитія и нравственнаго совершенствованія.

Эти сладостныя иллюзіи нашихъ романтиковъ раз-  
бились не столько о позитивизмъ, неудержимо захва-  
тившій нашу общественную мысль во второй половинѣ  
пятидесятихъ годовъ, сколько о подводныя скалы рус-  
ской дѣйствительности, неожиданно выглянувшія на  
поверхность и рѣзко ударившія въ глаза. Старики,  
именно тѣ, что не пошли за вѣкомъ, остались вѣрны  
кумирамъ лучшихъ лѣтъ своей молодости, но моло-  
дежь рѣшительно двинулась по другому пути. И обра-  
зовалось двѣ правды: старая и новая, о которыхъ го-  
воритъ Гончаровъ. Кѣмъ бы ни былъ Райскій въ смыслѣ  
типа, онъ не могъ быть на сторонѣ старой правды,—  
для этого онъ долженъ былъ родиться двадцатью-три-  
дцатью годами раньше.

Райскій—слишкомъ прозрачная ширма, за которой  
скрывается Гончаровъ. „Не только отъ міра внѣшняго,  
отъ формы онъ настоятельно требовалъ красоты, но и  
на міръ нравственный смотрѣлъ онъ, не какъ онъ есть,  
въ его наружно-дикой, суровой разладицѣ, и не какъ  
на початую отъ рожденія міра и неоконченную работу,  
а какъ на гармоническое цѣлое, какъ на готовый уже  
парадный строй созданныхъ имъ самимъ идеаловъ, съ  
доконченными въ умѣ чувствами и стремленіями, огнемъ,  
жизнью и красками... У него не доставало терпѣнія  
купаться въ этой вознѣ, суетѣ, въ черновой работѣ,  
терпѣливо и мучительно укладывая силы въ пригото-  
вленіе къ тому праздничному моменту, когда человѣче-  
ство почувствуетъ, что оно готово, что достигло своего  
апогея, когда насталъ бы и понесся въ вѣчность, какъ  
рѣка, одинъ безошибочный, на вѣчныя времена устано-  
вившійся потокъ жизни... Онъ только оскорблялся ежеми-  
нутнымъ и повсюднымъ разладомъ дѣйствительности съ  
красотой своихъ идеаловъ, и страдалъ за себя и за весь  
міръ... Онъ вѣрилъ въ идеальный прогрессъ—въ совершен-  
ствованіе, какъ формы, такъ и духа, сильнѣе, нежели  
матеріалисты вѣрятъ въ утилитарный прогрессъ; но



страдалъ за его черепаши́й шагъ и впадалъ въ глубокую хандру, не вынося даже мелкихъ царапинъ близкаго ему безобразія“.

Таковы были *общіе* взгляды Гончарова, осмысливавшіе для него сложный процессъ „эластичной“ жизни. Ихъ нельзя было подвести ни подъ одно изъ ходячихъ общественныхъ направленій. Они самобытны, своеобразны, далеки отъ новизны, но проникнуты гуманнѣйшими вѣяніями лучшихъ сторонъ современной имъ европейской мысли. Они въ такой же мѣрѣ „эластичны“, какъ сама жизнь въ его опредѣленіи, и названіе ихъ либеральными страдало бы такой же неточностью, какъ и отнесеніе ихъ къ разряду такъ-называемыхъ консервативныхъ.

Достоинство это или недостатокъ? — вопросъ для настоящаго случая праздный. То обстоятельство, что это взгляды Гончарова, а не той или иной партіи, служить достаточнымъ отвѣтомъ на подобнаго рода вопросы, до сихъ поръ обращаемые къ Гончарову иными изъ его критиковъ.

При всей „эластичности“ житейской философіи Гончарова и расплывчатости ея общихъ чертъ, является тѣмъ не менѣе возможность выдѣлить нѣкоторые *частные* взгляды, болѣе или менѣе отчетливые и положительные. Какъ бы ни обобщалъ онъ свои наблюденія надъ явленіями жизни и въ какое бы положеніе ни становился онъ самъ по отношенію къ изображаемому, его личность была неотдѣлима отъ предмета изображенія, она входила въ это изображеніе той или другой стороною его духа и клала на нее свой особый, чрезвычайно характерный для Гончарова, неизмѣнно субъективный отпечатокъ. Она прокрадывалась, какъ мы видѣли, въ характеристики и рѣчи его героевъ, являлась въ отступленіяхъ, большихъ и малыхъ, въ выраженіяхъ добродушнаго резонерства. Послѣднее обличало въ Гончаровѣ постоянно

бывшуюся дидактическую жилку, мало замѣтную въ „Обыкновенной исторіи“ и въ „Обломовѣ“, но весьма явственную въ „Обрывѣ“, позднѣйшемъ изъ крупныхъ произведеній писателя. Въ первомъ изъ романовъ оно сказывалось между прочимъ, вскользь, въ обращеніи къ авторитету общепризнанныхъ истинъ, въ сентенціяхъ въ родѣ того, напримѣръ, что — „ужъ давно доказано, что женское сердце не живетъ безъ любви“... „вѣдь извѣстно, что чужія горести и заботы не сушатъ насъ— это такъ заведено у людей“... Въ „Обрывѣ“ личный разсудочный элементъ Гончарова проявляется особенно въ разграниченіи понятій „старой“ и „новой“ правды.

Будучи врагомъ ломки и какихъ бы то ни было насильственныхъ переворотовъ, Гончаровъ любилъ старую жизнь, устоявшуюся, патріархальную, не только потому, что чувствовалъ въ ней поэзію мира и семейныхъ преданій: въ ней онъ читалъ ту внутреннюю подготовительную работу вчерашняго дня, безъ которой не могло бы въ такомъ видѣ существовать его „сегодня“, столь гордое успѣхами знанія и прогресса. Съ нѣкоторыми ограниченіями къ Гончарову могутъ быть отцесены слова, сказанныя имъ объ ушедшемъ въ классическую жизнь Козловѣ. Послѣдній видѣлъ въ ней родоначальницу нашихъ знаній, а главное — отчетливыя, устоявшіяся, легко опредѣлимая формы. Козловъ настолько отдался ей, что отъ него „ушла и спряталась современная жизнь“.

Гончаровъ самъ уходилъ отъ современной жизни и съ любовью погружался въ старую жизнь, но онъ былъ безконечно шире Козлова, и потому съ современной жизнью его связывали интересы прогресса, знанія, въ широкомъ смыслѣ слова, и искусства. Многому въ современной жизни онъ готовъ былъ радоваться, но многое вызывало въ немъ искреннее раздраженіе и досаду. Изображая непосредственно примыкавшій къ нему кругъ явленій, онъ первоначально не придавалъ своимъ изобра-

женіямъ значенія соціальныхъ или политическихъ обобщеній. Общественное значеніе его романовъ сложилось само собой, помимо воли автора. „Злоба дня“ вообще была чужда Гончарову, и если ему приходилось иногда отзываться на нее, какъ это было въ „Обрывѣ“, то виною тому были не столько сами крупныя явленія жизни, выражавшіяся въ тѣхъ или другихъ формахъ, сколько то, что эти формы бывали иногда безобразны и безобразіемъ своимъ оскорбляли эстетическую щепетильность Гончарова.

Нельзя не поражаться, какъ мало удѣляетъ Гончаровъ вниманія крѣпостному праву; переживая настоящую эпоху бури и натиска и пытаясь, по его собственному объясненію, наглядно показать борьбу старыхъ понятій съ новыми, онъ не шутя видитъ въ Райскомъ героя пробужденія, которому, будто бы, суждено произвести постепенную и мирную революцію въ умѣ Марейнекъ и бабушекъ, и противопоставляетъ ему Марка Волохова, который, въ сущности, идетъ къ тому же, но только путемъ насилія, беспочвеннаго фанатизма, слѣпого увлеченія скороспѣлой идеей, и потому не достигаетъ цѣли. Обѣимъ фигурамъ Гончаровъ въ послѣдствіи придалъ всеобъемлющій, почти символическій смыслъ, а между тѣмъ въ романѣ отсутствуетъ фактическая сторона ихъ отношеній, то, что явилось бы самымъ существеннымъ показателемъ ихъ обоюднаго отношенія къ наиболѣе живымъ и горячимъ вопросамъ своего времени.

Изъ такихъ вопросовъ крѣпостное право стояло, конечно, на первомъ планѣ. Но Гончаровъ изображалъ современныя ему событія изъ такого прекраснаго далека, что этотъ исключительный и коренной факторъ многовѣкового уклада русской жизни, приковывавшій къ себѣ умы и таланты всѣхъ, кому приходилось съ той или иной стороны касаться общественныхъ явленій этой эпохи, терялъ подъ перомъ Гончарова все свое великое значеніе и низводился на степень одного

изъ элементарнѣйшихъ началъ русской жизни, которыя у него какъ будто сами собою подразумѣваются, и потому о нихъ въ общественномъ романѣ и говорить не стоитъ. Фактически, такое отношеніе легко объясняется тѣмъ, что Гончаровъ, въ сущности, всегда стоялъ далеко отъ подлинной народной жизни и создавалъ свои романы по воспоминаніямъ дѣтства, прошедшаго въ смягченной обстановкѣ городскихъ вліяній и купческаго довольства.

Въ „Обыкновенной исторіи“ есть сценка въ высшей степени характерная для сужденія о томъ, какъ Гончаровъ изображалъ крѣпостное право. Это въ началѣ романа, гдѣ провожаютъ Александра Адуева въ Петербургъ. Его крѣпостной „человѣкъ“—Евсей, милъ другъ кухарки Аграфены Ивановны, принужденъ разстаться съ ней, и бѣдняга мучится подозрѣніями относительно вѣрности своей подруги во время его отсутствія.

„Кто-то сядетъ на мое мѣсто? промолвилъ онъ со вздохомъ.

— Лѣшій! отрывисто отвѣчала она (Аграфена).

— Дай-то Богъ! Лишь бы не Прошка. А кто-то въ дураки съ вами станетъ играть?

— Ну, хоть бы и Прошка, такъ что же за бѣда! со злостью замѣтила она“...

Но Евсей упрашиваетъ Аграфену, *ужь если случай такой придетъ — лукавый вѣдь силенъ*, — посадить тутъ не Прошку, но Гришку: по крайности малый смирный, работающій, не зубоскаль...

Къ этой сценѣ, проникнутой неудержимымъ внѣшнимъ комизмомъ, Гончаровъ даетъ и ключъ, открывающій другую, оборотную сторону медали, съ поправленіемъ личности, гнетомъ и безнадежностью на первомъ планѣ. Ключъ этотъ—*барская воля*, узаконявшая беззаконіе и произволъ въ человѣческомъ общежитіи. „Еслибы не барская воля, говорить тотъ же Евсей, увѣряя въ

своей любви Аграфену, такъ... Эхъ!.. — Онъ при этомъ крикнулъ и махнулъ рукой. Аграфена не выдержала: и у ней, наконецъ, горе обнаружилось въ слезахъ“.

Въ этомъ „эхъ“, котораго, дѣйствительно, не передашь никакими словами, сказалось горе и безнадежность цѣлыхъ милліоновъ Евсеевъ и Гришекъ, имѣвшихъ, не меньше надворныхъ и тайныхъ совѣтниковъ Адуевыхъ, право на будничное человѣческое счастье. Но у Гончарова подобныя сцены изображаются такимъ образомъ, что изъ десяти читателей навѣрно девять улыбнутся и пройдутъ мимо и только десятый задумается надъ „общей идеей“ вопроса.

При всемъ этомъ неясное и даже нѣсколько странное отношеніе Гончарова къ такому вопросу, какъ крѣпостное право, доходить до того, что читатель можетъ быть поставленъ въ серьезное недоумѣніе: какая эпоха изображается, на примѣръ, въ „Обрывѣ“: до или послѣ реформы? Съ одной стороны, Маркъ Волоховъ, съ своей проповѣдью новой свободы, съ своимъ отрицаніемъ „небесныхъ и земныхъ авторитетовъ“, есть несомнѣнное порожденіе шестидесятыхъ годовъ. Съ другой стороны, Бережкова управляется въ имѣніи Райскаго, какъ полновластная крѣпостная помѣщица, имѣющая власть сослать въ наказаніе блудливую Марину въ дальнюю деревню, и Гончаровъ опредѣляетъ положеніе послѣдней въ помѣщицѣй усадьбѣ, какъ „обезпеченное состояніе *крѣпостной* дворовой дѣвки“. Титъ Никонъ, дая къ свадьбѣ Марейники дорогой дамскій туалетъ, рассказываетъ, какъ этотъ сервизъ былъ доставленъ въ городъ изъ его родовой вотчины: „на рукахъ несли полтора ста верстъ, шесть человѣкъ попеременно, чтобъ не разбилось“, — затѣя чисто въ крѣпостномъ духѣ. Наконецъ, и Райскій, отзывающійся, между прочимъ, о Вѣрѣ, что она „рабовъ любитъ“, обращается къ бабушкѣ съ просьбой *отпустить мужичковъ на волю*. Все это указываетъ слишкомъ ясно, что крѣпо-

стное право остается въ полной силѣ, а между тѣмъ Маркъ только и дѣлаетъ, что говоритъ Вѣрѣ о томъ, что прежняя жизнь. отжила,—„теперь потекла другая жизнь, гдѣ не авторитеты, не заученныя понятія, а правда пробивается наружу“. О духъ свободы проповѣдуетъ и Райскій, и видитъ признаки этого духа въ сознаниі своихъ правъ у Вѣры — такъ, какъ вопросъ объ этихъ правахъ поставили шестидесятые годы. „Видишь, ты молода,—говоритъ онъ ей, — отсюда никуда носа не показывала, а тебя уже обвѣялъ духъ свободы, у тебя ужъ явилось сознание своихъ правъ, здоровыя идеи. Если заря свободы восходить для всѣхъ, ужели одна женщина останется рабой?“ Тотъ же Райскій, увлекшись въ разговорѣ съ Бѣловодовой изображеніемъ печальнаго положенія крестьянъ, спохватывается и спѣшитъ оговориться, что онъ не проповѣдуетъ *коммунизма*,—оговорка, весьма идущая къ Гончарову.

Какъ бы то ни было,—Маркъ вносить съ собою *новое* ученіе. Гончаровъ дальше „дерзкаго“ отрицанія авторитетовъ и проповѣди новой свободы, не выходящей изъ предѣловъ призыва къ свободной любви, не идетъ въ своемъ объясненіи. Онъ связываетъ новое ученіе съ именами Фейербаха, Прудона, но этимъ упоминаніемъ обыкновенно дѣло и кончается; въ чемъ состояла новая правда — такъ и остается невыясненнымъ. Читатель догадывается, что дѣло здѣсь не въ доброй волѣ Гончарова, а прежде всего въ томъ, что общественно-политическая сторона ученій этихъ писателей оставалась чужда ему, и даже болѣе того—можно съ увѣренностью сказать, что самъ онъ едва ли близко вникалъ въ сущность ихъ содержанія. Отсюда понятно, что и общественно-политическая сторона въ ученіи Марка не могла быть достаточно ясной самому Гончарову, и потому, схватывая по необходимости лишь внѣшнія крайнія и уродливыя проявленія, онъ липпалъ этого представителя новой правды, этого „вспрыскива-

лохова воспринялъ свои наиболѣе характерныя черты изъ непосредственной дѣйствительности въ первые же годы освободительной эпохи.

## XXI.

[Міросозерцаніе Гончарова; продолженіе].— Субъективность Гончарова при созданіи образа Марка Волохова.— Старая правда Гончарова.— Ея религиозные и нравственные устои.

Въ созданіи Марка субъективность Гончарова сама собой пробилась наружу, и его личность выразилась при этомъ тѣмъ отчетливѣе, чѣмъ меньше удалось ему придать личнымъ чертамъ Марка типическое значеніе. Иногда авторъ вступаетъ съ нимъ въ непосредственную полемику, даже не особенно скрываясь за ширмы того или другого героя. Это особенно замѣтно въ разсужденіяхъ автора, въ которыхъ онъ иногда поясняетъ читателямъ, что дѣлается за сценой, гдѣ лицедеи снимаютъ съ себя костюмы и гримъ и становятся совсѣмъ обыкновенными, совсѣмъ простыми людьми; иногда же подчеркиваетъ значеніе художественно разсказаннаго факта, словно боится, что читатель пойметъ не такъ, какъ слѣдуетъ. „Послѣ всѣхъ пришелъ Маркъ — и внесъ новый взглядъ во все то, что она (Вѣра) читала, слышала, что знала... Онъ, съ преждевременнымъ триумфомъ, явился къ ней, предвидя побѣду,—и ошибся“. Дѣлая подобный выводъ отъ своего имени, художникъ превратился въ обыкновеннаго повѣствователя, который не столько заботится о яркости изображенія, сколько припимаетъ лично участіе въ передаваемомъ событіи, и въ данномъ случаѣ лично радуется ошибкѣ Марка.

Самый протестъ противъ всего, чему учить Маркъ указываетъ на присутствіе въ міросозерцаніи Гончарова

чертъ противоположнаго свойства. Его „старая“ правда покоилась на глубокой религіозности, не той, которая зоветъ человѣка на подвигъ самоотреченія и самопожертвованія и является удѣломъ немногихъ натуръ, съ высокимъ строемъ души и сильной волей, но иной, доступной самымъ обыкновеннымъ людямъ, которые почерпаютъ въ вѣрѣ спокойствіе совѣсти и душевный миръ, и живутъ больше чувствомъ, чѣмъ умомъ. Эта религіозность не является результатомъ страстнаго самоуглубленія, борьбы съ сомнѣніями и искусами,—она никогда не проходитъ черезъ сферу самаго крайняго отрицанія, съ тѣмъ, чтобы возродиться затѣмъ еще болѣе возвышенной и просвѣтленной. Религіозность, присущая Гончарову, была, какъ мы видѣли, привита и воспитана въ немъ въ патріархальной обстановкѣ дѣтства нѣжными заботами матери, примѣрами старшихъ, поддерживалась нелюбовью къ какимъ бы то ни было „умствованіямъ“, выходившимъ за предѣлы художественныхъ концепцій и только нарушавшимъ душевный покой, и, что особенно было дорого Гончарову, она сливалась въ немъ съ поэзіей семейныхъ традицій, съ воспоминаніями о самыхъ трогательныхъ моментахъ дѣтской жизни, въ родѣ тѣхъ, которыми согрѣты лучшія страницы „Сна Обломова“.

Въ роковыя минуты своей жизни, спасаясь, какъ отъ наводненія, отъ новой правды Марка, Вѣра „во взглядъ Христа искала силы, участія, опоры“... Однажды, въ сумерки, Райскій застаётъ ее у часовни и поражается спокойнымъ и свѣтлымъ выраженіемъ ея лица: въ этомъ взглядѣ она нашла отраду покоя и мира, которой не могло ей дать ученіе Марка.

Но Вѣра еще доступна колебаніямъ и сомнѣніямъ; Марейнька и бабушка ихъ не знаютъ. Ихъ вѣра — непосредственное, чуждое и тѣни раціонализма, чувство любви къ Богу, какъ промыслителю, помощнику и защитнику рода лютекого. На этой вѣрѣ прежде всего



держится весь строй убѣжденій и понятій, изъ которыхъ слагается ихъ „старая“ правда.

Вѣра по мысли художника искупила страданіемъ свои временныя увлеченія рѣчами Марка и осталась вѣрна „старой“ правдѣ; ей помогли въ этомъ инстинктъ правдивой женской души и здоровая натура. „Его (Марка) новыя правда и жизнь не тянули къ себѣ ея здоровую и сильную натуру, а послужили только къ тому, что она разобрала ихъ по клочкамъ и осталась вѣрнѣе своей истинѣ“. Вѣками установившійся строй вѣрованій, убѣжденій и взглядовъ выдержалъ борьбу съ болѣзненной накипью насильственно вводимыхъ въ жизнь новыхъ теорій и идей, „старая“ правда восторжествовала,—такова мораль и основная тенденція второй половины романа.

Старая правда обусловливала, казалось Гончарову, ясный и цѣльный взглядъ на жизнь, высшимъ счастьемъ которой являлось свободное проявленіе индивидуальных особенностей личности, ея законныхъ требованій и желаній, но при одномъ условіи—„не стѣсняя воли другого“, не забираясь насильно въ чужую душу, не оскорбляя того, что другому дорого и свято. Уваженіе къ личности являлось основнымъ требованіемъ въ отношеніяхъ мужчины къ женщинѣ. Моментъ, когда Бережкова проявила твердость духа и самостоятельность въ знаменитой сценѣ съ чиновнымъ наглецомъ Ниломъ Андреевичемъ, приводитъ Райскаго въ восторгъ; ему кажется, что Татьяна Марковна стояла въ этотъ моментъ „на вершинѣ развитія умственного, нравственного и соціальнаго“.

Въ отношеніи свободы чувства Гончаровъ не былъ узкимъ моралистомъ. Его герой „пробужденія“, Райскій, проповѣдуетъ Вѣрѣ о томъ, что пора перестать бояться чувства: „люби открыто, всенародно, не прячься, не бойся ни бабушки, никого“,—потому что наступила новая жизнь, „старый міръ разлагается, зазеленѣли

новые всходы“. Но свобода чувства нисколько не потеряет, а, наоборот, выиграет въ своей красотѣ, если обезпечить за собой не только право на наслажденіе, но и сознаніе взаимнаго нравственнаго долга, налагаемаго любовью. Въ этомъ отношеніи новая правда расходилась, думалось Гончарову, со старой.

„— Любовь—счастье, данное человѣку природой...—говорить Маркъ.—Это—мое мнѣніе...“

„— Счастье это ведетъ за собой долгъ, — сказала она (Вѣра).—Это—мое мнѣніе“.

На смѣну Марку, на помощь Вѣрѣ, приходитъ Тушинъ и возстановляетъ въ ея душѣ окончательное торжество „старой“ правды. На Тушинѣ сосредоточиваются всѣ гражданскія упованія и симпатіи Гончарова. Тушинъ, въ противовѣсъ Марку, является нашей истинной „партіей дѣйствія“, въ ней — „наше прочное будущее, которое выступить въ данный моментъ, особенно, когда *все это* — оглядываясь кругомъ на поля, на дальнія деревни, рѣшаетъ Райскій,—когда *все это будетъ свободно*, когда всѣ миражи, лѣнь и бабство исчезнутъ, уступивъ мѣсто настоящему „дѣлу“, множеству „дѣла“ у всѣхъ, — когда „съ миражами исчезнутъ и добровольные мученики“, тогда явятся, на смѣну имъ, работники, Тушины, на всей лѣстницѣ общества“.

Великодушный и сильный Тушинъ—въ то же время богатый помѣщикъ и дѣлецъ-практикъ. Въ этомъ смыслѣ онъ—параллель Петру Адуеву и Штольцу, даже болѣе: онъ—дальнѣйшая ступень въ развитіи этого типа—уже не чиновникъ и не нѣмецъ. Пусть только падетъ крѣпостное право, думаетъ Райскій, за спиной котораго стоитъ Гончаровъ,—тогда во всѣхъ слояхъ общества явятся свои Тушины, которые возьмутся за живое, нерутинное дѣло устроенія русской народной и общественной жизни.

У Гончарова нѣтъ, такимъ образомъ, скептицизма

или равнодушія по отношенію къ вопросамъ личной и общественной свободы, понимая послѣднюю въ самомъ широкомъ смыслѣ. Наоборотъ, отношеніе его къ этимъ вопросамъ было таково, что можно смѣло говорить объ его искреннемъ и внутренно дѣятельномъ сочувствіи идеямъ и принципамъ, которые можно назвать передовыми для той эпохи. Но для него, „думаваго образами“, воплощеніе этихъ идей въ жизни, въ формахъ, казавшихся ему уродливыми, было равносильно оскорбленію артиста, который видитъ профанацію искусства въ толпѣ, и въ своемъ гнѣвномъ негодованіи онъ провель слишкомъ рѣзкую грань между собой и той „партей дѣйствія“, къ какой причислялъ себя Маркъ.

По многимъ принципіальнымъ вопросамъ между Гончаровымъ и Маркомъ не было существеннаго различія, и „старая“ правда его во всякомъ случаѣ была не очень старая, гораздо моложе правды Фамусовскаго кружка или героевъ Гоголя. Оставляя въ сторонѣ коренное различіе въ способахъ „дѣйствія“ и принадлежность къ различнымъ поколѣніямъ, какъ причины естественныя и историческія, станеть совершенно понятнымъ то утвержденіе, что Гончаровъ, съ его вѣрой въ прогрессъ и науку, съ его признаніемъ началъ свободной жизни, съ его отношеніемъ къ факту освобожденія крестьянъ, отчетливо выраженнымъ въ его авторской исповѣди, былъ весьма близокъ, въ своемъ міросозерцаніи, къ умѣренной, но несомнѣнно либеральной части нашего общества.

---

## XXII.

Отраженіе общественныхъ взглядовъ Гончарова въ полемикѣ съ „новой правдой“ Марка Волохова.—Волоховъ, какъ полемическій отвѣтъ Гончарова современной публицистикѣ.—Изъ воспоминаній Головачевой-Панаевой.

Маркъ—не изъ этого общества, но съ Маркомъ-то и произошло недоразумѣніе у Гончарова.

Маркъ поразилъ художника внѣшней грубостью и своего рода циническимъ фатовствомъ въ проявленіи своей, если можно такъ выразиться, новой идейности. Онъ воровалъ яблоки, зачитывалъ книги, бралъ безъ отдачи деньги, не вѣровалъ въ губернатора и полицію, — за этими признаками, изъ которыхъ только послѣдній развѣ можно было бы отнести на долю „типа“, Гончаровъ не усмотрѣлъ родовыхъ чертъ, изъ которыхъ дѣйствительно складывался чрезвычайно характерный образъ шестидесятника, народника и нигилиста. Значительно позже, въ авторской исповѣди, Гончарову пришлось дать неловкое объясненіе по поводу Марка. По этому объясненію, писатель въ лицѣ Марка менѣе всего хотѣлъ охарактеризовать молодое поколѣніе, „которое бросилось навстрѣчу реформѣ — и туда уложило все силы“. Земскіе дѣятели, работники въ сферѣ крестьянскихъ реформъ, жадно учащаяся молодежь, публицисты—„неужели это все Волоховы?“—восклицаетъ Гончаровъ.

„Нѣтъ, — отвѣчаетъ онъ самъ, — это не Волоховы, а представители новой правды, воцарившейся съ освобожденіемъ крестьянъ и съ другими великими реформами, внесшими новую жизнь въ русское общество“.

Но въ жизни,—замѣчаетъ Гончаровъ, — рядомъ съ правдой уживается ложь: представителемъ этой новой лжи и явился Волоховъ. Таково объясненіе писателя -

Искусственность его сказывается сама собою. Насколько далеко стоялъ Гончаровъ отъ новѣйшихъ вѣяній жизни и насколько недостаточно зналъ истинную сущность новой, если не правды, то программы современнаго ему молодого поколѣнія, видно изъ его неудавшейся попытки представить это поколѣніе образомъ Тушина. Но можно ли повѣрить объясненію писателя, что такая цѣль была у него во время писанія романа, когда у Тушина нѣтъ ни одной характерной черты типа, о которомъ мы говоримъ? Борьба Райскаго, положительнаго, по мысли Гончарова, героя „пробужденія“, съ Маркомъ ведется исключительно изъ-за Вѣры; не будь этого мотива, Райскій и Маркъ не нашли бы между собой принципиальныхъ поводовъ для разлада и навѣрное были бы друзьями, что противорѣчило бы, вѣроятно, признанію за Маркомъ типичности только по отношенію къ нѣкоторой, меньшей и ложно-направленной части молодежи начала шестидесятыхъ годовъ.

Гораздо проще объяснить себѣ дѣло такъ, что въ образѣ Марка Гончаровъ попытался дать отвѣтъ на упреки критики въ отсутствіи чуткости и общественномъ индифферентизмѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, выразить свое мнѣніе о тѣхъ изъ новѣйшихъ теченій въ молодежи, которыя приводили къ такимъ, по его мнѣнію, печальнымъ и уродливымъ явленіямъ, какъ самозванный проповѣдникъ вредныхъ идей—Маркъ Волоховъ. Какъ ни замыкался Гончаровъ въ тѣсный кругъ кабинетной работы, жизнь его „трогала“, а извѣстность, какъ писателя, была слишкомъ велика, чтобы созданіе „Обрыва“ могло совершиться такъ же незамѣтно, какъ созданіе „Обыкновенной исторіи“, даже „Обломова“. Весьма возможно, что Гончарова раздражалъ и успѣхъ романовъ Тургенева, къ славѣ котораго онъ былъ, какъ извѣстно, весьма чувствителенъ, и онъ зналъ, что успѣхъ этотъ основывался въ значительной степени

на чуткости соперника къ нарождающимся явленіямъ русской жизни. И не имѣя въ душѣ задатковъ художческаго влеченія къ постепенному, медленному и любовному созданію этого типа, Гончаровъ присочинилъ его умомъ и воспользовался имъ, какъ мишенью, для выраженія своего раздраженія и досады. Въмѣсто послѣдователей, детальной обрисовки типа, онъ принялъ на себя роль моралиста, въ одно и то же время обвинителя и судьи, и тонъ его рѣчи, неторопливой и плавной, сплошь образной, сдѣлался разсудочнѣе и суше. Послѣдняя страница — сплошное *pro domo sua* самого Гончарова, хотя, по привычкѣ, оно и высказывается отъ имени Райскаго. Къ послѣднему менѣе всего идетъ роль обличителя, навязываемая ему здѣсь Гончаровымъ, но зато становится совершенно понятнымъ негодованіе самого писателя, которому критики, въ родѣ Писарева или Шелгунова, не давали покоя, требуя опредѣленныхъ общественныхъ тенденцій и ясно выраженныхъ нравственныхъ принциповъ. „У большинства,—отвѣчалъ имъ Райскій за Гончарова, — есть *desonnet* принциповъ, а сами принципы шатки и рѣдки, и украшаютъ, какъ ордена, только привилегированныя отдѣльныя личности. У него есть правила!—отзываются такимъ голосомъ о комъ-нибудь, какъ будто говорить: у него есть шишка на лбу“.

„И, пожалуй, засмѣялись бы надъ тѣмъ, кто вадумалъ бы серьезно настаивать на необходимости развитія и разлитія правилъ въ общественной массѣ и обращеніе ихъ въ принципы—такъ же настоятельно и неотложно, какъ, напримѣръ, на необходимости неотложнаго построенія желѣзныхъ дорогъ. *И тутъ же не простили бы ему малѣйшаго упущенія въ умственномъ развитіи:* еслибъ онъ осмѣлился не прочесть послѣдняго французскаго или англійскаго, надѣлавшаго шуму, увража, не зналъ бы какой-нибудь повѣйшей политико-экономической аксіомы, послѣдняго фазиса въ политикѣ или

важнаго открытія въ физикѣ“. Райскому обращать подобныя рѣчи, хотя бы мысленно, было не къ кому и не для чего, но логика ихъ отъ лица Гончарова, котораго все обвиняли, что онъ отсталъ отъ вѣка и не слѣдить за новыми теченіями общественной и умственной жизни, совершенно понятна. По-своему, онъ сдѣлалъ уступку общественному мнѣнію и заодно далъ отповѣдь назойливымъ критикамъ изъ журналовъ и публики, выводившимъ его, изъ обычнаго кабинетнаго самонаблюденія и зарисовыванія, на арену широкой общественной дѣятельности, требующей отзывчивости и подвижнаго нервнаго темперамента.

Недоразумѣніе съ Маркомъ Волоховымъ имѣло и еще одно объясненіе: недостаточность научной подготовки Гончарова для того, чтобы уяснить сложную и противорѣчивую картину борьбы умственныхъ и социальнo-политическихъ теченій, совершавшейся въ его время.

А. Я. Головачева-Панаева, рассказывая о необыкновенномъ успѣхѣ „Обыкновенной исторіи“, когда стали разузнавать настоящую и прошлую жизнь писателя, при чемъ были недовольны сдержанностью Гончарова,—заносятъ, между прочимъ, такой фактъ: „Тургеневъ объявилъ, что онъ со всѣхъ сторонъ „штудировалъ“ Гончарова и пришелъ къ заключенію, что онъ въ душѣ чиновникъ, что его кругозоръ ограничивается мелкими интересами, что въ его натурѣ нѣтъ никакихъ порывовъ, что онъ совершенно доволенъ своимъ мизернымъ міромъ и его не интересуютъ никакіе общественные вопросы: „онъ даже какъ-то боится разговаривать о нихъ, чтобы не потерять благонамѣренность чиновника“.

Конечно, къ отзывамъ Тургенева въ данномъ случаѣ нужно относиться особенно осторожно—оба были болѣзненно самолюбивы въ вопросѣ о литературной извѣстности,—но нѣкоторая правда, думается намъ, была въ этихъ словахъ. Припомнимъ замѣчаніе Еленева о Гончаровѣ, читавшемъ, въ качествѣ цензора, его ру-

копись: „Гончаровъ, съ похвальнымъ усердіемъ ревнуя къ буквѣ закона, неумолимо крестилъ все, какъ то, что, дѣйствительно, можетъ возбуждать нѣкоторое сомнѣніе, такъ еще болѣе то, въ чемъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, пропуская только то, гдѣ именно были самые опасные пункты: слона-то онъ и не замѣтилъ. *Повидимому, онъ весьма мало владѣетъ нашею историческою литературой, не говоря уже о текущей политикѣ*“.

Отзывъ этотъ въ значительной степени подтверждается данными сочиненій Гончарова.

Мы еще вернемся къ Марку Волохову по вопросу о томъ, насколько типиченъ этотъ образъ съ точки зрѣнія психологической и художественной правды. Теперь же для насъ весьма важенъ тотъ фактъ, что при какихъ бы ни было обстоятельствахъ былъ созданъ типъ Марка Волохова и относящаяся къ нему часть сюжета,—на нихъ съ наибольшей яркостью отразилась субъективность писательской натуры Гончарова и существеннѣйшія его черты нѣсколько расплывчатаго, но опредѣленнаго по колориту міросозерцанія. Эта опредѣленность колорита была въ ближайшей зависимости отъ глубины и качества его блестящаго художественнаго дарованія.

---



## XXIII.

Характеристика таланта Гончарова, сдѣланная Добролюбовымъ и Протопоповымъ. — Райскій, какъ воплощеніе взглядовъ Гончарова на искусство. — Жизнь и творчество. — Роль фантазій. — „Страсть, т. е. воображеніе“ въ творческой работѣ.

Художественное дарованіе Гончарова было въ свое время охарактеризовано въ статьяхъ Добролюбова и г. Протопопова.

„Намъ кажется, что въ отношеніи къ Гончарову, болѣе, чѣмъ въ отношеніи ко всякому другому автору, критика обязана изложить общіе результаты, выводимые изъ его произведеній, — писалъ Добролюбовъ. Есть авторы, которые сами по себѣ берутъ этотъ трудъ, объясняясь съ читателемъ относительно цѣли и смысла своихъ произведеній. Иные и не высказываютъ категорически своихъ намѣреній, но такъ ведутъ свой разсказъ, что онъ оказывается яснымъ и правильнымъ олицетвореніемъ ихъ мысли. У такихъ авторовъ каждая страница бьетъ на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять ихъ... Зато плодомъ чтенія ихъ бываетъ болѣе или менѣе полное (смотря по степени таланта автора) *согласіе съ идею*, положенною въ основаніе произведенія. Остальное все улетучивается черезъ два часа по прочтеніи книги. У Гончарова совсѣмъ не то. Онъ вамъ не даетъ, и повидимому не хочетъ дать никакихъ выводовъ. Жизнь, имъ изображаемая, служитъ для него не средствомъ къ отвлеченной философіи, а прямою цѣлью сама по себѣ. Ему нѣтъ дѣла до читателя и, до выводовъ, какіе вы сдѣлаете изъ романа: это ужъ ваше дѣло: ошибетесь—пеняйте на свою близорукость, а никакъ не на автора. Онъ представляетъ вамъ живое изображеніе и ручается только за его сходство съ дѣйствительностью, а тамъ ужъ ваше дѣло опредѣлить степень достоинства изображенныхъ предметовъ: онъ къ этому

совершенно равнодушенъ. У него нѣтъ и той горячности чувства, которая инымъ талантамъ придаетъ наибольшую силу и прелесть. Тургеневъ, напримѣръ, рассказываетъ о своихъ герояхъ, какъ о людяхъ близкихъ ему, выхватываетъ изъ груди ихъ горячее чувство и съ нѣжнымъ участіемъ, съ болѣзненнымъ трепетомъ слѣдитъ за нимъ, самъ страдаетъ и радуется вмѣстѣ съ лицами, имъ созданными, самъ увлекается той поэтической обстановкой, которою любитъ всегда окружать ихъ... И его увлеченіе заразительно: онъ неотразимо овладѣваетъ симпатіей читателя, съ первой страницы приковываетъ къ разсказу мысль его и чувство, заставляетъ и его переживать, перечувствовать тѣ моменты, въ которыхъ являются передъ нимъ Тургеневскія лица. И пройдетъ много времени—читатель можетъ забыть ходъ разсказа, потерять связь между подробностями происшествій, упустить изъ виду характеристику отдѣльныхъ лицъ и положеній, можетъ, наконецъ, позабыть все прочитанное, но ему всетаки будетъ памятно и дорого то живое, отрадное впечатлѣніе, которое онъ испытывалъ при чтеніи разсказа. У Гончарова нѣтъ ничего подобнаго. Талантъ его неподатливъ на впечатлѣнія. Онъ не запоетъ лирической пѣсни при взглядѣ на розу и соловья; онъ будетъ пораженъ ими, остановится, будетъ долго всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой процессъ въ это время произойдетъ въ душѣ его, этого намъ не понять хорошенько... Но вотъ онъ начинаетъ чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь въ неясныя еще черты... Вотъ онѣ отдѣляются яснѣе, яснѣе, прекраснѣе... И вдругъ, неизвѣстно какимъ чудомъ, изъ этихъ чертъ возстаютъ передъ вами и роза, и соловей, со всей своей прелестью и обаяньемъ. Вамъ рисуется не только ихъ образъ, вамъ чуется ароматъ розы, слышатся соловьиные звуки. Пойте лирическую пѣсню, если роза и соловей могутъ возбуждать ваши чувства; художникъ начертилъ ихъ и, довольный

своимъ дѣломъ, отходить въ сторону; болѣе онъ ничего не прибавить... „И напрасно было бы прибавлять,—думаетъ онъ:—если самъ образъ не говоритъ вашей душѣ, то что могутъ вамъ сказать слова?“..

„Въ этомъ умѣньи охватить полный образъ предмета, отчеканить, изваять его—заключается,—продолжалъ Добролюбовъ, — сильнѣйшая сторона таланта Гончарова. И ею онъ превосходитъ всѣхъ современныхъ русскихъ писателей. Изъ нея легко объясняются всѣ остальные свойства его таланта. У него есть изумительная способность — во всякій данный моментъ остановить летучее явленіе жизни, во всей его полнотѣ и свѣжести, и держать его передъ собою до тѣхъ поръ, пока оно не сдѣлается полной принадлежностью художника. На всѣхъ насъ падаетъ свѣтлый лучъ жизни, но онъ у насъ тотчасъ же и исчезаетъ, едва коснувшись нашего сознанія. И за нимъ идутъ другіе лучи отъ другихъ предметовъ, и опять столь же быстро исчезаютъ, почти не оставляя слѣда. Такъ проходитъ вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознанія. Не то у художника: онъ умѣетъ уловить въ каждомъ предметѣ что-нибудь близкое и родственное своей душѣ, умѣетъ остановиться на томъ моментѣ, который чѣмъ-нибудь особенно поразилъ его. Смотри по свойству поэтическаго таланта и по степени его работанности, сфера, доступная художнику, можетъ суживаться или расширяться, впечатлѣнія могутъ быть живѣе или глубже; выраженіе ихъ страстнѣе или спокойнѣе. Нерѣдко сочувствіе поэта привлекается какимъ-нибудь однимъ качествомъ предметовъ, и это качество онъ старается вызывать и отыскивать всюду, въ возможно полномъ и живомъ его выраженіи поставляетъ свою главную задачу, на него по преимуществу тратитъ свою художническую силу. Такъ являются художники, сливающие внутренній міръ души своей съ міромъ внѣшнихъ явленій и видящіе всю жизнь и природу, подъ призмой

господствующаго въ нихъ самихъ настроенія. Такъ, у однихъ все подчиняется чувству пластической красоты, у другихъ по преимуществу рисуются нѣжныя и симпатичныя черты, у иныхъ во всякомъ образѣ, во всякомъ описаніи отражаются гуманныя и социальныя стремленія, и т. д. Ни одна изъ такихъ сторонъ не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствіе и полнота поэтического міросозерцанія. Онъ ничѣмъ не увлекается исключительно, или увлекается всѣмъ одинаково. Онъ не поражается одной стороной предмета, однимъ моментомъ событія, а вертитъ предметъ со всѣхъ сторонъ, выжидаетъ совершенія всѣхъ моментовъ явленія, и тогда уже приступаетъ къ ихъ художественной переработкѣ. Слѣдствіемъ этого является конечно, въ художникѣ болѣе спокойное и безпристрастное отношеніе къ изображаемымъ предметамъ, большая отчетливость въ очертаніи даже мелочныхъ подробностей и равная доля вниманія ко всѣмъ частностямъ разсказа“.

Сжато, но выразительно опредѣляетъ свойства художественнаго дарованія Гончарова и г. Протопоповъ.

„Въ распоряженіи Гончарова имѣлись *всѣ* чисто-эстетическіе, художественные ресурсы, и это не превеличеніе. Вѣрность дѣйствительности? Но это — элементарное достоинство, которымъ обладаютъ даже третьестепенные таланты и безъ котораго не можетъ быть искусства. Живость и яркость изображенія? Но знаменитый *сонъ Обломова* давно и по праву занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ русской галлерей литературной живописи. Типичность образовъ? Еслибы Гончаровъ создалъ одного только Захара (*Обломова*), то и этого было бы достаточно, чтобы признать за нимъ эту способность. Глубина и тонкость психологическаго анализа? Но первая часть *Обломова* лишена всякаго движенія, не только въ смыслѣ развитія фабулы, но просто даже въ смыслѣ физическаго движенія: Обломовъ лежитъ,

Захаръ елѣ двигается, дѣйствіе или, вѣрнѣе, бездѣйствіе происходитъ въ четырехъ стѣнахъ, и, тѣмъ не менѣе, читатель ни разу не почувствуетъ скуки, не замѣтитъ монотонности разсказа, благодаря именно мѣткимъ, тонкимъ и мелкимъ психологическимъ штрихамъ, разсѣяннымъ буквально на каждой страницѣ. Юморъ? Гончарову стоитъ только захотѣть, чтобы заставить васъ улыбнуться. Нельзя не улыбнуться, напримѣръ надъ этой барышнею (*Обыкновенная исторія*), которая такъ отлично училась, что на вопросъ; „какія суть междометія страха или удивленія?“—вдругъ, не переводя духу, проговорила; „ахъ, охъ, эхъ, увы, о, а, ну, эге!“ Или припомните Захара, заливавшагося горячими слезами отъ „жалкихъ словъ“ увѣщавшаго его барина, или Маренинку (*Обрывъ*), которая не утерпѣла надѣть на себя именинные подарки и, сидя на своей кровати, въ одной рубашкѣ, но въ брилліантовыхъ серьгахъ и золотыхъ браслетахъ, плачетъ отъ восторга. Единственное качество, котораго совершенно былъ лишенъ Гончаровъ, это—лиризмъ или паэось, которымъ такъ богаты Гоголь, Достоевскій, Левъ Толстой и даже Салтыковъ, смѣхъ котораго прерывался иногда настоящими рыданиями“...

Но опять-таки самыя подробныя и отчетливыя внѣшнія опредѣленія художественнаго дарованія Гончарова блѣднѣютъ передъ той характеристикой, которую сдѣлалъ онъ самъ въ своихъ романахъ, въ тѣхъ разсужденіяхъ и образахъ, гдѣ воплотились его взгляды на творчество, художника и искусство вообще. Въ этомъ отношеніи полнѣе всего они выразились въ „Обрывѣ“.

Если условно предположить, что въ Петрѣ Ивановичѣ Адуевѣ выразилась дѣловая, служебная сторона личности Гончарова, въ Обломовѣ — домашній обиходъ, отвѣчавшій его склонности къ мечтательному покою и ревнивому обереганію личной жизни отъ толчковъ и

вторженій извнѣ,—то въ образѣ Райскаго нашелъ себѣ выраженіе наиболѣе важный и возвышенный элементъ — воплощеніе художнической натуры писателя. Отъ этого воплощенія нельзя, конечно, требовать всесторонней полноты и фактической точности; многое въ немъ является плодомъ творческаго измышленія художника, но, съ другой стороны, въ немъ нѣтъ ни одной психологической детали, которая была бы введена съ преднамѣреннымъ умысломъ нарушить автобіографическую близость, ни основной черты, которой нельзя было бы разыскать, съ тѣми или иными измѣненіями, въ аналогичныхъ типахъ другихъ романовъ или въ собственныхъ воспоминаніяхъ Гончарова. Здѣсь мы не будемъ останавливаться на сравнительной характеристикѣ Гончарова и Райскаго, какъ и на томъ общественномъ значеніи, какое придавалъ ему Гончаровъ въ качествѣ героя „пробужденія“. Непосредственный интересъ заключается для насъ въ тѣхъ общихъ, преимущественно внѣшнихъ приѣмахъ, изъ которыхъ складывается представленіе о Райскомъ, какъ о художникѣ, и въ которыхъ, можно думать, отразилась личность самого Гончарова.

Райскій—несомнѣнный художникъ въ душѣ и поэтъ по натурѣ. У него природный эстетическій вкусъ и чуткая отзывчивость на все прекрасное, гдѣ бы оно ни встрѣчалось — въ жизни, въ природѣ, въ искусствѣ. Онъ надѣленъ чрезвычайно тонкой и нервной организаціей, въ высшей степени чувствительной ко всякому внѣшнему воспріятію и податливой на впечатлѣнія, — оттого въ немъ такъ неожиданны переходы отъ одной противоположности къ другой, совершающіеся, впрочемъ, легко, безъ болѣзненныхъ разочарованій и недовольства собою.

Фантазія играетъ выдающуюся роль въ творческомъ процессѣ; по высотѣ ея полета иногда можно судить о степени таланта художника. Райскій надѣленъ пылкой

фантазіей, но эта фантазія особаго рода. Она не поднимается высоко отъ земли, не создаетъ сверхъестественныхъ образовъ, поражающихъ мысль и чувство своею грандіозностью или причудливостью сочетаній; она носится надъ жизнью невысоко, рѣдко залетаетъ дальше тѣхъ странъ, куда доносить ее читаемая книга, и, отражая ее, раздвигаетъ это изображеніе вширь, растягиваетъ и обобщаетъ конкретныя явленія. Отъ этого въ творческомъ сознаніи Райскаго жизнь не столько является дѣйствительностью, въ ея реальной сущности, сколько творческой матеріей, „эластичной“, ежеминутно принимающей тѣ или другія формы. Нѣтъ точной границы между жизнью и творчествомъ: жизнь незамѣтно переходитъ въ него, по представленію Райскаго,—но и внѣ творчества точно также нѣтъ жизни. „Онъ все чего-то ждалъ впереди — не зналъ чего, но вздрагивалъ страстно, какъ будто предчувствуя какія-то исполинскія, роскошныя наслажденія, видя тотъ міръ, гдѣ слышатся звуки, гдѣ все носятся картины, гдѣ плещеть, играетъ, бьется другая, заманчивая жизнь, какъ въ тѣхъ книгахъ, а не та, которая окружаетъ его“. На вопросъ Татьяны Марковны, что онъ пишетъ по ночамъ, Райскій искренно отвѣчаетъ, что онъ и самъ не знаетъ: хочетъ писать жизнь—выходитъ романъ, начнетъ писать романъ — выходитъ жизнь... Невольно при этомъ вспоминается и Обломовъ, грустившій о томъ, что сказка не жизнь, а жизнь—не сказка...

Свое отношеніе къ жизни Райскій переноситъ и въ область искусства; онъ такъ же смѣется и плачетъ по поводу имъ же вызванныхъ образовъ, такъ же страдаетъ и радуется, живетъ ихъ радостями и скорбями, какъ и въ томъ случаѣ, еслибы эти образы стали живыми людьми, и онъ былъ бы связанъ съ ними узами живого непосредственнаго участія въ ихъ положеніи и дѣлахъ.

Въ „Обрывѣ“ есть, между прочимъ, такая сцена: зубоскаль Егорка заглядываетъ, сквозь дверную щель,

въ комнату Райскаго въ то время, какъ Райскій, увлеченный страстнымъ желаніемъ воплотить жизнь въ творческія формы, набрасываетъ страницы для будущаго романа и весь отдается ощущеніямъ своихъ героевъ. Егорка видитъ нѣчто странное и дѣлится шопотомъ своими впечатлѣніями съ дворовыми.

Всѣ смотрѣли по очереди въ щель.

„Глядите, глядите, какъ заливается, плачетъ никакъ!—говорилъ Егорка, толкая то одну, то другую къ щели.

— Взаправду плачетъ, сердечный!—сказала жалостно Матрена.

— Да не хохочетъ ли?—И такъ хохочетъ! Смотрите, смотрите!

Всѣ трое присѣли и всѣ захихикали“...

А вотъ что рассказываетъ очевидецъ о своихъ встрѣчахъ, съ Гончаровымъ:

„Въ другой разъ я видѣлъ Гончарова другимъ человекомъ, въ третій—третьимъ, уже совсѣмъ не похожимъ на перваго и втораго, и чѣмъ больше въ него всматривался, тѣмъ больше казался онъ мнѣ непонятнымъ и неуловимымъ: онъ по-петербургски могъ въ одно и то же время смѣяться и плакать, шутить и важно говорить. Все это, конечно, отъ того, что такъ счастливо сложилась его жизнь“...

Объясненіе довольно искусственное, но фактъ самъ по себѣ любопытный...

Искусство и жизнь являются у Райскаго рядомъ не случайно. Автобіографическій элементъ — необходимое условіе его творчества. По понятіямъ Райскаго, написать романъ значитъ слить свою жизнь съ тѣмъ, что, по выраженію Гончарова, къ ней приростало: „смѣшать свою жизнь съ чужой, занести эту массу наблюденій, мыслей, опытовъ, портретовъ, картинъ, ощущеній, чувствъ“... Свои художническія требованія Райскій переноситъ въ жизнь и на послѣднюю смотритъ почти исключительно



съ эстетической точки зрѣнія, радуясь тѣмъ явленіямъ, на которыхъ лежала печать красоты, и оскорбляясь разладомъ дѣйствительности съ идеаломъ. Въ творческомъ процессѣ Райскій блаженствуетъ и мучится въ одно и то же время—„радостями и муками и челоуѣка, и художника, не зная самъ, гдѣ является одинъ, когда исчезаетъ другой, и когда оба сливаются“. Подмѣчая въ отношеніяхъ къ нему Вѣры насмѣшливыя нотки, онъ огорчается до глубины души не только какъ влюбленный, чувствующій въ тонѣ ея рѣчей насмѣшку надъ его любовью, но и какъ художникъ, обманутый въ своихъ стремленіяхъ къ идеаламъ, въ попыткахъ воплотить въ стройномъ созданіи высочайшіе порывы своихъ думъ. „Онъ сталъ писать дневникъ. Полились волны поэзіи, импровизаціи, полныя, то нѣжнаго умиленія и поклоненія, то живой, ревнивой страсти и всѣхъ ея бурныхъ и горячихъ воплей, пѣсенъ, мукъ, счастья“....

Самый процессъ работы былъ въ высшей степени увлекателенъ для Райскаго, „какъ процессъ *неумогиленаго* творчества, гдѣ передъ его глазами пестрымъ узоромъ неслись его собственныя мысли, ощущенія, образы“... Жизнь неизмѣнно вторгалась въ его работу и напоминала о себѣ конкретными образами. „Листки эти, однако, мѣшали ему забыть Вѣру, чего онъ искренно хотѣлъ, и питали *страсть, т. е. воображеніе*“...

Послѣднее поясненіе особенно важно. Страсть здѣсь является въ томъ высшемъ значеніи, которое уже было отмѣчено нами. Поднимаясь надъ жизнью, порождая мечты и порывы къ идеалу, она переходитъ въ кипѣніе творческихъ силъ и знаменуетъ собою то особое возвышенно-тревожное и просвѣтленное состояніе духа, при которомъ жизнь представляется лучшею, чѣмъ она есть въ дѣйствительности, и куда отраднѣе уйти отъ суеты и заботъ реального переживанія повседневныхъ будней. Такое состояніе духа въ прежнее время любили обозначать классическимъ именемъ „*паоосъ*“; относительно

Райскаго это слово не теряло своего прежняго значенія.

Въ трезвыя минуты, когда Райскій спускался съ облаковъ и умѣлъ находить для своей рѣчи выраженія ясныя и точныя, онъ объяснялъ тайну творчества значительно проще. „Все зависитъ отъ красокъ и немногихъ соображеній ума, яркости воображенія и своеобразія во взглядѣ. Немного юмора, да чувства, и искренности, да воздержанности, да... поэзіи... да еще одно,—спохватывается Райскій—это—талантъ“... Въ поэзіи, въ талантѣ былъ весь секретъ творческой натуры Райскаго; въ Александрѣ Адуевѣ все было, кромѣ таланта, и оттого всѣ его творческія усилія не приводятъ ни къ чему. „Въ тебя вложили побужденія, а самое творчество, видно, и забыли вложить“, говоритъ ему Петръ Ивановичъ. Если „самое творчество“, талантъ, поэзія является могучей, самодовлѣющей и таинственной силой, не поддающейся внѣшнему учету, то въ ряду соображеній ума на первомъ планѣ стоитъ непосредственное наблюденіе, способность инстинктивно угадывать наиболѣе характерную черту наблюдаемаго явленія. Въ стремленіи уловить сложныя и разнообразныя впечатлѣнія жизни, отражающіяся въ душѣ художника, Райскій отъ разговоровъ съ окружающими его людьми бросается къ своимъ тетрадямъ и лихорадочно исписываетъ ихъ эскизами, замѣтками, сценами и рѣчами. Собирая матеріалы для будущаго романа, Райскій не упускаетъ изъ виду ни одной детали, ни одного ощущенія, въ которомъ отдавалъ себѣ отчетъ, какъ художникъ. „Сцены, характеры, портреты родныхъ, знакомыхъ и друзей, женщинъ передѣлывались у него въ типы, и онъ исписалъ цѣлую тетрадь, носилъ съ собой записную книжку, и часто въ толпѣ, на вечерѣ, за обѣдомъ, вынималъ клочекъ бумаги, карандашъ, чертилъ нѣсколько словъ, пряталъ, вынималъ опять и записывалъ, задумываясь, забываясь, останавливаясь на полусловѣ“... Бросаясь отъ ощущенія къ ощущенію,

Райскій, по словамъ Гончарова, ловилъ явленія, берегъ и задерживалъ впечатлѣнія почти силою и все чего-то искалъ, къ чему-то стремился, комбинируя и соображая. Въ папкахъ Райскаго были самые разнообразные матеріалы, лирическія изліянія, налету схваченныя выраженія, юношескіе опыты, даже чужія письма. „Райскій пришелъ къ себѣ и началъ съ того, что списалъ письмо Вѣры слово въ слово въ свою программу, какъ матеріалъ для характеристики“... „Въ краткомъ очеркѣ изобразилъ и Тычкова Райскій въ программѣ своего романа, и *самъ не зналъ — зачѣмъ*“...

Все это было лишь подготовительной работой для творчества, которое должно наступить, казалось Райскому, впоследствии. Отдаленіе отъ пережитыхъ впечатлѣній и ощущеній представлялось ему необходимымъ условіемъ художественности изображенія. „Потомъ, говорилъ онъ, — вдалекѣ, когда отодвинусь отъ этихъ лицъ, отъ своей страсти, отъ всѣхъ этихъ драмъ и комедій, — картина ихъ виднѣе будетъ издалика. Даль одѣнетъ ихъ въ лучи поэзіи; я буду видѣть одно чистое созданіе творчества, одну свою статую, безъ примѣси реальныхъ мелочей“...

Такимъ является Райскій, какъ художникъ-дилетантъ, и подобныхъ ему, по воспоминаніямъ Гончарова, было не мало въ современномъ ему обществѣ. Онъ даже называлъ ихъ по именамъ: то были—гр. Віельгорскій, Тютчевъ, кн. Одоевскій. По глубинѣ таланта, Гончарова нельзя поставить съ ними на одномъ уровнѣ, но по художническимъ приемамъ, по отношенію къ процессу творчества и по взглядамъ на искусство Гончаровъ могъ къ отмѣченнымъ параллелямъ прибавить и свое имя.

---

## XXIV.

[Взгляды Гончарова на искусство].—Двѣ категоріи художниковъ.—Избытокъ фантазіи и таланта надъ идейной стороною художественнаго замысла.—Процессъ творческой работы Гончарова.—„Застой и скука жизни“, какъ основной предметъ его изображеній.—Переходъ жизни въ творчество.

Въ своей авторской исповѣди Гончаровъ проводитъ границу между двумя типами художниковъ: у однихъ умъ преобладаетъ надъ фантазіей и чувствомъ,—„тогда идея высказывается рѣдко помимо образа, и если талантъ не силенъ, она заслоняетъ образъ и является тенденціею“. Созданія такихъ писателей бываютъ не рѣдко сухи, блѣдны. Они учатъ и увѣряютъ болѣе, чѣмъ шевелятъ воображеніе и чувство. Сочувствіе Гончарова было не на ихъ сторонѣ.

У другихъ—наоборотъ: избытокъ фантазіи и таланта надъ умомъ заставляетъ образъ поглощать въ себя значеніе, идею, но зато картина говоритъ за себя и таитъ въ себя сокровенный смыслъ, неясный вначалѣ самому художнику и раскрывающійся позже съ помощью тонкихъ критическихъ истолкователей, „какими были Бѣлинскій и Добролюбовъ“.

И Райскій, и Гончаровъ, принадлежатъ, несомнѣнно, ко второй категоріи. Послѣдній такъ и говоритъ о себѣ, причемъ сознается, что онъ увлекается больше всего своей „способностью рисовать“. „Рисуя, я рѣдко знаю въ ту минуту, что значить мой образъ, портретъ, характеръ: я только вижу его живымъ, передъ собою—и смотрю, вѣрно ли я рисую, вижу его въ дѣйствии съ другими—слѣдовательно, вижу сцену и рисую тутъ этихъ другихъ, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполне, какъ вмѣстѣ свяжутся всѣ, пока разбросанныя въ головѣ, части цѣлаго. Я

спѣшу, чтобъ не забыть, набрасывать сцены, характеры, на листкахъ, клочкахъ — и иду впередъ, какъ будто оцупью, пишу сначала вяло, неловко, скучно (какъ начало въ „Обломовѣ“ и „Обрывѣ“), и мнѣ самому бываетъ скучно писать, пока вдругъ не хлынетъ свѣтъ и не освѣтитъ дороги, куда мнѣ идти. У меня всегда есть одинъ образъ и вмѣстѣ главный мотивъ: онъ-то и ведетъ меня впередъ—и по дорогѣ я нечаянно захватываю, что попадается подъ руку, т.-е., что близко относится къ нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успѣваетъ писать, пока опять не упрюсь въ стѣну. Работа, между тѣмъ, идетъ въ головѣ, лица не даютъ покоя, пристають, позируютъ въ сценахъ, я слышу отрывки ихъ разговоровъ—и мнѣ часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носитъ въ воздухѣ около меня, и мнѣ только надо смотреть и вдумываться“.

Не таковъ ли и Райскій съ своей погоней за впечатлѣніями и стремленіемъ отдавать себѣ художественный отчетъ въ томъ, что пережито и перечувствовано, съ своей фантазіей, варьирующей болѣе воспоминанія прошлаго, чѣмъ творящей новыя формы? „Онъ (Райскій) закроетъ глаза и хочетъ поймать, о чемъ онъ думаетъ, но не поймаетъ: мысли являются и утекаютъ, какъ волжскія струи: только въ немъ, точно поетъ ему какой-то голосъ, и въ головѣ, какъ въ какомъ-то зеркалѣ, стоитъ та же картина, что передъ глазами“.

Картина эта по отношенію къ Гончарову заключала въ себѣ прежде всего его самого, а затѣмъ среду, въ которой онъ родился, воспитывался и жилъ. Гончаровъ признается, что „все это, *помимо его сознанія*, само собою отразилось въ его воображеніи, какъ отражается въ зеркалѣ пейзажъ изъ окна“. Какъ Райскій инстинктивно схватывалъ въ своихъ портретахъ сходство съ оригиналомъ, такъ и Гончаровъ писалъ по преимуществу инстинктомъ, „глядя то въ себя, то вокругъ“. Для

Гончарова важно было лишь то, чтобы образъ былъ вѣренъ характеру. Если въ этомъ направленіи творческая работа совершается правильно и естественно, т.-е. инстинктивно, то образъ непременно восприметъ въ себя черты обобщенія и типа; если же образы типичны, то въ нихъ, по мнѣнію Гончарова, непременно отразится и эпоха, изъ которой они взяты: явленія общественной жизни, нравы и бытъ. Но, стремясь къ обобщенію, которое было для него „второю натурою“, Гончаровъ, по его собственному выраженію, ничего не *выдумывалъ*: не онъ, а происходившія на глазахъ всѣхъ явленія обобщали его образы.

„Есть два типа писателей, говоритъ Д. С. Мережковский въ „Вѣчныхъ спутникахъ“: одни, какъ Лермонтовъ, Байронъ, Достоевскій, съ жадностью и тревогой смотреть впередъ, не могутъ ни на чемъ остановиться, идутъ къ неизвѣстному, не любятъ и не знаютъ прошлаго, стремятся уловить еще не сознанныя чувства, горятъ, волнуются, негодуютъ и умираютъ, непримиренные.

„Другіе, какъ Вальтеръ-Скоттъ и Гончаровъ, смотрятъ съ благодарностью назадъ, подолгу и съ любовью останавливаются на *завершенныхъ* формахъ дѣйствительности, предпочитаютъ прошлое — будущему, извѣстное—неизвѣстному, тихія глубины жизни—взволнованной поверхности, любятъ, какъ на высотахъ меркнуть послѣдніе лучи заката, и жалѣютъ угасшаго дня.

„Они понимаютъ *поэзію прошлаго*.

„Въ *прошломъ* находится для Гончарова источникъ свѣта, озаряющаго созданные имъ характеры. Чѣмъ ближе къ свѣту, тѣмъ они ярче. Безсмертные образы — бабушка, Марѣинька, крѣпостная дворня, хозяйка Обломова, мать Адуева—все это люди прошлаго, совсѣмъ или почти совсѣмъ не тронутые современностью. Въ переходныхъ типахъ, какъ въ Райскомъ, въ Александрѣ

Адуевъ, все-таки ярче сторона, обращенная къ свѣту, т. е. къ прошлому, къ воспитанію, воспоминаніямъ дѣтства, къ родной деревнѣ.

„Современность представляется Гончарову сѣрымъ и дождливымъ петербургскимъ утромъ; отъ нея вѣетъ холодомъ; въ ея тускломъ свѣтѣ потухаютъ всѣ краски поэзіи и являются мертвыя, нехудожественныя фигуры,—Штольцъ въ *Обломовѣ*, дядя въ *Обыкновенной Исторіи* Тушинъ въ *Обрывѣ*.

„Люди будущаго кажутся призраками въ сравненіи съ живыми людьми прошлаго“.

Однако, изъ этихъ явленій, которыя наблюдалъ Гончаровъ, далеко не всѣ поддавались его творческой кисти. Съ одной стороны, идя вслѣдъ за вѣкомъ, онъ отражалъ въ своей фантазіи и мысли новыя вѣянія, а съ другой—подъ перо просились старыя, устоявшіяся формы, и для него казалось необходимымъ отойти на значительное разстояніе отъ предмета изображенія. Трудно и, по его признанію, просто нельзя рисовать съ жизни, „еще не сложившейся, гдѣ формы ея не устоялись, лица не наслоились въ типы... можно въ общихъ чертахъ намекать на идею; но писать самый процессъ броженія нельзя“. Новые люди могутъ отражаться, по мнѣнію Гончарова, лишь въ мелкихъ произведеніяхъ—сатирахъ, легкихъ очеркахъ, а не въ большихъ „эпическихъ“ романахъ.

Въ „Обрывѣ“ есть страницы, наглядно передающія таинственный переходъ жизни въ творчество, раскрашивание мутныхъ и сѣрыхъ явленій дѣйствительности радужными красками фантазіи. Одна изъ подобныхъ страницъ поразительна по тонкости рисунка, вышитаго по ярко бьющей въ глаза, хотя смягченной обобщеніемъ, автобіографической канвѣ. Райскій, не устоявъ противъ внезапно обрушившихся на него чаръ Ульяны Андреевны, жены Леонтія, и утѣшая себя тѣмъ, что у человѣка нѣтъ воли, а есть параличъ воли, вернулся

домой, съ аппетитомъ пообѣдалъ, къ большому удовольствію бабушки, и почувствовалъ въ себѣ позывъ къ творческой работѣ. „Эту главу (любовный эпизодъ) въ романѣ надо выпустить, подумалъ онъ, принимаясь вечеромъ за тетради, чтобы дополнить очеркъ Ульяны Андреевны... а зачѣмъ? лгать, притворяться, становиться на ходули. Не хочу, оставляю какъ есть, смягчу только это свиданіе... прикрою нимфу и сатира гирляндой“... Затѣмъ Райскій углубляется въ свой романъ. „Передъ нимъ какъ будто проходила его собственная жизнь, разорванная на какіе-то клочки“.

Но Райскій недолго остается на почвѣ художественной правды. Изъ-за его спины выступаетъ Гончаровъ и заставляетъ его сдѣлать неестественный шагъ въ сторону и заговорить—для Райскаго совершенно неожиданно—о читателяхъ, публикѣ, критикѣ. Авторъ рѣшительно забылъ, что Райскій, въ качествѣ типа, есть только дилеттантъ-художникъ, не выходившій за предѣлы эскизовъ и этюдовъ, что онъ никогда ничего не печаталъ и, стало быть, не имѣлъ дѣла ни съ публикой, ни съ критикой. Но самому Гончарову къ тому времени, когда онъ писалъ своего Райскаго, не разъ ставили на видъ, что онъ пишетъ съ себя, — съ его стороны было вполне естественно оградить себя отъ слишкомъ пристального взглядыванія въ личныя основы, служившія родовыми чертами при нарастаніи расширенныхъ и обобщенныхъ особенностей типа. „Но вѣдь иной недогадливый читатель подумаетъ, что я самъ такой, и только такой! сказалъ онъ (Райскій), перебирая свои тетради: — онъ не сообразить, что это не я, не Карпъ, не Сидоръ, а типъ; что въ организмѣ художника совмѣщаются многія эпохи, многія разнородныя лица... Что я стану дѣлать съ ними? Куда дѣну еще десять, двадцать типовъ?“.. Рискаю выслушать упрекъ въ недогадливости, мы полагаемъ, однако, что не сдѣлаемъ большой ошибки, если отнесемъ эти слова непосредственно къ



Гончарову и замѣтимъ, что типичность образовъ въ вопросѣ объ ихъ постепенномъ созданіи не только не препятствуетъ, но предполагаетъ необходимымъ внимательное изученіе могущихъ оказаться въ основѣ психологическихъ или индивидуально-бытовыхъ чертъ самого художника.

Райскій не одинъ разъ собирается уѣхать изъ усадьбы, гдѣ онъ пережилъ столько сложныхъ ощущений, съ тѣмъ, чтобы написать картину застоя, сна и скуки. „Вѣдь жизнь многостороння и многообразна, и если, думалъ онъ, и эта широкая и голая, какъ степь, скука лежитъ въ самой жизни, какъ лежать въ природѣ безбрежные пески, нагота и скудость пустынь, то и скука можетъ и должна быть предметомъ мысли, анализа, пера или кисти, какъ одна изъ сторонъ жизни: что-жъ, пойду, и среди моего романа вставлю широкую и туманную страницу скуки: этотъ холодъ, отвращеніе и злоба, которые вторглись въ меня, будутъ красками и колоритомъ... картина будетъ вѣрна“...

„Натура моя отзывается на все, говоритъ онъ Аянову: только разбуди нервы—и пойдетъ играть!“ И онъ признается тутъ же, что онъ можетъ искренно проповѣдывать всюду, гдѣ замѣтить ложь, притворство, злость, словомъ—отсутствіе красоты, нужды нѣтъ, что самъ онъ, по его выраженію, бываетъ безобразенъ. Поражать отсутствіе красоты—это уже цѣль; хотя она и не далеко ушла отъ искусства для искусства, но для Райскаго и этой цѣли достаточно, чтобы оправдать его намѣреніе написать романъ, картину сна и застоя.

Изображеніе подобныхъ картинъ, знакомыхъ Гончарову съ дѣтства, было основнымъ предметомъ его творчества; именно на этихъ картинахъ проявило себя въ полномъ блескѣ его художественное мастерство. Общественное значеніе ихъ установилось не сразу, между тѣмъ какъ картины, сами по себѣ живыя, полныя, естественныя, дѣйствовали на читателя непосредственно и

подчиняли его своему обаянію. Гончаровъ сознается, что онъ былъ счастливъ, когда созданное имъ воплощеніе сна, застоя, неподвижной и мертвой жизни, „переползаніе изъ дня въ день“, было найдено вѣрнымъ, а въ это воплощеніе, по его собственному признанію, было вложено „дѣйствительно много личнаго, интимнаго, т. е. своего и себя самого“. Онъ могъ писать только то, что было близкимъ и роднымъ ему, къ чему чувствовалъ „кровную“ любовь. Талантъ былъ послушнымъ орудіемъ въ его рукахъ всюду, гдѣ онъ направлялъ его на изображеніе своего „я“, независимо отъ той или другой формы типичности или обобщенія. Но тотъ же талантъ рѣшительно оставлялъ писателя, какъ только Гончаровъ начиналъ изображать несимпатичное ему явленіе и къ изображенію подходилъ не отъ инстинкта, а отъ идеи. Тогда онъ впадалъ въ несвойственный ему публицистическій тонъ, становился резонеромъ и, будучи безсиленъ сдѣлать образъ послушнымъ выраженіемъ предвзятой идеи, приходилъ къ созданію лишенныхъ типичности, а слѣдовательно и общественнаго значенія, фигуръ. Таковъ Маркъ Волоховъ, таковъ же и сухой и безжизненный художникъ Кириловъ, съ его отвлеченной проповѣдью искусства, которое должно быть „строгое“, которому художникъ долженъ отдать все, „исповѣдуя одно ученіе, чувствуя одно чувство, испытывая одну страсть къ искусству“... Если подобныя рѣчи не кажутся сплошь проникнутыми схоластикой профессиональнаго фанатизма, то развѣ потому, что въ нихъ мелькаютъ неясные отзвуки искреннихъ и горячихъ статей Бѣлинскаго о значеніи искусства и роли художника въ жизни. Сколько, въ самомъ дѣлѣ, было милаго стараго романтизма въ тѣхъ словахъ, которыми *опытный* редакторъ, въ „Обыкновенной исторіи“, пытался образумить Александра Адуева: „Скажите же вашему protégé (писалъ онъ Петру Ивановичу по поводу повѣсти Александра), что писатель тогда

только напишетъ дѣльно, когда не будетъ находиться подъ вліяніемъ личнаго увлеченія и пристрастія. Онъ долженъ обзрѣвать покойнымъ и свѣтлымъ взглядомъ жизнь и людей вообще,—иначе выразить только свое я, до котораго никому нѣтъ дѣла“. Странно — не правда ли?—встрѣчать именно у Гончарова подобныя разсужденія, всецѣло навѣяанныя Бѣлинскимъ...

Гончаровъ, впрочемъ, зналъ, кажется, фанатиковъ искусства, подобныхъ Кириллову. Объ одномъ изъ нихъ разсказываетъ г. Потанинъ. „Одинъ только человѣкъ въ Симбирскѣ, Дмитрій Ивановичъ Минаевъ (отецъ нашего сатирика Дмитрія Дмитриевича), не сходилъ съ Гончаровымъ въ убѣжденіяхъ относительно нашей литературы, но это, конечно, потому, что Дмитрій Ивановичъ «нѣсть отъ міра сего»: у него былъ свой особенный взглядъ на литературу. Поэзію, напримѣръ, онъ боготворилъ и поклонялся ей, какъ римлянинъ богу своему Аполлону. Она была вторая религія Дмитрія Ивановича и, по понятіямъ его, должна была проповѣдывать міру только одно святое, великое и прекрасное. Писателей, которыхъ онъ признавалъ «истинными талантами», онъ называлъ «гражданскими апостолами» и «пророками» и этимъ вмѣнялъ въ обязанность писать только добро, истину и духовное просвѣщеніе. Съ такимъ суровымъ взглядомъ на писателей натуральной школы, онъ ненавидѣлъ даже несчастнаго Гоголя, называлъ его «скверный пачкуля»... Понятно, что такой суровый литературный аскетъ не могъ сойтись съ Гончаровымъ“.

Не задаваясь никакими теоретическими цѣлями въ этой области, Гончаровъ, тѣмъ не менѣе, служилъ искусству всю жизнь и отдалъ ему лучшее, что было въ его распоряженіи: чуткое сердце и высшіе порывы своей мысли. Въ огромномъ трудѣ, положенномъ на воплощеніе своего органическаго влеченія къ искусству, Гончаровъ испыталъ величайшее наслажденіе—

проявить свою личность во всей полнотѣ, какая только можетъ быть доступна художнику. И можно съ увѣренностью сказать — до тѣхъ поръ, пока художественная правда картинъ Гончарова будетъ служить неостывающему интересу къ пережитой имъ великой эпохѣ, его личность будетъ привлекать къ себѣ вниманіе, какъ личность писателя, которому удалось, благодаря оригинальнымъ особенностямъ таланта, сдѣлать присущія ей индивидуальныя черты выраженіемъ типичнѣйшихъ явленій общественной жизни.

---

## XXV.

[Чужая жизнь въ произведеніяхъ Гончарова].—Невольное стремленіе писателя угадывать родственныя черты внѣшняго міра.—Степень типичности въ изображеніяхъ различныхъ явленій внѣшняго міра.— „Господа и слуги“.

Въ своей авторской исповѣди, отвѣчая на предложенія друзей описать то или иное событіе, такую-то жизнь, или такого или другого героя или героиню, Гончаровъ писалъ: „Не могу, не умѣю! То, что не выросло и не созрѣло во мнѣ самомъ, чего я не видѣлъ, не наблюдалъ, чѣмъ не жилъ,—то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунтъ, какъ есть своя родина, свой родной воздухъ, друзья и недруги, свой міръ наблюденій, впечатлѣній и воспоминаній,—и я писалъ только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ—словомъ, писалъ и свою жизнь, и то, что къ ней приростало“.

Въ предыдущихъ очеркахъ мы сдѣлали попытку разобраться въ вопросѣ о значеніи фактовъ личной жизни для характеристики творчества нашего писателя. Не касаясь давно уже рѣшеннаго вопроса о художественномъ и общественномъ значеніи его произведеній, мы ставили своей задачей раскрыть, среди широкихъ

обобщеній, черты, приводившія къ уясненію личности писателя, и установить связь между ними и конкретнымъ содержаніемъ его творчества, изображеніемъ эпохи, характеровъ и основныхъ идей. Какой бы смыслъ ни приобрѣтали эти изображенія въ ихъ окончательномъ видѣ, испытавшемъ болѣе всего вліяніе сильнѣйшей стороны Гончаровскаго таланта—обобщенія,—намъ представлялось несомнѣннымъ, что въ его манерѣ полу-бессознательно набрасывать все, что ни попадаетъ подъ руки, изображеніе „я“ стояло всегда на первомъ планѣ. Было ли это предметомъ инстинктивной и, можетъ быть, случайной работы художника подѣ вліяніемъ непредназначеннаго влеченія къ чистому искусству, или же въ этомъ выразилось сознательное стремленіе воплотить свою жизнь и свою личность въ художественномъ произведеніи, сдѣлавъ ее интересной для другихъ,—рѣшить трудно, но едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что личность Гончарова и его жизнь давали основное содержаніе и характеръ его твореніямъ. Это обстоятельство объясняетъ поражающее однообразіе въ изображеніяхъ обстановки, быта, міросозерцанія героевъ и, наконецъ, пріемовъ художнической техники.

Спеціально субъективное отношеніе Гончарова къ изображаемому выразилось у него и въ картинахъ чужой жизни. Чужая жизнь людей вообще, со всѣмъ разнообразіемъ характеровъ, внѣшнихъ и внутреннихъ положеній, условій жизни, пестротой, сочетаніемъ жизненныхъ тоновъ и красокъ, калейдоскопомъ радости и скорби, высокаго и пошлаго въ той нераздѣльной, вихремъ кружащейся суетѣ, въ которой живетъ современный человѣкъ, колеблясь надъ гранью личныхъ стремленій и общественныхъ запросовъ. Гончаровъ значительно суживаетъ это понятіе; чужая жизнь для него—это та жизнь, которая „приростала“ къ его личной жизни, и прежде всего тѣ люди, съ которыми

онъ приходилъ въ соприкосновеніе, сначала у себя на родинѣ, дома, а потомъ въ сферѣ служебныхъ и общественныхъ отношеній.

Задачей дальнѣйшихъ очерковъ является опредѣленіе роли и значенія именно этой собирательно называемой Гончаровымъ „чужой“ жизни въ его произведеніяхъ.

Мы уже привели то мѣсто, гдѣ Райскій говорить, что для него написать романъ значить смѣшать свою жизнь съ чужою, занеся на бумагу массу наблюденій, мыслей, опытовъ, портретовъ, картинъ, ощущеній, чувствъ—*une mer à boire*“ (любимое выраженіе Гончарова). Тутъ же онъ замѣчаетъ вскользь, что для романа необходимо „раздраженіе“, очевидно въ смыслѣ извѣстнаго нервнаго подъема, съ элементомъ того, что на языкѣ поэтовъ зовется вдохновеніемъ. „Немного юмора, да чувства и искренности, да воздержности, да... поэзіи“ — такъ опредѣляетъ Райскій то, что ему нужно, какъ художнику, въ дополненіе къ немногимъ ображеніямъ ума, яркости фантазіи и своеобразности во взглядѣ. Въ романъ, по его словамъ, укладывается вся жизнь, и цѣликомъ, и по частямъ.—„Своя или чужая?“—спрашиваетъ Аяновъ, къ которому обращаетъ свою рѣчь Райскій, — ты этакъ, пожалуй, всѣхъ насъ вставишь“... Чужая жизнь вносила освѣжающую струю въ творчество Гончарова; впечатлѣнія внѣшняго міра разнообразили и усложняли подогрѣтый воображеніемъ узоръ собственной жизни; они—„вспрыскивали“ его, какъ живой водой, и, сталкиваясь съ чужими радостями и скорбями, онъ спускался съ высотъ фантазіи на землю и, наблюдая ихъ, „отрезвлялся, какъ отъ хмеля“. Съ другой стороны, для изображенія чужой жизни необходимъ былъ широкій личный опытъ, вдумчивое самонаблюденіе. „Надо,—говоритъ Райскій о значеніи страсти для творчества,—чтобы я не глазами, на чужой кожѣ, а чтобы

собственными нервами, костями и мозгомъ костей вытерпѣлъ огонь страсти, и послѣ—желчью, кровью и потомъ написалъ картину ея, эту геенну людской жизни“.

Наблюдательность, присущая Гончарову въ высокой степени, направлялась не одинаково на явленія внѣшней жизни. Изъ множества разнообразныхъ явленій она отбирала только нѣкоторыя, родственныя душѣ писателя, затѣмъ сосредоточивала на нихъ все вниманіе, приводила къ тщательному изученію и, отбрасывая все частное и случайное, подвергала процессу обобщенія и служила источникомъ типичности. Стремленіе угадывать въ окружающемъ мірѣ родственныя черты даетъ наглядное объясненіе тому факту, почему въ общей массѣ изображеній далеко не всѣ отличаются свойствами типичности. И въ окружающемъ мірѣ Гончаровъ какъ бы искалъ отраженія своей личности, инстинктивно стараясь собрать аналогичныя явленія, понятныя уму и близкія сердцу.

Кажется, мы можемъ считать установленнымъ тотъ фактъ, что всѣ герои произведеній Гончарова живутъ въ одной и той же обстановкѣ, въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ матеріальныхъ, общественныхъ и духовныхъ. Не трудно замѣтить, что представители чужой—по отношенію къ Гончарову—жизни находятся или въ условіяхъ тождественныхъ съ главными героями, или же настолько близкихъ, что при сравненіи всего менѣе можетъ явиться мысль о контрастѣ. Гончаровъ изображаетъ помѣщиковъ, чиновниковъ, неслужащихъ дворянъ, аристократовъ, дамъ и дѣвицъ, но всѣ они рисуются обыкновенно на одномъ общемъ фонѣ, и, напримѣръ, изображеніе какого-нибудь графа Новинскаго или старухъ Пахотиныхъ нисколько не даетъ понятія объ аристократическомъ бытѣ вообще, о взглядахъ такъ называемаго высшаго сословія, какъ и изображеніе Козлова—о бытѣ провинціального учителя. Двухъ міровъ здѣсь



нѣтъ: какъ „Обломовъ“ Штольцъ является изъ какого-то своего, невидимаго читателю міра, остается столько времени, сколько надо для хода романа, и затѣмъ исчезаетъ въ пространство,—такъ и въ „Обрывѣ“ Аяновы, Титы Никоньичи, Викентьевы появляются на сценѣ не самостоятельно, въ смыслѣ отраженія среды, но лишь въ тѣхъ или иныхъ отношеніяхъ къ главнымъ лицамъ романа. Сводя все къ единству, можно замѣтить, что наибольшей типичностью проникнута та обстановка, для которой наиболѣе подходящимъ заглавіемъ было бы: „Господа и слуги“.

Въ этомъ отношеніи Татьяна Марковна Бережкова, съ окружающей ее крѣпостной обстановкой, стоитъ на первомъ планѣ. Образъ этотъ вышелъ чрезвычайно типичнымъ, настолько, что Гончаровъ не задумался придать ему даже символическій смыслъ: въ немъ воплотилась, какъ онъ думалъ въ послѣдствіи, старая консервативная русская жизнь. Однако, при всей типичности этого образа, едва ли можно смотрѣть на него глазами Гончарова. Бабушка—символь слишкомъ блѣдный для того, чтобы отразить всѣ стороны до-реформенной русской дѣйствительности, и въ самомъ романѣ авторъ не придавалъ ей этого всеобъемлющаго значенія. Къ такому обобщенію, сдѣланному гораздо позже, могли подать поводъ заключительныя слова романа о томъ, что изъ головы Райскаго, когда онъ путешествовалъ въ Италіи, не выходили три фигуры: Вѣра, Марѣинька и бабушка,—„а за ними, говорилось тамъ, стояла и сильнѣе ихъ влекла къ себѣ еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка — Россія“. Мысль вполне понятная и естественная для Райскаго, котораго потянуло, вѣроятно, на родину. Но Гончаровъ едва ли могъ воспользоваться этой мыслью и ввести символическій оттънокъ раньше, чѣмъ опредѣлился общественной характеръ романа.



## XXVI.

Бережкова, какъ бытовой типъ. — Бабушкина мудрость. — Богъ и судьба, по воззрѣнiямъ Татьяны Марковны. — Примѣръ идеальной жизни.

Мы попытаемся собрать черты, характеризующiя бабушку, какъ бытовой типъ русской жизни извѣстной среды и эпохи, безъ всякаго отношенiя къ символамъ и таинственнымъ замышленiямъ автора. Прежде всего мы должны остановиться на тѣхъ чертахъ этого образа, которыя взяты имъ въ авторской исповѣди съ цѣлью очертить „сжатый смыслъ“ моральнаго склада бабушки.

Первое, что характеризуетъ бабушку, это ея органическая связь, духовное родство съ прошлымъ, съ тѣмъ строемъ жизни, которому новое поколѣнiе слишкомъ рѣшительно, думалось Гончарову, объявило войну, желая разрушить его до основанiя, между тѣмъ какъ въ немъ таилось еще много крѣпкихъ, здоровыхъ началъ для будущаго развитiя. „Бабушка говоритъ языкомъ преданiй, сыплетъ пословицы, готовыя сентенци старой мудрости, но въ новыхъ какихъ-нибудь неожиданныхъ для нея случаяхъ у нея выступали собственныя силы, и она дѣйствовала своеобразно. Сквозь обветшавшую, негодную мудрость у нея пробивалась струя здраваго смысла“. Новаго, — замѣчаетъ дальше Гончаровъ, — она „пугалась немного и безпокойно искала подкрѣпить его бывшими примѣрами“... Весь смыслъ ея характера таковъ, что она — старуха, по словамъ Гончарова, твердая, властная, упорная, неуступчивая, — требуетъ повиновенiя, хозяйственна и бережлива.

Въ общемъ — далеко не безпристрастное отношенiе Гончарова къ „русской старой, хорошей женщинѣ“

какъ онъ опредѣляетъ бабушку, передалось и читателямъ: „бабушка была благосклонно принята всѣми въ публикѣ. Никто ничего не говорилъ противъ ея изображенія, и до меня доходили только похвалы ей“.

Намъ предстоитъ дополнить этотъ портретъ бабушки и ближе всмотрѣться въ него: такъ ли ужъ этотъ образъ симпатиченъ въ реальной обстановкѣ, какимъ онъ представлялся Гончарову и многимъ читателямъ?

Попробуйте перевести на языкъ непосредственной крѣпостной обстановки опредѣленіе „феодальной натуры“, данное бабушкѣ самимъ же Гончаровымъ, и въ вашемъ воображеніи замелькаетъ рядъ лицъ и воспоминаній далеко не положительнаго свойства. Для безпристрастія сужденія забудьте на время тѣ подкупающія и сглаживающія черты, которыми она обращена къ двумъ-тремъ лицамъ, связаннымъ съ нею узами кровнаго родства. Здѣсь она—олицетворенная любовь, нѣжность, доброта. Черты эти не распространяются за предѣлы родного гнѣзда, и потому, въ существѣ своемъ, онѣ элементарны, свойственны самымъ обыкновеннымъ, немудренымъ людямъ. Въ сношеніяхъ со всѣми прочими явленіями вѣшняго міра въ Татьянѣ Марковнѣ выступаютъ и дѣйствуютъ многія свойства, далеко не столь привлекательныя.

Начнемъ съ прославленной бабушкиной „мудрости“.

Бабушка сыплетъ сентенціями, — говоритъ Гончаровъ,—и это безусловно вѣрно. О ней онъ могъ бы сказать то же, что было сказано имъ какъ-то о старухахъ Пахотиныхъ, въ первой части романа: „Если затрагивались вопросы живые, глубокіе, то старухи тономъ и сентенціями сейчасъ клали на всякій разговоръ свою патентованную печать“. Бабушка несомнѣнно обладаетъ здравымъ, практическимъ смысломъ, но недюжиннаго ума въ ея сентенціяхъ мы не видимъ. Она дѣльно ведетъ свое хозяйство, мѣтко разсуждаетъ о знакомыхъ ей людяхъ, отдаетъ правильный отчетъ о

томъ, что дѣлалось вчера, не ошибается въ предположеніяхъ о томъ, что будетъ дѣлаться въ томъ же духѣ завтра, но и только: „горизонтъ ея кончается—съ одной стороны полями, съ другой—Волгой и ея горами, съ третьей—городомъ, а съ четвертой—дорогой въ міръ, до котораго ей дѣла нѣтъ“. Интересы ея почти такъ же ограничены, какъ интересы стариковъ Обломовыхъ, матери Александра Адуева и немногимъ шире интересовъ ея дворовыхъ или обломовскихъ мужиковъ. Высота ея мудрости никогда не поднимается надъ уровнемъ понятій, выражающихся въ народныхъ пословицахъ и поговоркахъ и заключающихъ въ себѣ не только итоги здраваго смысла, но и порядочную долю невѣжества и дикости. Основной выводъ философіи Бережковой, который Гончаровъ называетъ „мудрымъ“, совпадаетъ съ обыкновеннѣйшимъ выводомъ обыкновеннѣйшаго изъ немудреныхъ людей ея круга, о томъ, „что всякому дается извѣстная линія въ жизни, по которой можно и должно достигать извѣстнаго значенія, выгодъ, и что всякому дана возможность сдѣлаться (относительно) важнымъ или богатымъ, а кто прозѣваетъ время и удобный случай, пренебрежетъ данными судьбой средствами, тотъ и пеняй на себя!“ Это выводъ не одной Бережковой,—въ равной мѣрѣ онъ принадлежитъ и Аннѣ Павловнѣ Адуевой, которая собирается „вымолить“ у Бога своему Александру „и здоровье, и чиновъ, и крестовъ, и земныхъ благъ“. Такъ же смотрятъ на вещи и въ Обломовкѣ, гдѣ понимаютъ, на примѣръ, образованіе исключительно съ точки зрѣнія правъ и преимуществъ. Родители Обломова „мечтали и о шитомъ мундирѣ для него, воображали его совѣтникомъ въ палатѣ, а мать—даже и губернаторомъ; но всего этого имъ хотѣлось бы достигнуть какъ-нибудь подешевле, съ разными хитростями, обойти тайкомъ разбросанные по пути просвѣщенія и почестей камни и преграды“. По справедливому замѣчанію Гончарова,

и это сравнительно со взглядами Простаковых и Скотининых было большим шагом вперед.

Богъ и судьба составляютъ теоретическую сторону бабушкиной морали. Богъ, съ одной стороны, податель жизненныхъ благъ, съ другой—неумолимый контрольный аппаратъ, отмѣчающій малѣйшія отклоненія. „Помни, что безъ вѣры нѣтъ спасенія нигдѣ и ни въ чемъ,—говорить въ своемъ напутственномъ словѣ Анна Павловна Александру. Достигнешь большихъ чиновъ, въ знать войдешь—вѣдь мы не хуже другихъ: отецъ былъ дворянинъ, майоръ — *все таки* смирайся передъ Господомъ Богомъ: молись и въ счастіи, и въ несчастіи“.

Гдѣ дѣло не касалось высшихъ для этихъ людей вопросовъ—инстинктивного страха передъ всемогуществомъ Божьимъ, вымаливанья у Бога для себя и своихъ присныхъ всяческихъ благъ, притомъ болѣе земныхъ, нежели небесныхъ, да идеи справедливаго возмездія за проступки,—тамъ на сцену выступала судьба и безапелляціонно рѣшала всѣ простые и сложные случаи житейской практики. Культъ судьбы былъ такой же элементарный и по существу своему общенародный, какъ и наивная вѣра въ Бога и міръ преданій, сказокъ и пѣсенъ, питавшій поэзіей суевѣрія и романтизма. Сама гордая и властная бабушка одобрительно встрѣчала вокругъ себя Молчалинскія свойства и свои проповѣди на эту тему подкрѣпляла ссылками на судьбу. Заносчивость—бабушка придавала этому слову очень широкій смыслъ—судьба наказываетъ „оплеухами“, отъ которыхъ Татьяна Марковна и предостерегаетъ Райскаго: — „Ну, а когда счастье? Ужели все оплеухи?“ спрашиваетъ. Райскій.— „Нѣтъ, не все: когда ждешь скромно, сомнѣваешься, не забываешься, оно и упадетъ. Пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся: ну, и дастся“. Судьба любитъ осторожность, оттого и говорятъ: „береженаго и Богъ бережетъ“. Словомъ— „судьба и въ милостяхъ мздоимецъ“,—лучше жить

такъ, чтобы не обращать на себя ея вниманія ни въ ту, ни въ другую сторону,—иначе накажетъ. Въ этомъ воззрѣннѣ на судьбу, какъ ни странно, съ бабушкой сходится и просвѣщенный рационалистъ Штольцъ. „Смотри, чтобы судьба не подслушала твоего ропота,—говорить онъ, обращаясь къ Ольгѣ, въ минуту ея недовольства жизнью,—и въ голосъ его слышенъ суевѣрный страхъ,—и не сочла за неблагодарность! Она не любитъ, когда не цѣнятъ ея даровъ“... Но что у Штольца являлось лишь рѣдкими минутами,—у бабушки было твердымъ убѣжденіемъ, опредѣлявшимъ строй ея мыслей. Яркой иллюстраціей прекрасной, по ея мнѣнію, жизни служить незамѣтное прозябанье какихъ-то старичковъ Молочковыхъ: „И не слышать ихъ въ городѣ: тихо у нихъ и мухи не летаютъ. Сидятъ да шепчутся, да угождаютъ другъ другу. Вотъ примѣръ всякому: прожили вѣкъ, какъ будто проспали“.

Прожили вѣкъ, какъ будто проспали! Таковъ коренной обломовскій идеаль, въ которомъ тонутъ всѣ высшіе запросы духа и общественной жизни. Этотъ идеаль не знаетъ хронологіи, и поэтъ вчерашняго дня нашей общественности могъ съ такимъ же, если не большимъ, правомъ жаловаться на тоску одиночества и безлюдья.

---

## XXVII.

Бережкова. — Противорѣчія между теоріей и практикой жизни. —  
Челты характера. — Отношеніе къ идеямъ „общаго блага“. — Общій  
взглядъ.

Бабушка не замѣчала противорѣчія между своей проповѣдью и своимъ властолюбіемъ и честолюбіемъ до губернаторскихъ визитовъ и праздничнаго цѣлованья у нея ручки включительно. Она искренно понимала счастье въ приспособленіи къ обстоятельствамъ да домашней обстановкѣ, боялась возможныхъ разочарованій и не признавала никакихъ „дерзновеній“. Маркъ Волоховъ возбуждалъ въ ней естественное отвращеніе.

Существеннымъ элементомъ, входившимъ въ понятіе „счастье“, была удачная и выгодная женитьба. Лично Гончаровъ считалъ женитьбу дѣломъ весьма рискованнымъ, на которое онъ такъ и не рѣшился до конца жизни. Его герои въ юности слышали на этотъ счетъ весьма опредѣленные наставленія. „Если же тамъ какая-нибудь станеть до свадьбы добираться—Боже сохрани! не могли и подумать! Онѣ готовы подцѣпить, какъ увидятъ, что съ денежками да хорошенькій. Развѣ что у начальника твоего или у какого-нибудь знатнаго да богатаго вельможи разгорятся на тебя зубы, и онъ захочетъ выдать за тебя дочь,—ну, тогда можно“...

Въ этомъ же родѣ даетъ совѣты Райскому Бережкова. Женить его на дочери Мамыкина составляетъ для нея вѣнецъ ея желаній. „Почему вы знаете,—справедливо возмущается Райскій,—что для меня счастье—жениться на дочери какого-то Мамыкина?“—„Она красавица, — отвѣчаетъ бабушка, — воспитана въ самомъ дорогомъ паціонѣ въ Москвѣ“... Но главное не это: „Однихъ брилліантовъ тысячъ на восемьдесятъ... Тебѣ полезно жениться... Взялъ бы богатое приданое, зажилъ

бы большимъ домомъ, у тебя бы весь городъ бывалъ. Всѣ бы раболѣпствовали передъ тобой, поддержалъ бы свой родъ, связи... И въ Петербургъ не ударилъ бы себя въ грязь“...

Родовая спѣсь играла видную роль въ разсужденіяхъ этого рода и была общей чертой обломовскихъ „господъ“. Ничто и никогда не могло истребить различія между „людьми“ и „господами“, хотя среди помѣщицъ крѣпостной эпохи бабушка, какъ и мать Александра Адуева, и родители Обломова, могла считаться весьма человѣколюбивой, если не доброй. Требованія къ добрымъ помѣщицамъ прилагались въ то время очень умѣренные. Если заболѣвалъ кто-либо изъ „людей“, Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала лекарь, а на другой день специальная баба Меланхолиха собственными средствами старалась помочь больному. По поводу этой Меланхолихи, лечившей „людей“, въ романѣ есть замѣчаніе, не лишенное историческаго интереса: „такъ какъ Меланхолиха практиковала *только надъ крѣпостными людьми и мѣщанами*, то врачебное управленіе не обращало на нее вниманія“. Докторъ былъ бы слишкомъ большой роскошью для крѣпостныхъ и мѣщанъ. „Между тѣмъ, чуть у которой нибудь внучки язычокъ зачесется или брюшко немного вспучить, Кирюшка или Власъ скакали, болтая локтями и ногами, на неосѣдланной лошади, въ городъ, за докторомъ“. Слѣдуетъ замѣтить, впрочемъ, что это различіе не составляло отличительнаго свойства обломовскихъ нравовъ, а было коренной чертой до-реформенной эпохи, чертой, далеко не вытравленной воспитаніемъ и общественнымъ развитіемъ и по настоящее время...

По приѣздѣ въ усадьбу, Райскій получаетъ выговоръ отъ бабушки за то, что онъ притащился на перекладной, одинъ, безъ лакея, вмѣсто того, чтобы прикатить въ дормезѣ четверкой. „А еще Райскій! загляни въ старый домъ, на предковъ: постыдись хоть ихъ! Срамъ, Бо



рюшка! То ли бы дѣло, съ этакими бы эполетами, какъ у дяди Сергѣя Ивановича, пріѣхалъ: съ тремя тысячами душъ взялъ бы"... Кстати замѣтить, Райскій съ бабушкой спорить и, повидимому, держится того убѣжденія, подсказываемаго здравымъ смысломъ, что стыдиться слѣдуетъ не предковъ, которые въ большинствѣ случаевъ и сами были не особенно прекрасны, а потомковъ. Потомки волей-неволей разберутся въ наслѣдствѣ отцовъ и дѣдовъ и, съ фактами въ рукахъ, рано или поздно, скажутъ свое правдивое слово. Гончаровъ, быть можетъ, считался съ этимъ, когда писалъ для потомковъ свое „нарушеніе воли“. Но что касается Райскаго, то въ немъ, даже въ бесѣдахъ съ Маркомъ, всегда чувствуется „баринъ“, немногимъ отошедшій отъ Обломова, серьезно гордившагося тѣмъ, что онъ не умѣетъ работать и даже ни разу собственноручно чулокъ не натянулъ себѣ на ноги. Это одинъ и тотъ же, вѣрный эпохѣ, „барскій“ кругъ идей: онъ начинается на границѣ утраты здраваго смысла въ аристократическихъ семьяхъ, вродѣ Пахотиныхъ, и кончается, въ этомъ міркѣ, „вольнодумцемъ“ Райскимъ, который дѣлаетъ попытки бороться съ отжившими понятіями, самъ органически не отрѣшившись отъ нихъ.

Стыдя Райскаго портретами предковъ, бабушка не стыдится наказывать людей; горничныя у нея цѣлый день, „не разгибаясь“, что-нибудь шили или плели кружева, потому что Татьяна Марковна не могла видѣть людей безъ дѣла, т.-е. барскаго дѣла. Меланхолихой да сытнымъ кормленіемъ исчерпывались всѣ заботы ея о благосостояніи крестьянъ. Когда Райскій высказалъ предположеніе отдать обстановку своего имѣнія на школы, бабушка возмутилась: „Школьникамъ!—воскликнула она.—Не бываетъ этому! Чтобы этимъ озорникамъ досталось! Сколько они однихъ яблоковъ перетаскиваютъ у меня черезъ заборъ!“ Объясненіе это, вытекающее опять-таки изъ неглубокаго источника помѣщичьяго



скопидомства, даетъ любопытную черту для характеристики отношеній Бережковой къ тому, что называется общественнымъ благомъ.

Объ этомъ благѣ, по буквальныхъ словамъ самого Гончарова, Татьяна Марковна и „слышать не хотѣла“. Разсужденія ея поражаютъ узостью и черствымъ эгоизмомъ. „Знай всякъ себя,—говорила она,—и не любила полиціи, особенно одного полиціймейстера, видя въ немъ почти разбойника“. Напрасно Титъ Никонъичъ Ватутинъ пытался примирить ее съ идеями общаго блага; послѣднія неизмѣнно воплощались для нея въ образъ полиціи. Съ властями она была въ постоянной оппозиціи, но—увы!—безъ всякаго гражданскаго оттѣнка, а просто отказывалась нести какія-либо повинности, платить ли подати, чинить ли дороги; считая подобныя распоряженія насиліемъ, она бранилась, ссорилась, — „и объ общемъ благѣ,—повторяетъ Гончаровъ,—слышать не хотѣла“. Если вспомнить пріемы ея въ лавкахъ у купцовъ, когда ей нужно было купить какую-либо мелочь, то исчезаетъ представленіе даже о дворянскомъ достоинствѣ бабушки: передъ нами не богатая и гордая помѣщица-барыня, а самая заурядная скопидомка купчиха.

Водились за бабушкой и другія не-дворянскія дѣла. Тогда, какъ и теперь, запрещено было обывателямъ самостоятельно устраивать водочные заводы. Теперь, какъ извѣстно, этимъ дѣломъ орудуетъ казна,—прежде была въ ходу откупная система. „Тогда откупа пошли,—признается бабушка Райскому,—а я вздумала велѣть пиво варить для людей, водку гнала дома, не много, для гостей и для дворни, а *все же запрещено было*; мостовъ не чинила“. Исправникъ объ этомъ узналъ и, естественно, ожидалъ взятки. Но съ бабушки были, по ея же выраженію, взятки гладки. Опъ—„озлобился“ и, очевидно, донесъ. Бабушкѣ пришлось смирить свою гордыню и просить прощенія, но судьба не пощадила и исправ-

ника: пріѣхалъ новый губернаторъ, узналъ ея плутни и прогналъ. Въ этомъ для бабушки былъ явный перстъ Провидѣнія. Послѣ этого совершенно понятно, что въ домѣ Бережковой могъ съ полной свободой господствовать Фамусовскій принципъ — „у насъ ругаютъ вездѣ — и всюду принимаютъ“, и Нилъ Андреевичъ Тычковъ, казнокрадъ, наглецъ и доносчикъ, вообще человѣкъ темный, могъ въ теченіе многихъ лѣтъ играть въ ея домѣ роль авторитета, поклоненія которому, за его чины и заслуги, вначалѣ требовала бабушка отъ и Райскаго („человѣкъ почтенный“, „со звѣздой“ — по отзыву Бережковой — „племянницу обобралъ, въ казнѣ воровалъ... онъ же и судить...“).

Всѣ эти черты, вмѣстѣ взятыя, рисуютъ намъ типъ женщины едва ли ужъ очень симпатичной, особенно, если взглянуть въ этотъ типъ безпристрастно, отрѣшившись отъ того поэтическаго ореола, которымъ осѣняетъ его Гончаровъ. Обыкновенная зажиточная помѣщица, своенравная и высокомѣрная въ однихъ случаяхъ и, по обстоятельствамъ, смиренная — въ другихъ, легко поступающаяся дворянской спѣсью, съ узкой эгоистической моралью, бойкая и смышленная, — этотъ образъ стоитъ въ положительномъ противорѣчьи съ тѣмъ пьедесталомъ, на который возводитъ его Гончаровъ, и съ тѣмъ чувствомъ глубокой симпатіи, какую возбуждаетъ этотъ образъ на первый взглядъ, благодаря особеннымъ свойствамъ таланта писателя.

Симпатія, какъ и личный вкусъ, вещь, конечно, капризная, и было бы бесплодно спорить по ея поводу, Гончаровъ, повторяемъ, не скрывалъ своей симпатіи къ бабушкѣ и, такимъ образомъ, наглядно опровергалъ ходячее мнѣніе о безпристрастіи своего отношенія къ предметамъ изображенія. Въ его чувствахъ къ Бережковой сказываются, какъ будто, личныя воспоминанія и, хочется сказать, непосредственно задѣтныя струны души. Въ основѣ *собирательнаго* типа (допустимъ плеоназмъ)

лежалъ съ дѣтства знакомый и близкій сердцу образъ женщины, давнымъ-давно заронившей въ душу писателя много тепла и свѣта на всю послѣдующую жизнь.

## XXVIII.

Сопоставленіе основныхъ чертъ типа Бережковой съ типическими чертами образа матери по романамъ Гончарова.—Фигура отца.

Въ самомъ дѣлѣ, основныя черты этого, повторяемъ, несомнѣнно собирательнаго характера Татьяны Марковны Бережковой, какъ отдѣльно взятой личности, безъ отношенія къ его типичности, общественному значенію и т. д., невольно напрашиваются на сопоставленіе съ тѣми отрывочными и часто едва уловимыми штрихами, изъ которыхъ складывается одинъ и тотъ же, въ разныхъ романахъ, образъ матери—въ типическомъ смыслѣ. Съ этимъ понятіемъ, на основаніи романовъ Гончарова, неизмѣнно связывается представленіе о немудреной русской женщинѣ, какихъ много, вся жизнь которыхъ посвящена исключительно заботамъ о хозяйствѣ, вознѣ въ родномъ углу, а главное — слѣпой любви къ дѣтямъ и интересамъ ихъ физическаго воспитанія. Въ этихъ вопросахъ ничто не занимаетъ ихъ сердце и умъ, и весь ихъ характеръ размѣнивается безъ остатка на мелочи домашняго и хозяйственнаго обихода.

Подобно Бережковой, матери Александра Адуева и Обломова были зажиточны и по-купчески бережливы. Анна Павловна Адуева въ самыя мирныя минуты своего прощанія съ сыномъ не забываетъ напомнить, чтобы Сашенька не бросалъ платковъ: „у Михѣева брата по два съ четвертью!“ Жалѣли деньгу и въ Обломовкѣ: по вечерамъ не зажгутъ лишней сальной свѣчи, въ кушанье лишней изюминки не положатъ. „На всякій предметъ, который производился не дома, а приобрѣ-

тался покупкою, обломовцы были до крайности скупы... Значительная трата сопровождалась стопами, воплями и бранью". Къ дворовымъ относились такъ же, какъ Бережкова къ „людямъ“: не зло, но и потачки не давали. Добрѣйшая Анна Павловна иногда становилась, по выраженію Гончарова, „раздраженной львицей“ и наказывала за малѣйшую провинность, когда—строгимъ выговоромъ, когда—обиднымъ прозвищемъ, а иногда, по мѣрѣ гнѣва и силъ своихъ, и толчкомъ. „Присмотрите за Евсеемъ, — пишетъ Анна Павловна Адуеву-дядѣ о старомъ преданномъ слугѣ, — онъ смиренный и непьющій; да, пожалуй, тамъ, въ столицѣ, избалуется,— тогда можно и посѣчь“. По отношенію къ „людямъ“ и вообще, Анна Павловна за словомъ въ карманъ, какъ говорится, не лѣзла. Горничныя у нея непременно были дурищи, прачки—мерзавки; „тетка, словно нарочно, не сядетъ на пустой стулъ или диванъ, а такъ и норовитъ *плоскнутъ* туда, гдѣ стоитъ шляпа или что-нибудь такое“...; Михайло Михайловичъ — „что мясоѣдъ, что страстная недѣля—все одно *жреть*“...

Въ „Обломовкѣ“ Гончаровъ неоднократно задается вопросомъ о томъ, какое вліяніе оказываетъ обстановка на умственное развитіе въ самую раннюю пору. За предположеніемъ о томъ, что, можетъ быть, Ильюша Обломовъ, еще едва выговаривая слова, уже видѣлъ и угадывалъ значеніе и связь явленій окружавшей его жизни, дается яркая картина будничнаго Обломовскаго быта, съ фигурами отца и матери. „Можетъ быть— Ильюша уже давно замѣчаетъ и понимаетъ, что говорятъ и дѣлаютъ при немъ: какъ батюшка-то его, въ плисовыхъ панталонахъ, въ коричневой суконной, въ точной курткѣ, день-деньской только и знаетъ, что ходитъ изъ угла въ уголь, заложивъ руки назадъ, нюхаетъ табакъ и сморкается, а матушка переходитъ отъ кофе къ чаю, отъ чая къ обѣду; что родитель и задумаетъ никогда повѣрить, сколько копеекъ скоше-

или сжато, и взыскать за упущеніе, а подай-ка ему не скоро носовой платокъ, онъ накричитъ о безпорядкахъ и поставитъ вверхъ дномъ весь домъ“.

Фигура отца выходила всегда блѣдно у Гончарова. Самъ онъ, подобно Александру Адуеву, лишился отца еще въ раннемъ дѣтствѣ. Черты, которыми онъ характеризуетъ отца Обломова, были добродушіе и бездѣлье. Въ этомъ отношеніи едва ли можно провести какую бы то ни было біографическую параллель. По отзывамъ знавшихъ его, „отецъ писателя, Александръ Ильичъ, былъ скорѣе дѣятельнымъ человѣкомъ: его не разъ выбирали городскимъ головой; на портретѣ старикъ Гончаровъ изображенъ виднымъ мужчиной, средняго роста, бѣлокурый, съ голубовато-сѣрыми глазами и пріятной улыбкой, лицо умное, серьезное; на шеѣ медали“. Такъ изображаетъ очевидецъ наружность старика Гончарова въ своихъ воспоминаніяхъ. Мать Гончарова, Авдотья Матвѣевна, была, по его отзыву, умной и солидной женщиной. На ней лежали матеріальныя заботы, какъ на опытной и строгой хозяйкѣ. Заботы о воспитаніи перешли къ тому лицу, которое въ воспоминаніяхъ Гончарова носитъ имя Петра Андреевича Якубова. Въ печати существуютъ уже о немъ болѣе или менѣе достовѣрныя свѣдѣнія. Когда умеръ отецъ, рассказываетъ г. Потанинъ, „эту тяжелую потерю вполне замѣнилъ Гончарову „крестный отецъ“ всѣхъ четырехъ дѣтей, Николай Николаевичъ Трегубовъ, отставной морякъ“.

---

## XXIX.

Личность Якубова.—Историческая обстановка.—„Наука о приличіях“.—Аналогичныя черты въ образѣ Тита Никоньча.

Въ своихъ воспоминаніяхъ Гончаровъ, въ лицѣ Якубова, даетъ превосходный портретъ Николая Николаевича Трегубова. Морякъ по образованію, онъ самостоятельно развилъ себя чтеніемъ, преимущественно историческаго и политическаго характера, и въ этомъ отношеніи былъ явленіемъ замѣчательнымъ среди провинціальнаго дворянскаго общества того времени. Онъ принималъ участіе въ мѣстной масонской ложѣ и по нѣкоторымъ вопросамъ, не касавшимся, впрочемъ, глубокихъ сторонъ русской жизни, держался даже либеральнаго образа мыслей, стараясь однако, чтобы этотъ образъ мыслей не дошелъ до начальства. Николаевскій режимъ давалъ себя знать и въ глухой провинціи. Гончаровъ былъ свидѣтелемъ, какъ послѣ принятія соотвѣтственныхъ мѣръ, доходившихъ до „секретнаго тѣлеснаго наказанія“, всѣ мѣстные либералы приникли, притихли, быстро превратились въ ультра - консерваторовъ, даже шовинистовъ. иные искренно, другіе надѣли маски, „но при всякомъ случаѣ, когда и не нужно, заявляли о своей преданности „престолу и отечеству“... Но про себя Якубовъ протестовалъ. Однажды, рассказываетъ Гончаровъ, читая газету, Якубовъ не могъ удержать впечатлѣнія, и до писателя долетѣли слова: „простого выговора не стоитъ, а его на поселеніе!“ Дѣло шло о преслѣдованіи „либераловъ“. Но, рядомъ съ этими настроеніями, Якубовъ выражалъ знаки почтительности и благонамѣренности властямъ и смертельно боялся жандармовъ. „Мнѣ, юношѣ, были тогда новы, если не всѣ, то многія „впечатлѣнья бытія“, — вспоминаетъ Гончаровъ,—междѣ

прочимъ, и жандармы, т.-е. ихъ настоящее, новое, съ Николаевскихъ временъ, значеніе. Это значеніе объяснилъ мнѣ, тоже шопотомъ, Якубовъ, и всю глубину жандармской бездны раскрылъ мнѣ потомъ губернаторъ, которому я, по настоянію „крестнаго“, все-таки „представился“.

Эти факты мы приводимъ не столько для характеристики Якубова,—къ ней они имѣютъ отношеніе косвенное,—сколько для того, чтобы отмѣтить, какимъ Вліяніямъ подвергался Гончаровъ въ юности, и напомнить тѣ историческія условія, при которыхъ могли развиваться и существовать подобные Якубову характеры и умы. Баринъ въ душѣ, носитель дворянскихъ традицій и природный аристократъ, какъ его опредѣляетъ Гончаровъ, Якубовъ былъ сыномъ, своего вѣка—крѣпостникомъ. Писатель не видѣлъ въ этомъ противорѣчія съ джентльменствомъ, „если не сходить съ почвы Исторической перспективы“. Неподалеку у Якубова были свои имѣнія, но онъ туда почти не заглядывалъ, передавъ управленіе имѣямъ матери. Впослѣдствіи эти имѣнія и перешли, какъ извѣстно, къ Гончаровой и ея дѣтямъ. Къ хозяйству своему и доходамъ Якубовъ относился совсѣмъ равнодушно. „Когда я спрашивалъ Якубова о его хозяйствѣ,—вспоминаетъ Гончаровъ,—о посѣвахъ, умолотѣ, количествѣ хлѣба—даже о количествѣ принадлежащей ему земли и о доходахъ: „А не знаю, другъ мой,—говаривалъ онъ, зѣвая:—что привезетъ денегъ мой кривой староста, то и есть. А сколько онъ высылаетъ куръ, утокъ, индѣекъ, разнаго хлѣба и другихъ продуктовъ съ моихъ полей—спроси у своей маменьки: я велѣлъ ему отдавать ей отчетъ, она знаетъ лучше меня“. Въ числѣ разныхъ свѣдѣній, сообщавшихся Якубовымъ Гончарову, была цѣлая „наука о приличіяхъ“. „Для приличія,—говорилъ онъ,—молодой человѣкъ долженъ вездѣ явиться“,—главнымъ образомъ въ домахъ вліятельныхъ и богатыхъ господъ. Въ

отношеніяхъ къ людямъ его отличала утонченная учтивость и свѣтскій тактъ, „въ обращеніи,—по словамъ Гончарова,—онъ былъ необыкновенно привѣтливъ, а съ дамами—до чопорности вѣжливъ и любезенъ“.

Передъ смертью, Якубовъ, этотъ массонъ и вольнодумецъ въ Екатерининскомъ вкусѣ, раскался и, какъ передаетъ г. Потанинъ со словъ племянника Ивана Александровича, „говѣлъ, всю страстную недѣлю лакеи таскали его, безногаго, къ заутренѣ, къ обѣднѣ, вечернѣ, и главное непременно къ заутренѣ“.

Въ „Обрывѣ“ Титъ Никонычъ Ватутинъ, „старинный и лучшій другъ, собесѣдникъ и совѣтникъ“ Татьяны Марковны, слегка напоминаетъ Якубова. И Титъ Никонычъ былъ такимъ же джентльменомъ по своей природѣ. Въ романѣ сглажены нѣкоторыя черты характера Якубова, нѣсколько иначе рассказана біографія, опущены связи съ массонствомъ, не игравшія видной роли и для Якубова, но общій обликъ остается схожимъ. И у Тита Никоныча было недалеко имѣніе, душъ около трехсотъ, куда онъ, подобно Якубову, никогда не заглядывалъ, предоставляя крестьянамъ дѣлать, что хотять, и платить оброку сколько имъ заблагоразсудится. „Возьметъ стыдливо привезенныя деньги, не считая, положить въ бюро, а мужикамъ махнетъ рукой, чтобы ѣхали, куда хотять“. Послѣ военной службы, въ отставку, онъ пріѣхалъ въ городъ, купилъ маленькій сѣренъкій домикъ, съ трѣмя окнами на улицу, и свилъ себѣ вѣчное гнѣздо. Подобно Якубову, онъ интересовался политикой, исторіей, зналъ наизусть всѣ старинныя дворянскіе дома, всѣхъ полководцевъ, министровъ, ихъ біографіи, любилъ рассказывать Бережковой, что дѣлается на свѣтѣ, и „какъ одно море лежитъ выше другого“, сообщать, что выдумали англичане или французы, и рѣшать, полезно ли это или нѣтъ.

„Онъ сохранялъ всегда учтивость и сдержанность въ словахъ, какъ бы съ кѣмъ близокъ ни былъ...“



Взглядъ и улыбка его были такъ привѣтливы, что сразу располагали въ его пользу“. Чувство тонкаго приличія и знаніе свѣтскаго такта составляли его отличительную черту. Онъ ежедневно бывалъ у Татьяны Марковны и относился къ ней, съ почтительной, почти благоговѣйной дружбой, но пропитанной такой теплотой, „что потому только, какъ онъ входилъ къ ней, садился, смотрѣлъ на нее, можно было заключить, что онъ любилъ ее безъ памяти“. И Татьяна Марковна,—разсказываетъ Гончаровъ,—платила ему такой же дружбой, но въ тонѣ ея было больше живости и короткости.

Какъ было выше замѣчено, Титъ Никонъчъ пытался бесѣдовать съ Татьяной Марковной и на другія темы,—напримѣръ, объ общемъ благѣ, съ идеями котораго ему хотѣлось бы примирить свою собесѣдницу. Но Бережкова была неумолима во всемъ, что касалось нарушенія ея интересовъ во имя чего бы то ни было, и дѣло кончалось обыкновенно тѣмъ, что Титъ Никонъчъ мирилъ ее съ мѣстными властями и полиціей.

Къ частымъ посѣщеніямъ Тита Никонъча давно уже привыкли. Прежде въ городѣ носились слухи о томъ, какъ Титъ Никонъчъ въ молодости былъ влюбленъ въ Татьяну Марковну, и Татьяна Марковна въ него. Но родители не согласились. Въ домѣ Бережковой онъ занялъ по характеру нравственнаго вліянія ту роль, какую игралъ Якубовъ въ домѣ Гончаровыхъ. „У сироты (Райскаго) вдругъ какъ будто явилось семейство, мать и сестры, въ Титѣ Никонъчѣ—идеаль добраго дяди“. И самъ Титъ Никонъчъ, дѣлая цѣнные подарки Марѣинькѣ и Вѣрочкѣ, говорилъ о нихъ нѣжно и отзывался о Бережковыхъ какъ о родной семьѣ.

### XXX.

Женскіе образы въ романахъ Гончарова. — Наденька Любецкая. — Елизавета Александровна. — Ольга Ильинская. — Сознательность, какъ отличительная черта ея личности. — „Вѣтка сирени“.

Блѣдно и односторонне очерчиваются типы петербургскихъ маменекъ или отцовъ у Гончарова. Отсутствіе усадебной и вообще хозяйственной обстановки отнимаетъ у нихъ складку дѣловитости и серьезности, и онѣ поражаютъ своей безсодержательностью и безформенностью. Рисуя, напримѣръ, Марью Михайловну Любецкую или тетку Ольги Ильинской, Гончаровъ менѣе всего думалъ о разнообразіи характеровъ, какъ бы прибегая послѣднее для галлерей главнѣйшихъ женскихъ типовъ, изображавшихся имъ съ необыкновеннымъ мастерствомъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ характеристика ихъ строилась на психологіи любви.

Въ этомъ отношеніи тонкость наблюдательности и анализа Гончарова прямо изумительны. Несмотря на обычныя длинноты, нельзя оторваться отъ его художественно-мѣткихъ описаній и діалоговъ. Тутъ въ одинаковой степени прекрасны — и плутоватая наивность Наденьки Любецкой, и томная влюбленность пустенькой Юленьки Тафѣевой, и Ольга Ильинская съ эпизодами съ вѣткой сирени, и цвѣтущая Марейнька, и Вѣра — „мерцаніе и ночь“... Если расположить эти типы въ извѣстной послѣдовательности, то можно сказать, что Гончаровъ прослѣдилъ на нихъ, конечно, въ самыхъ общихъ чертахъ, исторію женскаго вопроса въ нашей общественности, отъ еле замѣтныхъ признаков пробужденія сознанія личности въ себѣ и самостоятельнаго права на жизнь до первыхъ попытокъ рѣшить этотъ вопросъ компромиссомъ между „старой“ и „новой“ правдой.

Александръ Адуевъ у Любецкихъ. Наденька ушла въ садъ. „Составился нескладный дуэтъ у Марьи Михайловны съ Адуевымъ: долго пѣла она ему о томъ, что дѣлала вчера, сегодня, что будетъ дѣлать завтра. Имъ овладѣла томительная скука и беспокойство“. Александръ улучилъ минуту и ускользнулъ въ садъ. Тамъ ждетъ его Наденька. Начинается безконечный разговоръ о мечтахъ, звѣздахъ, симпатіи, счастьѣ.

— „Ужели есть горе на свѣтѣ?—сказала Наденька, помолчавъ.

— Говорятъ есть... — задумчиво отвѣчалъ Александръ:—я не вѣрю...

— Какое же горе можетъ быть?

— Дядюшка говоритъ—бѣдность.

— Бѣдность!—да развѣ бѣдные не чувствуютъ того же, что мы теперь? вотъ ужъ они и не бѣдны.

— Дядюшка говоритъ, что имъ не до того—что надо ѣсть, пить...

— Фи! ѣсть... Дядюшка вашъ неправду говоритъ: можно и безъ этого быть счастливыми: я не обѣдала сегодня, а какъ я счастлива!“

Въ птичьей головкѣ Наденьки еще не просыпалась потребность иной, сознательной жизни, и титулъ графа Новинскаго, ради котораго она измѣняетъ Александру, улыбается ей болѣе всякихъ достоинствъ и талантовъ его. Это—дитя природы, вѣчный матеріаль, изъ котораго жизнь, въ ея внѣшнихъ формахъ, творить все, что хочетъ, безъ всякой борьбы во имя какихъ бы то ни было высшихъ началъ. При благоприятныхъ условіяхъ, изъ нихъ могутъ выработаться добродѣтельныя, но недалекія матери семейства, свѣтскія дамы, отражающія въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, предразсудки и слабыя стороны среды, типичныя классныя дамы; въ мѣщанской средѣ—изъ нихъ по преимуществу вербуются классъ надоедающихъ женъ, несносныхъ сплетницъ, мелочныхъ, придирчивыхъ хозяекъ. Безтолковое

воспитаніе, при отсутствіи хорошихъ интеллектуальныхъ задатковъ отъ природы, служить опредѣляющей чертой этого типа.

Елизавета Александровна, жена Адуева-дяди,—дѣло другое. Ее въ молодости можно было еще сманить, при помощи ложныхъ понятій и неправильнаго воспитанія, на уступку свободы чувства трезвому благоразумію и надеждамъ на то, что въ будущемъ ея жизнь непременно „образуется“. Но вскорѣ золотая клѣтка, устроенная ей заботливымъ и лучшимъ изъ мужей—Петромъ Ивановичемъ, покажется ей тѣсною, и душа ея, не отдавая отчета, затоскуетъ и запроситъ чего-то другого—отъ жизни вообще, отъ людей, отъ всего міра, чего не въ силахъ ей предоставить никакія внѣшнія заботы и комфорта. Въ концѣ романа Петръ Ивановичъ, когда было уже поздно, понимаетъ „психологическую“ причину болѣзни своей жены—и казнить себя за „тираннію“ надъ ея сердцемъ. „За эту тираннію онъ платилъ ей богатствомъ, роскошью, всѣми наружными и сообразными съ его образомъ мыслей условіями счастья—ошибка ужасная, тѣмъ болѣе ужасная, что она сдѣлана была не отъ незнанія, не отъ грубаго понятія о ея сердцѣ—онъ зналъ его—а отъ небрежности, отъ эгоизма. Онъ забывалъ, что она не служила, не играла въ карты, что у ней не было завода, что отличный столъ и лучшее вино почти не имѣютъ цѣны въ глазахъ женщины, а между тѣмъ онъ заставлялъ ее жить этой жизнью“. Она страдала отъ неудовлетворенности высшихъ запросовъ духа, и то тяготѣніе къ личной жизни за свой опытъ и страхъ, что сказалось въ ней лишь чисто пассивно, нашло полное выраженіе въ Ольгѣ Ильинской.

Ея личность одно изъ лучшихъ изображеній у Гончарова.

Ольга Ильинская написана въ высшей степени жизненно. Нечего и говорить, что она, конечно, не чета Наденькѣ Любецкой и на цѣлую голову выше Елиза-

веты Александровны. Умная и трезвая, она спокойно, безъ внутренней суеты, смотреть на міръ и на предстоящія ей жизненныя задачи, не создаетъ себѣ кумировъ, не мечтаетъ о несбыточномъ, но въ то же время не можетъ себѣ представить жизнь въ однѣхъ только буржуазныхъ рамкахъ. Ясный умъ освѣщаетъ дорогу ея чувству, но и въ области чувства слѣпой инстинктъ никогда не идетъ у нея впереди ума.

Любовь у Ольги Ильинской соединяется съ рѣшеніемъ той или иной жизненной задачи. Такую задачу она увидала въ Обломовѣ и, зная себѣ цѣну, признала эту задачу достойной себя. Ольга инстинктивно почувствовала въ душѣ Обломова то прекрасное и высшее начало, которое могло ярко освѣтить его жизнь и сказаться въ дѣятельности, исполненной плодотворнаго значенія и благородства, но эта искра Божія въ немъ угасала, и не было заботливой, нѣжной руки, которая поддержала бы ее и дала бы ей разгорѣться и вспыхнуть яркимъ пламенемъ активнаго стремленія къ идеалу. Съ трогательнымъ участіемъ протянула Ольга эту нѣжную и заботливую руку, движимаая столько же любовью, какъ и развернувшимся передъ ней интересомъ борьбы во имя возвышенной цѣли—воскресить умирающее въ человѣкѣ божественное начало. Интересъ борьбы участвовалъ тутъ несомнѣнно: внѣ его, кристальная честность и доброта Обломова едва ли были бы способны остановить на себѣ вниманіе такой дѣвушки, какъ Ольга Ильинская, и нельзя не придать значенія тому обстоятельству, что Штольцъ сумѣлъ заинтересовать и показать Обломова Ольгѣ съ наиболѣе драматической стороны. „Она мигомъ взвѣсила свою власть надъ нимъ, —разсказываетъ Гончаровъ,—и ей нравилась эта роль путеводной звѣзды, луча свѣта, который она разольетъ надъ стоячимъ озеромъ, и отразится въ немъ. Она разнообразно горжествовала свое первенство въ этомъ поединкѣ“...

Въ высшей степени женственная и мягкая по натурѣ, Ольга трезво и даже сурово смотритъ на жизнь и любовь. Она не боится ни того, ни другого и бодро идетъ на встрѣчу заранѣе рассчитанной судьбѣ. Она не самообольщается относительно Обломова и знаетъ, что ей предстоитъ упорная и трудная работа. „Для меня любовь эта—все равно, что жизнь, а жизнь—долгъ, обязанность, слѣдовательно любовь тоже долгъ: мнѣ какъ будто Богъ послалъ и велѣлъ любить“. И Ольгѣ кажется, что у нея достанетъ силъ „прожить и пролюбить всю жизнь“. Обломовъ былъ недаромъ пораженъ такими словами Ольги. „Кто-жъ внушилъ ей это?—думалъ онъ, глядя на нее чуть не съ благоговѣніемъ: и не путемъ же опыта, истязанія, огня и дыма дошла она до этого яснаго пониманія жизни и любви!“

Ольга не ошибалась въ себѣ, когда полагалась на свои силы и умъ, идя на борьбу съ Обломовщиной, но она не сразу поняла всю безнадежность положенія Ильи. Въ то время, какъ мысль его терзалась и мучилась, вспыхивая отъ пламенныхъ усилій Ольги разжечь его самолюбіе и вызвать къ активной дѣятельности волю,—всѣ инстинкты его природы, завѣщанные ему вѣковой наслѣдственностью, тянули его къ сонному прозябанію, неподвижности и покою. Трагизмъ катастрофы причинилъ, можно съ увѣренностью сказать, болѣе страданій Обломову, чѣмъ Ольгѣ. Высота, на которую возвела его Ольга, оказалась ему не подъ силу, и когда онъ упалъ на землю, „съ облетѣвшей мечтой невозможнаго счастья“, искра Божія въ немъ окончательно потухла. Въ этомъ отношеніи попытка Ольги ускорила процессъ нравственной смерти Обломова.

Такъ же трезво отнеслась Ольга къ своему положенію послѣ катастрофы, но въ душѣ ея на всю жизнь остались слѣды незаживавшей раны. Связать свою судьбу съ Обломовымъ—значило для нея осуществить

высшій смыслъ практическаго стремленія къ идеалу, насколько онъ можетъ быть достигнутъ въ жизни. За мужество со Штольцемъ открывало почетный выходъ ея лучшимъ дружескимъ чувствамъ и въ то же время давало ей общественное положеніе. Но интереса борьбы для нея въ этомъ бракѣ не было, а когда добрый Штольцъ, подобно Петру Ивановичу, окружилъ ее вниманіемъ и заботой, въ душѣ у нея образовалось пустое мѣсто, и, подобно Елизаветѣ Александровнѣ, она стала томиться неудовлетворенностью и мучительнымъ сомнѣніемъ, такъ ли рѣшена ея жизненная задача. Ее все тянуло куда-то вдаль, на свѣтлый просторъ жизни, гдѣ нашлась бы для нея своя собственная, сознательная и плодотворная работа.

Выполняя программу Петра Ивановича, Штольцъ заговариваетъ о докторѣ, о поѣздкѣ за границу, но самъ понимаетъ, больше чувствомъ, чѣмъ умомъ, что причина болѣзненнаго недовольства Ольги тоже „психологическая“, для которой нелегко подыскать средство. „Поиски живого, раздраженнаго ума порываются иногда за житейскія грани,—говоритъ онъ ей,—не находятъ, конечно, отвѣтовъ, и является грусть... временное недовольство жизнью... Это грусть души, вопрошающей жизнь о ея тайнѣ... Можетъ быть, и съ тобой то же... Если это такъ—это не глупости“. Штольцъ не догадывается объ истинной причинѣ грусти Ольги. Это не расплата за Прометеевъ огонь, какъ объясняетъ онъ дальше, но жажда того же живого, нерутиннаго дѣла, о которомъ мечталъ Обломовъ, жажда жизни за свой личный счетъ, съ правомъ сознательнаго участія во всѣхъ радостяхъ и скорбяхъ, которыми движется не одна семья, но и все общество, народъ, человѣчество, весь міръ... Ольга—истинная героиня пробужденія русской женщины, и по отношенію къ ней тѣ формы жизни, въ которыя ввелъ ее Штольцъ, были тоже сво- его рода золотой клѣткой. Она могла убѣдить себя при-

мирится съ нею, но не уничтожить въ себѣ стремленія къ свободѣ.

Гончаровъ утверждалъ, что Наденька и Ольга—это одно лицо въ разныхъ моментахъ. „Отъ невѣдѣнія Наденьки—естественный переходъ къ *сознательному* замужеству Ольги со Штольцемъ, представителемъ труда, знанія, энергіи—словомъ, силы“. По отношенію къ факту замужества—можетъ быть, но не къ внутреннему содержанию и цѣнности жизни, какъ они инстинктивно понимались Ольгой. Сознательность, главнымъ образомъ, дѣлаетъ Ольгу такою, какова она есть. То, что Елизавета Александровна постигаетъ только чувствомъ, сама себѣ почти не отдавая отчета въ логическихъ основаніяхъ своего разочарованія, то Ольга Ильинская понимаетъ своимъ яснымъ умомъ. Но нужны были вѣка, чтобы сначала изъ теремной затворницы, потомъ вертопрашки и щеголихи, потомъ пустенькой барышни и маменькиной дочери, Наденьки, выработалась сознательная Ольга, человѣкъ и женщина въ лучшемъ значеніи этихъ словъ. Эта сознательность, за которую ей не пришлось заплатить ни чарующей мягкостью души, ни обаяніемъ женственности, дѣлаетъ этотъ образъ положительно идеальнымъ, призваннымъ неизмѣнно увлекать мысль на высоту нравственнаго совершенства и поддерживать вѣру въ вѣчныя начала, движущія міромъ,—начала красоты и добра.

Душевный міръ Ольги и вся психологія ея любви къ Обломову раскрыты Гончаровымъ съ тою же глубиной проницательности и тонкостью художественной кисти, съ какою онъ угадалъ истинный смыслъ безсмертной комедіи Грибоѣдова и разобралъ тончайшія нити интриги между Чацкимъ и Софьей. Когда Ольга поняла Обломова, она пошла на встрѣчу своему чувству увѣренно и прямо, не играя съ нимъ и не лукавя.

Эпизодъ съ вѣткой сирени—сама поэзія, душистая и нѣжная, какъ весна. Въ эту поэзію вплетается, орга-



нически и естественно, не нарушая гармоніи, серьезная жизненная мысль, въ которой сосредоточивается вся глубина истинъ активнаго проникновенія Ольги въ задачи и цѣли возвышенной сознательной жизни. „Они шли тихо; она слушала разсѣянно, мимоходомъ сорвала вѣтку сирени и, не глядя на него, подала ему“... „Она какъ будто нарочно открыла завѣтную страницу книги и позволила прочесть завѣтное мѣсто“... И Обломовъ, точно по мановенію волшебной руки, воскресаетъ: туманное лицо его мгновенно преобразается, въ немъ играютъ краски, двигаются мысли, въ глазахъ сверкаютъ желаніе и воля, и ему кажется, что жизнь опять отворяется ему: „—вотъ она,—какъ въ бреду лепечетъ онъ, — въ вашихъ глазахъ, въ улыбкѣ, въ этой вѣткѣ, въ *Casta diva*... все здѣсь“.

Здѣсь все—и довѣрчивость простой и честной души, и сознаніе своей власти, и игра ума, и невинное, чисто-женское лукавство, и молодость, и надежды, и какая-то нѣга весны, и запахъ сирени... И вмѣстѣ съ Обломовымъ, читатель невольно поддается обаянію свѣжести и обновленія, готовъ снова вѣрить надеждамъ и мечтамъ, и въ образѣ Ольги для него воплощается то высшее, одухотворяющее жизнь дыханіемъ весны и поэзіи, вѣчно-женственное начало, которое неустанно зоветъ его впередъ, все впередъ—на борьбу, на тревогу, на жизнь...

Сколько здѣсь освѣжающаго, бодрящаго настроенія, проходящаго, словно для контраста, по всѣмъ изображеніямъ мертвенной апатіи и скуки... Въ этомъ контрастѣ—одна изъ тайнъ въ своемъ родѣ единственнаго Гончаровскаго таланта.

## XXXI.

Агаея Матвѣвна Пшеницына.—Ея личность, интересы, обстановка.—Самоотверженная любовь къ Обломову.—Жизненная задача.

Сознательность—великое слово. Мы замѣтили выше, что для натуръ, подобныхъ Ольгѣ Ильинской, она составляетъ все. Исторія ея есть исторія нашего просвѣщенія, борьбы общественныхъ началъ, послѣдовательный ростъ нашего общественнаго развитія. Отнимите у Ольги ея сознательность, дѣлающую ее человѣкомъ своего вѣка, да опустите классомъ пониже, и вы получите — не Наденьку Любецкую, о, нѣтъ! — но, ни больше, ни меньше — Агаею Матвѣвну Пшеницыну. Агаею Матвѣвну, безъ всякаго анахронизма, можно помѣстить въ какой угодно вѣкъ, и она въ любую эпоху будетъ на своемъ мѣстѣ, съ своей доброй наивностью и дѣтскимъ равнодушіемъ ко всему, что выходитъ изъ сферы домашнихъ и специально-хозяйственныхъ интересовъ.

Опустить Обломова въ обстановку ея домика на Выборгской сторонѣ, заставить его жить и въ то же время умирать подъ крылышкомъ этой женщины, которая, по силѣ своей любви къ Обломову, не уступитъ Ольгѣ Ильинской, но является антиподомъ ея по отсутствію сознательности,—было дѣломъ величайшей, можно сказать, гениальной прозорливости Гончарова.

Агаея Матвѣвна—чудесный типъ простой, немудреной русской женщины, довѣрчивой, любящей, идеально-честной. Много родственныхъ струнъ отозвалось въ сердцѣ Обломова на ея привѣтливую улыбку, и не одними только кулинарными талантами, пухлыми, бѣлыми локтями привязала она его къ себѣ. Послѣ перенесенной имъ катастрофы онъ болѣе всего нуждался

въ физическомъ уходѣ, заботливо обставленномъ покоѣ. Для него имѣло положительное значеніе и то, что Агафья Матвѣевна была крайне ограничена, что съ ея стороны онъ могъ не ждать никакого умственного безпокойства, никакихъ тревожныхъ вопросовъ, недоумѣній, сомнѣній, загадокъ. Въ ея лицѣ у Обломова явилось какъ бы повтореніе всей нѣги, всѣхъ заботъ и любви, которыми онъ былъ окруженъ въ Обломовкѣ, въ пору ранняго дѣтства. Она была для него всѣмъ—и преданной нянькой, и доброй матерью, и неизмѣнно-любящей хозяйкой-женой, безъ тѣхъ неудобствъ, которыя, какъ онъ зналъ, въ другихъ случаяхъ бывають неразлучны съ разнаго рода безпокойствами, въ родѣ измѣнъ, охлажденій, ревности, ссоръ.

Въ любви Агафьи Матвѣевны къ Обломову было много заботливыхъ думъ и несознаваемаго самоотверженія. Но и ей самой она много давала, эта любовь, тихимъ и ровнымъ пламенемъ горѣвшая въ ея душѣ. Жизнь ея приобрѣла, благодаря ей, особенный смыслъ и содержательность—ранѣе того времени, какъ у нея родился ребенокъ. Она не принадлежала къ тѣмъ женщинамъ, которыя охлаждвають къ мужьямъ, какъ только у нихъ рождаются дѣти, отдавая послѣднимъ всѣ силы своей мысли и чувства. Напротивъ, ребенокъ былъ дорогъ ей именно тѣмъ, что онъ былъ ребенкомъ Обломова, что въ его дѣтскихъ чертахъ она угадывала дорогія ей черты ея „барина“ Ильи Ильича. Въ сущности, другой жены Обломовъ для себя никогда не желалъ—даже въ прежнихъ своихъ мечтахъ о женщинѣ. Въ ней олицетворилась для него „норма“ любви и спокойное бѣненіе пульса.

Агафья Матвѣевна была способна, сказали мы, на самопожертвованіе ради Обломова, даже на борьбу. Стоитъ припомнить ея поведеніе, когда, благодаря продѣлкамъ ея продувного братца, ни у Обломова, ни у нея вдругъ не оказалось денегъ для „хозяйственныхъ

розмаховъ ея по части осетрины, бѣлоснѣжной телятины, спаржи и прочей добропорядочной снѣди. „Въ первый разъ въ жизни, — рассказываетъ Гончаровъ, — Агафья Матвѣевна задумалась не о хозяйствѣ, а о чемъ-то другомъ, въ первый разъ заплакала, не отъ досады на Акулину за разбитую посуду, не отъ брани братца за недоваренную рыбу; въ первый разъ ей предстала грозная нужда, но грозная не для нея, — для Ильи Ильича“.

Никто не помогъ ей въ бѣдѣ — ни братецъ, ни мужнина родня. Но ей дали добрый совѣтъ, и она рѣшилась на то, на что не рѣшилась бы ни при какихъ другихъ обстоятельствахъ: она стала закладывать свои завѣтные драгоценности — жемчугъ полученный въ приданое, потомъ фермуаръ, потомъ серебро и мѣхъ, потомъ стала продавать свои салоны и платья. И на столѣ у Ильи Ильича, невиннаго, какъ ребенокъ, по прежнему являлась смородинная водка, отличная семга, любимые потроха, бѣлые свѣжіе рябчики... Праздный гуляка или модный франтъ, съ застѣнчивой улыбкой закладывающій часы для вечерняго букета опереточной пѣвицѣ, никогда не догадаются о той драмѣ, какая совершается на ихъ глазахъ, когда завѣтная вещь, символъ честной трудовой жизни двухъ-трехъ поколѣній, переходитъ иногда изъ дрожащихъ рукъ, въ черствыя руки закладчиковъ. вмѣстѣ съ вещью закладывается и оскверняется священное воспоминаніе о покойной матери или отцѣ, о вѣрномъ другѣ или собственномъ свѣтломъ дѣвичествѣ. Но любовь заглушала въ Агафѣ Матвѣевнѣ всѣ личные интересы, воспоминанія, привычки; внѣ ея, у нея не было ничего священнаго и дорогого, и она, не колеблясь ни минуты, отперла завѣтные сундуки и унижалась передъ лавочниками, упрашивая ихъ отпустить въ кредитъ. „Какъ вдругъ глубоко окунулась въ тревоженія жизни и какъ познала ея счастливые и несчастные дни! — восклицаетъ Гончаровъ. — Но она любила эту жизнь: не смотря

на всю горечь слезъ и заботъ, она не промѣняла бы ее на прежнее тихое теченіе, когда она не знала Обломова“... Агафья Матвѣевна жила полною жизнью и вся такъ и свѣтилась своимъ счастьемъ, за которымъ не было никакихъ стремленій или желаній, но только высказать этого счастья она, какъ и прежде, не могла. Такъ тянулись дни и годы.

Но неожиданно свалилась бѣда: съ Ильей Ильичемъ случился апоплексическій ударъ. Предстояло переменить режимъ—моментъ не менѣе драматическій для Обломова, чѣмъ ударъ,—и Агафья Матвѣевна предстояла новая и трудная забота — отвлекать его отъ вина, отъ жирнаго и мясного, отъ послѣ-обѣденнаго сна, отъ неподвижности, словомъ—отъ всего, къ чему такъ привыкъ Обломовъ прежде. И она недреманнымъ окомъ бодрствуетъ надъ Ильей Ильичемъ, дѣйствуя на него то хитростью, то лаской. Илью Ильича тянетъ къ прежнимъ привычкамъ, онъ упрямится, капризничаетъ, тоже хитритъ, но съ Агафьей Матвѣвной ему не совладать, и она всегда выходила изъ такого конфликта побѣдительницей. Съ устъ ея не срывается при этомъ ни одной жалобы, упрека, или выраженія усталости и досады, — лицо ея, какъ прежде, озарено привѣтливой улыбкой, и любить она Обломова не менѣе, если не больше. И когда умеръ Илья Ильичъ, — она поняла, можетъ быть, впервые, внутренній смыслъ своего бытія, и то, какое мѣсто занималъ въ немъ Обломовъ,—„она поняла, что проиграла и просіяла ея жизнь, что Богъ вложилъ въ ея жизнь душу и вынулъ опять; что засвѣтилось въ ней солнце и померкло навсегда... но зато навсегда осмыслилась и жизнь ея: теперь уже она знала, зачѣмъ она жила, и что жила не напрасно“...

И въ то время, когда Ольга Ильинская томилась недовольствомъ жизнью и мучилась сомнѣніями, внутренній смыслъ Агафьи Матвѣвны открывалъ ей несомнѣнную и вполне доступную ея пониманію истину,

что ея жизненная задача, поглотившая въ себя идеалы и мечты Обломова, рѣшена правильно, естественно и честно.

## XXXII.

Бережкова въ сопоставленіи съ Агаѳею Матвѣвной—Величавость Бережковой; сила воли.—Духовное родство ея съ Марейнкой и Вѣрой.—Личность Марейнки.—Характеристика ея у Д. С. Мережковского.—Личность Вѣры; ея вѣдливость и пытливость.—Встрѣча Вѣры съ Маркомъ.

Если изъ скромнаго домика на Выборгской мы перенесемся въ барскую усадьбу Бережковой, то, въ отсутствіе Райскаго, различіе въ типахъ насъ не особенно поразитъ. Разница будетъ заключаться, главнымъ образомъ, въ обстановкѣ, въ масштабъ жизненныхъ интересовъ; среди молодого поколѣнія придется отмѣтить нѣкоторую „умственность“, но общій колоритъ жизни, зависящій отъ характеровъ и вкусовъ людей, останется прежній. Бабушка и Агаѳья Матвѣвна многимъ напоминаютъ другъ друга, и еслибы перенести Агаѳью Матвѣвну въ условія крѣпостного помѣщичьяго быта, у нея развились бы тѣ же феодальныя привычки,—сходство на первый взглядъ могло бы показаться поразительнымъ.

Въ своемъ кругу Агаѳья Матвѣвна не умнѣе и не глупѣе бабушки; ея практическая смѣтка, какъ и „мудрость“ бабушки, одинаково почерпаются изъ одного и того же народнаго источника. Попытки просвѣтить Агаѳью Матвѣвну идеями общаго блага имѣли бы не больше успѣха, чѣмъ и въ томъ случаѣ, когда ихъ проводникомъ въ усадьбѣ Татьяны Марковны являлся просвѣщенный Титъ Никонъчъ. Въ то же время обѣ женщины были глубокими, душевными натурами, способными на продолжительную привязанность, на нѣж-

ную заботу, на жертву; наконецъ, въ сферѣ понятій своего круга обѣ были высоко-порядочны и честны.

Но по этой общей канвѣ жизнь провела у Бережковой болѣе сложный и тонкій узоръ. Основные черты характера развились у нея разностороннѣе и глубже. Даже не раздѣляя восторговъ Гончарова передъ Татьяной Марковной, нельзя не признать въ ней той особой величавости, которую придаетъ образу присутствіе могучаго духа, выдающейся силы воли. Бабушка была болѣе на виду, и героизмъ ея, на который она бывала способна въ минуты сильныхъ душевныхъ потрясеній, былъ замѣтнѣе и эффектнѣе, чѣмъ скрытый глубоко въ душѣ, не менѣе трогательный по существу, героизмъ Агаѣи Матвѣевны.

Недалеко отходятъ отъ бабушки, по своему внутреннему складу, въ смыслѣ типовъ, и обѣ ея внучки,—Марейнька и Вѣра. Еслибы наслѣдственность была ближе, еслибы Татьяна Марковна приходилась обѣимъ дѣвушкамъ матерью, мы сказали бы, что къ Марейнкѣ и Вѣрочкѣ перешли порознь всѣ наиболѣе типическія черты ея нравственной фізіономіи. У обѣихъ сестеръ на общія родовыя черты легли индивидуальныя особенности.

На протяженіи большей половины романа Марейнька кажется воплощеніемъ Татьяны Марковны въ юности. Непосредственная, жизнерадостная, практически-настроенная, она не знаетъ никакого раздвоенія, никакихъ внутреннихъ противорѣчій и мучительныхъ вопросовъ. Не выходя изъ круга бабушкиной морали, она съ наивной вѣрой въ Бога, судьбу и бабушкинъ авторитетъ соединяетъ свѣтлый взглядъ на жизнь и на міръ, гдѣ все для нея ясно и просто, какъ она сама. Она никогда не задумывалась, а смотрѣла на все бодро, зорко. Она все видѣла, все знала, что дѣлалось въ усадьбѣ и въ домѣ, была прилежна, добра, облегчала крестьянскую нужду, принимала участіе во всѣхъ событіяхъ усадеб-

ной и крестьянской жизни. „Только пьяницъ, какъ бабушка же, она не любила, и однажды даже замахнулась зонтикомъ на мужа, когда онъ, пьяный, хотѣлъ ударить при ней жену“... И Татьяна Марковна любила Марейнюку, какъ живое воплощеніе себя самой, въ укладѣ покойной и правильно рассчитанной жизни, какъ будущую правительницу и продолжательницу добрыхъ традицій, основанныхъ на скромности, вѣрѣ и трудѣ.

Образъ Марейнки нашелъ красивое истолкованіе въ „Вѣчныхъ спутникахъ“ Д. С. Мережковского.

Онъ говоритъ: „Граціозный образъ Марейнки—самое идеальное и нѣжное воплощеніе всего, что было хорошаго въ старой помѣщичьей жизни. Марейнюка живетъ въ родной обстановкѣ такъ же привольно и весело, какъ птица въ воздухѣ, рыба въ водѣ; ей ничего больше не надо. Это полная счастливая гармонія съ окружающей природой, не нарушенная ни однимъ ложнымъ звукомъ.

„Чего не знаешь,—съ наивностью признается Марейнюка, того не хочется. Вотъ Вѣрочка, той все скучно, она часто груститъ, сидитъ, какъ каменная, все ей будто чужое здѣсь! Ей бы надо куда-нибудь уѣхать, она не здѣшня. А я—ахъ какъ мнѣ здѣсь хорошо: въ полѣ, съ цвѣтами, съ птицами, какъ дышится легко! Какъ весело, когда съѣдутся знакомые!... Нѣтъ, нѣтъ,

нѣтъ здѣшня, вся вотъ изъ этого песочку, изъ этой травки не хочу никуда“. Жизнь такъ прекрасна, что люди несмотря на всѣ усилія, даже рабствомъ не могли испортить и сквозь „обломовщину“, сквозь крѣпостное право, пробивается она, чистая и вольная. Пусть Марейнюка кажется намъ неразвитой, глупенькой дѣвочкой, пусть читаетъ только такіе романы, которые кончаются свадьбой, запираетъ лакомства въ особый шкафикъ, зато какой поэзіей, счастьемъ и добротой вѣетъ она насъ отъ этого сердца! Всѣ новѣйшія идеи Райскаго отскакиваютъ отъ нея. Но развѣ она не исполняетъ того, что умнѣе всѣхъ этихъ идей—великую заповѣдь лю-



ви? „Она дѣвкамъ даетъ старыя платья... Къ слѣпому старику носить чего-нибудь лакомаго поѣсть или дать немного денегъ. Знаетъ всѣхъ бабъ, даже ребятишекъ по именамъ, послѣднимъ покупаетъ башмаки; шьетъ рубашонки“. Она любитъ дѣтей, любитъ жизнь вокругъ себя. Ея нѣжная женственная симпатія простирается еще дальше, за предѣлы человѣческаго міра, на всю природу, цвѣты, деревья, животныхъ.

„Люди большихъ городовъ, суетной жизни, оторванные отъ природы, никогда не знавшіе патріархальнаго очага, едва ли могутъ даже представить себѣ всю силу этой первобытной, физической и вмѣстѣ съ тѣмъ сердечной любви къ родимой землѣ. Они похожи на цвѣты, лишенные корней, перенесенные изъ лѣса въ комнату. Марейнка—это цвѣтокъ, растущій на волѣ, пустившій корни глубоко въ родную землю“...

Татьяна Марковна отражалась къ Марейнкѣ не сполна. Она переросла ее не только годами, жизненнымъ опытомъ и знаніемъ людей. Въ ней было начало, котораго вовсе не было въ Марейнкѣ, и которое всецѣло выпало на долю Вѣры. Начало это — порывистость и страстность натуры. Съ годами Татьяна Марковна, естественно, успокоилась, вошла въ общую норму обхожденія съ людьми и поступковъ, но и то, время отъ времени, она вспыхивала, какъ порохъ, когда ее задѣвали за живое, и — то становилась по-истинѣ величественна, когда стояла за правду, какъ въ сценѣ съ Тычковымъ, которому она указала на дверь своего дома, то поражала страшной силой духа и глубиной страданій, какъ въ ту ужасную ночь покаянія въ своемъ „грѣхѣ“.

Неуравновѣшенность Вѣриной натуры объясняется прежде всего порывистостью ея темперамента. Бережкова называла это свойство въ ней дикостью, но понимала, признавала, а главное—уважала его. Она и обходилась съ Вѣрой иначе, чѣмъ съ Марейнкой, не дѣлала ей

замѣчаній, и берегла, и угадывала въ одно и то же время. Но иногда Бережкова требовала помощи отъ Вѣры и роптала „на дикость“, когда дѣло шло о принятіи гостей. Вѣра хмурилась, страдала, и вдругъ перемогала себя: появившись среди гостей, она очаровывала ихъ веселостью, теплотой, остроуміемъ, граціей, такъ что сама Татьяна Марковна диву давалась. Но это состояніе длилось у Вѣры недолго. „Ее ставало на цѣлый вечеръ, иногда на цѣлый день, а завтра точно оборвется: опять уйдетъ въ себя — и никто не знаетъ, что у ней на умѣ или на сердцѣ“. Въ отличіе отъ Марейиньки, въ ней не было ясности и простоты, того, что называется открытой душой, и Райскій недаромъ называлъ ее неуловимой. „Какая противоположность съ сестрой,—воскликаетъ онъ о Вѣрѣ въ своихъ восторженныхъ грезахъ: та—лучъ, тепло и свѣтъ; эта вся—мерцаніе и тайна, какъ ночь—полная мглы и искръ, прелести и чудесъ“...

Марейинька беретъ жизнь, какъ она есть, отражая на себѣ всѣ переливы ея свѣта и тѣни; Вѣра всегда думаетъ надъ жизнью, пытается уловить ея тайну, ея внутренній смыслъ и то, какое мѣсто можетъ и должно принадлежать ей самой въ этомъ творящемся вокругъ нея процессѣ жизни. Чѣмъ больше укрѣпляется въ ней эта пытливость, чѣмъ глубже, съ помощью книгъ и идей, хочетъ она проникнуть въ самую сущность жизненныхъ явленій, тѣмъ большее несоотвѣтствіе встрѣчаетъ онъ между порывами своего исканія и окружающей обыденностью и низменной суетой чисто Обломовскаго переползанія изо дня въ день. И тамъ, гдѣ она ищетъ внутренняго содержанія, ей предлагаютъ одну голую форму, одну поверхность жизни, безъ ядра, безъ того внутренняго свѣта, которымъ озаряется и красится настоящая, истинно человѣческая, сознательная жизнь. Она еще бродитъ въ потемкахъ, не зная, куда идти, въ ея душѣ уже поднимается рѣшительный, хотя и

не высказываемый протестъ противъ безсодержательности и усыпляющей монотонности Обломовской жизни. Она готова броситься всѣми силами своей порывистой натуры на встрѣчу первому лучу, который укажетъ ей истинный путь къ уразумѣнію жизни и научить, какъ приложить ей свои силы, богатый запасъ которыхъ она чувствуетъ въ себѣ, чтобы жизнь не прошла безплодно. Она обо многомъ думала и до многого добиралась сама, силою своего ума и наблюдательности.

„Она не теряла изъ вида путеводной нити жизни, и изъ мелкихъ явленій, изъ немудреныхъ личностей, толпившихся около нея, дѣлала не мелкіе выводы, практиковала силу своей воли надъ окружавшею ее застарѣlostью, деспотизмомъ, грубостью нравовъ“...

„Она по этой простой канвѣ умѣла чертить широкій, смѣлый узоръ болѣе сложной жизни, другихъ требованій, идей, чувствъ, которыхъ не знала, но угадывала, читая за строками простой жизни другія строки, которыхъ жаждала ея умъ и требовала натура“. Но она была одна, вѣчно одна, со своими сомнѣніями и мечтами. Ей не съ кѣмъ подѣлиться ими, и не къ кому обратиться за совѣтомъ. Ни Татьяна Марковна, ни Титъ Никонъ не могутъ отвѣтить на ея запросы. Они—старое поколѣніе; каждый по своему, они пережили свою молодость не такъ, какъ переживаетъ Вѣра. Она инстинктивно чувствуетъ глубокую, въ этомъ смыслѣ историческую, разницу между собою и ими, — ей и въ голову не приходитъ обратиться къ нимъ за помощью и указаніемъ. И въ тотъ моментъ, когда она стоитъ на распутьи, оторвавшись отъ бабушкиной морали и чувствуя, съ одной стороны, невозможность вернуться къ ней, а съ другой, задыхаясь отъ невозможности найти выходъ жизненнымъ стремленіямъ впередъ,— въ этотъ самый моментъ передъ ней появляется Маркъ.

Маркъ поразилъ ея воображеніе, прежде всего, какъ необычное явленіе, составлявшее полнѣйшій контрастъ

съ опротивѣвшими ей формами мѣщанской обыденности. Онъ явился нарушителемъ всѣхъ укоренившихся въ этомъ обывательскомъ міркѣ взглядовъ и правилъ приличій, порядочности, благонадежности и благоразумія. Но Вѣра своимъ зоркимъ умомъ разглядѣла въ немъ то, что составляло въ немъ его сущность и чего, кстати сказать, не разглядѣлъ самъ Гончаровъ,—то, что онъ сталъ нарушителемъ этихъ правилъ не потому, чтобы быть по природѣ своей человѣкомъ негоднымъ, злымъ или грубымъ, но оттого, что онъ глубоко презиралъ эти правила и узаконявшіяся ими явленія, какъ отжившія, давно ненужныя и враждебныя новымъ побѣдамъ нестѣсняемой извнѣ, осмысленной жизни. Пренебрегать и возненавидѣть съ высоты діогеновскаго скептицизма и притомъ любви къ людямъ все, что для толпы составляетъ предметъ жизненныхъ усилій и вѣнецъ желаній, значило высказать большое личное и гражданское мужество, обнаружить недюжинную, даже героическую натуру,—и Вѣра поняла и оцѣнила его.

## XXXIII.

Маркъ Волоховъ, какъ типъ.—Его „новое ученіе“.—Личность Марка въ изображеніи Гончарова и въ дѣйствительности.—Бабушкина мораль и „софизмы“ Марка.

Гончаровъ недостаточно полно и опредѣленно передаетъ сущность „новаго ученія“, которое принесъ съ собою Маркъ; Тургеневъ въ своемъ Базаровѣ, рассказавъ объ этомъ отчетливѣе, но все еще недостаточно полно, а главное — недостаточно, можетъ быть, проникновенно въ глубь явленія; истинный характеръ того, что Гончаровъ называетъ „новой правдой“ и „новой наукой“, выяснить обстоятельнѣе только исторія, когда подсчитываетъ итоги дѣятельности подлинныхъ Базаровыхъ и Марковыхъ. „Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече“, — но и тѣхъ фактовъ, что уже выяснились и вѣдрили въ общественное самосознаніе, слишкомъ достаточно, чтобы видѣть, что Гончаровъ не все подслушалъ въ рѣчахъ Волохова и Вѣры и многому придавъ не вполне точный и реальный смыслъ.

Прежде всего, Маркъ — не отрицатель во имя только отрицанія. Если онъ и „нигилистъ“, то лишь въ очень опредѣленномъ, прямо историческомъ значеніи этого слова, но отнюдь не въ буквальномъ. Онъ задаетъ Райскому насмѣшливый вопросъ, уже не вѣруетъ ли тотъ, въ самомъ дѣлѣ, въ Бога, не ходитъ ли ко всенощной, словомъ — подкапывается подъ величайшіе вопросы духа — религію и вѣру... Но это лишь одна видимость, невинная игра словами, самъ же онъ, какъ это ни парадоксально на первый взглядъ, — вѣрующій и убѣжденный человекъ. Онъ отказывается вѣрить и смѣется надъ старымъ богомъ обломовскаго суевѣрія, надъ тѣмъ идоломъ, своего рода Перуномъ съ золотыми усами, надъ которымъ глумились и предки наши, когда увѣровали во

Христа. Богъ пестрой семьи обломовцевъ—богъ не любви и правды между людьми, но насилия и рабства, богъ—раздаватель житейскихъ благъ, лицепріятный и подкупный, а не верховный судія совѣсти, блюститель своихъ законовъ мира и правды на землѣ. Этому богу отказывается поклониться Маркъ, потому что у него есть свой. Пусть назоветъ онъ его матеріей, наукой, разумомъ, конечнымъ ~~результатомъ~~ <sup>результатомъ</sup> знанія и опыта, какъ угодно,—сущность остается одна и та же. Къ ней, къ этой сущности, обращены всѣ помыслы и надежды Марка, въ ней вся его религія и вѣра, его готовность жертвовать собою во имя счастья будущихъ поколѣній. Маркъ—весь человѣкъ будущаго, хотя въ этомъ онъ, можетъ быть, и не отдаетъ себѣ яснаго отчета; ему кажется, что тѣ начала, выразителями которыхъ онъ служить, вступаютъ въ жизнь вмѣстѣ съ нимъ, и что—онъ и есть работникъ настоящаго момента. Его постигаетъ неудача,—сѣмена, созрѣвшія въ самомъ, отъ него падаютъ на нераспаханную почву. Предстоитъ еще продолжительная работа, но изъ-за отдаленности цѣли и самая цѣль, къ которой онъ такъ пламенно стремится,—пересоздать общество на новыхъ началахъ—заставляетъ смотрѣть на него болѣе какъ на проникнутаго глубокой вѣрой идеалиста, орудующаго средствами положительной науки, чѣмъ на поверхностнаго скептика-матеріалиста или атеиста.

Основная цѣль стремленій Марка и заставила его объявить непримиримую войну всему прежнему, устарѣвшему, но еще прочно державшемуся строю русской жизни, съ его закоснѣлыми недостатками, крѣпостничествомъ, безправьемъ, произволомъ и всяческимъ гнетомъ, нашедшимъ себѣ бытовое оправданіе въ бабушкиной морали. У Марка призывъ къ этой борьбѣ выражается въ различныхъ, иногда весьма своеобразныхъ формахъ. То онъ смѣется надъ бабушкой и феодальными привычками, то подкапывается подъ авторитеты поч-

тенныхъ и заслуженныхъ людей, то бросаетъ вызовъ властямъ. „Перестанемте холопствовать,—говоритъ онъ Райскому:—пока будемъ бояться, до тѣхъ поръ не вразумимъ губернаторовъ“...

Когда Маркъ говоритъ о „новой, грядущей силѣ“, о „партіи дѣйствія“, онъ нисколько не рисуется этимъ и ни словомъ не высказываетъ своего преобладающаго значенія, своей какой-нибудь особенной роли среди своихъ единомышленниковъ. Его „партія дѣйствія“ не какая-нибудь организація, по естественная противница устарѣвшихъ пачаль жизни—молодое поколѣніе, тѣ, которыхъ, по его выраженію, „держатъ въ потемкахъ умы, питаютъ мертвечиной и вдобавокъ порютъ нещадно“; они—„падки на новое, рвутся изъ всѣхъ силъ—изъ потемокъ къ свѣту“. Маркъ—„вспрыскиватель мозговъ“ провинціальной молодежи; онъ будитъ въ нихъ мысль, возбуждаетъ въ нихъ критическое отношеніе къ дѣйствительности, „учитъ дураковъ“, какъ онъ выражается въ разговорѣ съ Вѣрой.

„Чему?—спрашиваетъ она.—Знаете ли сами? Тому ли, о чемъ мы съ вами годъ здѣсь споримъ? вѣдь жить такъ нельзя, какъ вы говорите. Это все очень ново, смѣло, занимательно“...

Какія усилія ни употребляетъ Гончаровъ, чтобы развѣнчать своего противника, образъ говоритъ самъ за себя. Все, что проповѣдывалъ Маркъ, было именно ново, смѣло и занимательно. Гончаровъ не рассказываетъ, о чемъ, кромѣ любви, они говорили и спорили цѣлый годъ, но изъ другихъ страницъ романа мы узнаемъ, что Маркъ говорилъ не отъ себя, что онъ самъ читалъ и другимъ давалъ книги, и сама Вѣра, по его указанію читала, напримѣръ, Прудона и Фейербаха. Давая читать свои „страшныя“ книги съ разборомъ, Маркъ однажды былъ очень огорченъ, когда двое юношей оказались недостаточно серьезными для его идей. Такъ или иначе, но умница Вѣра на этихъ кни-

гахъ могла провѣрить, насколько его ученіе было основано на фактахъ исторіи, жизни и науки, а не являлось только выраженіемъ его личныхъ взглядовъ, приложимыхъ, какъ въ этомъ хотѣлъ бы насъ увѣрить Гончаровъ, только къ его животнo-эгоистической теоріи свободной любви.

Вообще, насколько образъ Вѣры поражаетъ своей законченностью и художественной правдой въ описательной части романа, гдѣ о ней идетъ рѣчь, и въ отношеніяхъ къ Райскому, настолько онъ неясенъ, внутренно-противорѣчивъ и, скажемъ прямо, фальшивъ вездѣ, гдѣ она является рядомъ съ Маркомъ. Въ сопоставленіи съ нимъ—куда дѣвается ея протестъ противъ окружающей дѣйствительности, ея страстное исканіе правды и свѣта! Она еще болѣе замкнута съ Маркомъ, чѣмъ съ Борисомъ Райскимъ; прошелъ цѣлый годъ, по словамъ Гончарова, оживленныхъ бесѣдъ ея съ Маркомъ, но мы, по волѣ писателя, возвращаемся къ ней только тогда, когда она уже утомлена, разочарована, даже, безъ достаточныхъ основаній для читателей, предубѣждена. Словами Гончарова она обрушивается на Марка, какъ на проповѣдника новыхъ идей, спорить съ нимъ цѣлый годъ, читаетъ по его указаніямъ книги, находитъ его бесѣды „смѣлыми и занимательными“, и въ концѣ концовъ оказывается какой-то робкой и слабой овечкой, которую даже могучая страсть не была въ силахъ оторвать отъ бабушкиныхъ „подгнившихъ“ корней. „Не мнѣ спорить съ вами,—говоритъ она Марку со слезами на глазахъ,—опровергать ваши убѣжденія умомъ и своими убѣжденіями! У меня ни ума, ни силъ не станетъ. У меня оружіе слабое—и только имѣетъ ту цѣну, что оно мое собственное, что я взяла его въ моей тихой жизни, а не изъ книгъ, не по наслышкѣ“. Оказывается, не Маркъ привлекъ Вѣру надеждой на выходъ къ правдѣ и свѣту, какъ они понимались ею въ идеальномъ туманѣ будущаго, но Вѣра задалась



цѣлью приручить къ себѣ безпокойнаго и безпорядочнаго чудака и сдѣлать себѣ изъ него на всю жизнь спутника и друга. Какое разочарованіе и какая проза!

... „Она вздохнула, какъ будто перебирая въ памяти весь этотъ годъ.

— Вы поддавались моему... вліянію... И я тоже поддавалась вашему уму, смѣлости, захватила-было нѣсколько... софизмовъ...

— И на попятный дворъ, бабушки страшно стало! Что-жъ не бросили тогда меня, какъ увидали софизмы? Софизмы!

— Поздно было. Я горячо приняла къ сердцу вашу судьбу“...

Надо отдать справедливость Гончарову: романъ былъ задуманъ геніально, и еслибы авторъ не испортилъ его публицистическими вылазками противъ Марка и сохранилъ за нимъ идейно-общественный интересъ до конца, не сходя съ исторической и художественной почвы, его роману предстояло бы сдѣлаться, быть можетъ, явленіемъ исключительнымъ во всей русской литературѣ. Но изображать соціально-политическія задачи, какъ онѣ рѣшались на глазахъ писателя, было не подъ силу Гончарову, и онъ быстро перевелъ романъ на почву психологическаго интереса къ развитію страсти, изображенія которой давались ему гораздо легче, открывая большой просторъ запасу его наблюдательности и свойству таланта.

## XXXIV.

Маркъ Волоховъ, какъ типъ.—Маркъ и Вѣра.—Полемика Гончарова съ Маркомъ.—Неосновательность обвиненій, возводимыхъ Гончаровымъ на Марка, какъ представителя „новой силы“.

Впутать страсть въ общественную канву романа было не только естественно, съ обычной точки зрѣнія, не только предусмотрительно, съ точки зрѣнія занимательности его для читателей, но и полезно для Гончарова въ его стремленіи развѣнчать Волохова, показать что онъ нисколько не лучше самыхъ обыкновенныхъ, не мудрящихъ надъ жизнью людей. Дѣйствительно, черезъ годъ оживленныхъ споровъ, острота логическихъ противорѣчій и несогласій смягчается чувствомъ послѣдовательно-растущей и взаимно-угадываемой любви. Маркомъ овладѣваетъ страсть, и, подъ ея вліяніемъ, онъ уже не видитъ въ Вѣрѣ свою ученицу, одну изъ возможныхъ участницъ „партіи дѣйствія“, но только женщину, обворожительную граціей, умомъ, красотой. А Маркъ не чувствителенъ къ этимъ качествамъ, не смотря на внѣшнюю грубоватость своей натуры, и умѣетъ цѣнить высшія, не всякому понятныя движенія женской души, ея безконечную нѣжность и чуткость. И влюбленный, почти обезумѣвшій отъ страсти, чего-чего не наговорилъ онъ въ своихъ горячихъ рѣчахъ, полныхъ логическихъ несообразностей и восторженнаго бреда. И тѣмъ не менѣе, готовый идти на всѣ уступки, во имя Вѣры, какія только возможны, даже остаться тамъ, „жить тише воды, ниже травы“, онъ ни пяди не уступаетъ ей изъ своихъ коренныхъ убѣжденій, и въ то же время не лжетъ и не обманываетъ ее клятвами въ вѣчной и ненарушимой любви.

„— Чего же еще? Или... уѣдемъ вмѣстѣ! — вдругъ сказалъ онъ, подходя къ ней.

„Передъ ней будто сверкнула молнія. И она бросилась къ нему и положила руку на плечо.

„Ей неожиданно отворились двери въ какай-торай. Цѣлый міръ улыбнулся ей и звалъ съ собой...

„Съ нимъ, далеко гдѣ-нибудь...“—думала она. Нѣга страсти стукнулась тихо къ ней въ душу.

„Онъ колеблется, не можетъ оторваться, и это теперь... Когда она будетъ одна съ нимъ... тогда, можетъ быть, онъ и самъ убѣдится, что его жизнь только тамъ, гдѣ она“...

„Все это пѣлъ ей какой-то тихій голосъ.

— Вы рѣшились бы на это?—спросилъ онъ ее серьезно.

„Она молчала, опустивъ голову.

— Или боялись бы бабушки?

„Она очнулась.

— Да, это правда: еслибъ не рѣшилась, то потому только, что боялась бы ее...—шептала она.

— Такъ не подходите же ко мнѣ близко, — сказалъ онъ, отодвигаясь:—старуха бы не пустила.

— Ахъ, нѣтъ, пустила и благословила бы, а сама бы умерла съ горя! вотъ чего боялась бы я!.. Уѣхать съ вами!—повторила она мечтательно, глядя долго и пристально на него:—А потомъ?

— А потомъ... не знаю...“

Развиваясь и осложняясь все новыми и новыми моментами борьбы, взаимныхъ убѣжденій и уступокъ, страсть достигаетъ своего апогея и доводитъ Марка и Вѣру до окончательнаго „обрыва“... до катастрофы.

И вотъ—Марка возлѣ нея нѣтъ... вокругъ знакомыя лица бабушки, Марѣиньки, Райскаго, Тушина, выступающаго на первый планъ. Страданіе и покой, молитвы и утѣшенія, слезы и жгучая боль раскаянія и скорби волной пронеслись надъ душой Вѣры и снова вернули въ лоно бабушкиной морали и „старой правды“. Съ ними, волей-неволей, пришлось помириться. Прохо-

дили дни, рассказывает Гончаровъ, а съ ними опять тишина повисла надъ Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, какъ порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше ровнѣе.

„Но въ этой тишинѣ отсутствовала безпечность“. Ее унесъ съ собою Маркъ, и въ этомъ сонномъ царствѣ всѣ вострепнулись и задумались надъ жизнью.

„Вкушая, вкусихъ мало меда, и се—азъ умираю“... Вѣра сдѣлала попытку вырваться изъ угнетавшаго ее строя патріархальной жизни, но она сама была еще органически привязана къ этому строю и не могла найти въ себѣ силы оторваться отъ него и безповоротно уйти, вслѣдъ за Маркомъ, навстрѣчу неизвѣстности и судьбѣ. Она такъ и осталась на распутьи, на хлѣбахъ у старой жизни, приготовившей ей компромиссъ въ бракѣ съ Тушинымъ, въ родѣ того, какимъ едва ли не былъ бракъ Ольги со Штольцемъ.

И поставивъ на счетъ Марку всѣ угловатые штрихи и промахи, допущенные имъ въ горячкѣ упоенія страстью, Гончаровъ оставилъ въ тѣни самую сущность его протестующей натуры и не разглядѣлъ въ немъ его основной черты—органическаго революціоннаго начала.

Странное впечатлѣніе производятъ іереміады Гончарова противъ Марка во второй половинѣ романа. Еще Райскаго можно было понять. Сведя свои отношенія къ Марку исключительно на почву заступничества, въ качествѣ „брата и друга“, за Вѣру, онъ могъ бы вымещать на немъ всѣ обиду уязвленнаго ревниваго самолюбія, свою досаду на то, что не онъ, Борисъ Павловичъ Райскій, артистъ, художникъ и поэтъ, но какой-то рагвену Маркъ Волоховъ, человѣкъ „безъ имени, безъ прошлаго“, „бунтъ“, „трактирный либераль“, сталъ избранникомъ Вѣры. Будучи отъ природы склоненъ относиться къ своимъ поступкамъ снисходительно и легко, чему помогала способность прикрывать ихъ цвѣтами поэзіи, какъ только они отодвигались отъ него

во времени, Райскій могъ не отдавать себѣ отчета, что могло быть истиннымъ источникомъ его враждебнаго отношенія къ Марку. Не прямо, не въ лицо, какъ слѣдовало бы въ открытой борьбѣ, но заднимъ числомъ, на страницахъ своего дневника или въ запискахъ для будущаго романа, Райскій могъ бы сыпать на него укоризны и оскорбленія, со всею опрометчивостью, на которую только способны ревность и злоба. Мы говоримъ—Райскій, но за спиной его стоитъ—Гончаровъ. „Объективный“ писатель сливается въ этомъ отношеніи со своимъ героемъ; его разсужденія незамѣтно переходятъ въ мысли и чувства Райскаго, и получается странное раздвоеніе: то, что понятно психологически въ Райскомъ, какъ въ человѣкѣ, котораго постигли неудача и разочарованіе въ любви, становится положительно необъяснимымъ, съ точки зрѣнія художественной логики, въ Гончаровѣ, съ его ролью строгаго судьи и гражданина. Можно быть не особенно требовательнымъ къ Райскому относительно его общественныхъ взглядовъ, при которыхъ Татьяна Марковна является для него „идеаломъ, вѣнцомъ свободы“, женщиной, „стоящей на вершинахъ развитія, умственнаго, соціальнаго“, но встрѣтить такое явное совпаденіе со взглядами самого Гончарова нельзя, не заподозривъ въ писателѣ лично зачаткаго чувства негодованія и вражды.

Въ самомъ дѣлѣ, вникните въ смыслъ взволнованной рѣчи Райскаго, обращенной къ Марку въ одну изъ минутъ, когда Борису Павловичу было не до рисовки и позы, и когда подлинныя мысли и взгляды невольно, сами собой вырывались наружу. Онъ только-что открылъ Вѣрину „тайну“ и не знаетъ, на что ему рѣшиться:—привести ли бабушку, съ толпой людей, на дно обрыва или застрѣлить „собаку“ Марка, для чего, впрочемъ, у него не хватаетъ духу,—и безумная злоба овладѣваетъ имъ. „Это наша „партія дѣйствія“!—прошепталъ онъ:—да, изъ кармана показываетъ кулакъ полиціймейстеру,

проповѣдуетъ горничнымъ да дьячихамъ о нелѣпости брака, съ Фейербахомъ и съ мнимой страстью къ изученію природы вкрадывается въ довѣренность женщинъ и увлекаетъ вотъ этакихъ слабонервныхъ умницъ!... И защитникъ Вѣры, ея „братъ и другъ“, не находитъ ничего лучшаго сдѣлать въ эту минуту, какъ довершить трагизмъ ея положенія послѣднимъ ударомъ—обдуманно заготовленнымъ букетомъ померанцевыхъ цвѣтовъ, брошенныхъ въ ея комнату „дружеской“ рукой.

Сопоставьте съ этой рѣчью Райскаго разсужденіе Гончарова о Маркѣ, сказанное, конечно, въ болѣе спокойномъ тонѣ, и вы не замѣтите никакой разницы въ коренномъ ихъ смыслѣ. „Онъ (Маркъ), во имя истины, развѣнчалъ человѣка въ одинъ животный организмъ, отнявши у него другую, не животную сторону. Въ чувствахъ видѣлъ только рядъ кратковременныхъ встрѣчъ и грубыхъ наслажденій, обнажая ихъ даже отъ всякихъ иллюзій...“ „Оставивъ себѣ одну животную жизнь, „новая сила“ не создала, вмѣсто отринутаго стараго, никакого другого, лучшаго идеала жизни“... „Онъ проповѣдовалъ какую-то правду, какую-то честность, какія-то стремленія къ лучшему порядку“... Изъ всего ученія Марка Гончаровъ усвоилъ только одну сторону—свободу отъ обязательствъ, налагаемыхъ бракомъ, вполне умѣстную тамъ, по мнѣнію Марка, гдѣ женщина является самостоятельнымъ, равноправнымъ и развитымъ членомъ общества, и частный случай преждевременной или неудачной попытки провести эту теорію въ жизнь сдѣлалъ выраженіемъ своего несочувствія новому ученію вообще.

Этого мало Гончарову. Закончивъ сцену катастрофы мелодраматическимъ восклицаніемъ—„Боже, прости ее, что она обернулась!“—Гончаровъ заставилъ Марка самого произнести себѣ судъ и осужденіе и наказать себя за нехорошій поступокъ съ Вѣрой. Не нужно быть

очень пронизательнымъ, чтобы замѣтить, насколько посвященныя этому самосуду страницы внутренно фальшивы и противорѣчатъ всему нравственному и умственному складу Марка. Обратимъ лишь вниманіе на авторскія подчеркиванья, въ кавычкахъ и скобкахъ, нѣкоторыхъ словъ, напоминающія режиссерскія помѣтки на роляхъ, и не будемъ упускать изъ виду общее поведеніе Марка.

Все та же страшная ночь катастрофы въ обрывѣ. Маркъ поднимается на дорогу и мучится вопросомъ: что онъ сдѣлалъ? — „Онъ припомнилъ,—разсказываетъ Гончаровъ,—какъ въ послѣднемъ свиданіи „честно“ предупредилъ ее. Смыслъ его словъ былъ тотъ: „помни, я все сказалъ тебѣ впередъ, и если ты, послѣ сказаннаго, протянешь руку ко мнѣ—ты моя: но ты и будешь виновата, а не я“.

Но это разсужденіе, при его видимой наивности, было не въ духѣ Марка, даже въ томъ неровномъ освѣщеніи, какое придаетъ ему Гончаровъ. „Обмануть ее, увлечь, обѣщать „безсрочную любовь“, сидѣть съ ней годы, пожалуй—жениться“, — такъ раздумывалъ Маркъ о Вѣрѣ до катастрофы—и ужасъ охватилъ его: „Онъ содрогнулся опять при мысли употребить грубый, площадной обманъ“... И онъ любитъ, ослѣпляется страстью, падаетъ съ Вѣрой на дно обрыва, но не обманываетъ и въ такихъ вопросахъ не лжетъ: Это его отличительный признакъ.

„Далѣе, онъ припомнилъ,—продолжаетъ Гончаровъ самовнушеніе Марка,—какъ онъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, покидалъ ее одну, повисшую надъ обрывомъ, въ опасную минуту. „Я уйду“, говорилъ онъ ей („честно“) и уходилъ, но оборотился, принявъ ея отчаянный нервный крикъ *прощай* за призывъ—и поспѣшилъ на зовъ...“

Построивъ на разсужденіяхъ Райскаго цѣлую теорію слѣпой, всесокрушающей, „стихійной“ страсти, Гончаровъ менѣе всего склоненъ примѣнить ее къ Марку.

Здѣсь передъ нимъ *человѣкъ*, но не *идея*. Съ нимъ Гончаровъ и борется, какъ съ безплотной и безкровной отвлеченностью, логическая несостоятельность которой является цѣлью его усилій. Въ самомъ дѣлѣ, прислушаемся къ дальнѣйшимъ воспоминаніямъ Марка: какъ мало въ немъ живого и реально страдающаго человѣка!

„Нечестно вѣнчаться, когда не вѣришь!“—гордо сказалъ онъ ей, отвергая обрядъ и „безсрочную любовь“ и надѣясь достигъ побѣды и безъ этой жертвы... Изъ логики и „честности“—говорило ему отрезвившееся отъ пьянаго самолюбія сознаніе—„ты сдѣлалъ двѣ ширмы, чтобъ укрываться за нихъ съ своей „новой силой“, оставивъ безсильную женщину раздѣлываться за свое и за твое увлеченіе, обѣщавъ ей только одно: „уйти, не унося съ собой никакихъ „долговъ“, „правилъ“ и „обязанностей“... оставляя ее нести ихъ одну“.

Но если кого и можно было обвинять въ „пьяномъ самолюбіи“, то болѣе Райскаго, чѣмъ Марка. Къ послѣднему скорѣе могъ быть обращенъ упрекъ въ стремленіи, наоборотъ, къ излишней трезвости, доходившей до цинизма, но никакъ не въ самолюбіи.

„Ты не пощадилъ ее „честно“,—читаемъ дальше,—когда она падала въ безсиліи, не сладилъ потомъ „логично“ съ страстью, а пошелъ искать удовлетворенія ей, поддаваясь „нечестно“ отвергаемому твоимъ „разумомъ“ обряду и впереди заботливо сулилъ — одну разлуку! Манилъ за собой и... договаривался! Вотъ что ты сдѣлалъ!..“

Однако, замѣтимъ мы, изъ словъ Марка вовсе не видно, чтобы онъ „сулилъ“, да еще „заботливо“, разлуку, не рискуя быть смѣшнымъ по меньшей мѣрѣ. Онъ только не закрывалъ глазъ на *естественную возможность* разлуки и говорилъ о ней, какъ о возможной крайности, боясь и мысли обмануть себя и Вѣру.

„Волкомъ“ звала она тебя въ глаза, „шутя“: — теперь, не шутя, заочно, къ хищничеству волка—въ па-



мати у ней теперь останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, и не останется никакого слѣда о человѣкѣ!..“

Такъ казнить себя Маркъ, по рецепту Гончарова, будучи готовъ въ то же время, изъ-за любви къ ней, согласиться на все, даже на бракъ. Эта готовность — не волчья и не лисья, и обвиненіе падаетъ само собою. Но постараясь стать на другую точку зрѣнія и зададимъ вопросъ: какъ перемѣнились бы роли, еслибы на мѣстѣ Марка былъ „союзникъ и другъ“ Вѣры — Борисъ Павловичъ Райскій?

Можно съ увѣренностью сказать, что Райскій велъ бы себя діаметрально противоположно Марку. Чувство послѣдняго развивалось на почвѣ стремленія повліять на умственный складъ пытливой и серьезной дѣвушки, сдѣлать изъ нея товарища и союзницу въ борьбѣ съ косностью и рутиной. Райскій чуть не съ перваго своего свиданія съ Вѣрой началъ ухаживать за нею, причемъ это ухаживаніе по большей части носило пошловатый характеръ. Съ назойливостью, доходившей до наглости, онъ преслѣдовалъ своимъ фразерствомъ на тему о своей колоссальной страсти, на днѣ которой лежала самая обыкновенная чувственность и животный эгоизмъ. Въ противоположность Марку онъ стремился лишь къ тому, чтобы привить ей науку страсти нѣжной и „развить изъ нея женщину“. Въ этого стремленія внутренній міръ Вѣры мало интересовалъ Райскаго. Не будь ея, съ ея обаятельной красотой, онъ съ меньшимъ усердіемъ старался бы о „развитіи женщины“ въ Марѣинкѣ, и въ романѣ есть сцена, гдѣ довѣрчивая и наивная Марѣинька едва не сдѣлалась жертвой чувственной распущенности „брата“, Умная и чуткая Вѣра сразу сообразила, съ кѣмъ имѣеть дѣло; его любовныя изліянія вскорѣ надоѣли ей, а нескромное любопытство и насильственное залѣзаніе въ ея душу заставили ее быть съ нимъ особенно осто-

рожной. И тѣмъ не менѣе она была снисходительна и добра къ нему; она видѣла, что онъ ее любитъ, и онъ дѣйствительно любилъ ее, потому что видѣлъ, что его не любили, и страдать больше отъ неудовлетвореннаго самолюбія, чѣмъ отъ любви. Любовь его была больше любовью воображенія, чѣмъ сердца: она вспыхивала какъ порохъ и, если не встрѣчала препятствій, такъ же быстро погасала... Наконецъ, положеніе Вѣры было трудное между бабушкой и Райскимъ, и невинная хитрость, придуманная ею съ Маркомъ, имѣла одну цѣль—усмирить бушующія страсти Райскаго и заставить его уѣхать.

Предположимъ теперь, что случилось то, чего не было,—что Вѣра отвѣтила Райскому взаимностью. Рѣшился ли бы Райскій съ тою же чистосердечностью, пусть даже грубой откровенностью, высказать Вѣрѣ свои намѣренія, каковы бы они ни были, или не употребилъ ли бы онъ всѣ усилія, чтобы пышными фразами о любви и „роскошныхъ ощущеніяхъ“ грозы-страсти заполнить воображеніе и усыпить дѣвическую бдительность съ цѣлью подготовить побѣду? Намъ кажется, двухъ отвѣтовъ не можетъ быть на эти вопросы. Райскій—типичный соблазнитель женщинъ и дѣвушекъ на почвѣ артистичности своей натуры, и еслибы Вѣра не поддавалась сразу обаянію его артистичности и горячечныхъ рѣчей о страсти, онъ не остановился бы ни передъ какими обѣщаніями и клятвами, ни мало не заботясь объ ихъ исполненіи. А когда цѣль была бы достигнута, и Райскій испыталъ бы „блаженство раздѣленной любви“, онъ не менѣе Марка испугался бы перспективы женитьбы и, чувствуя, что страсть его испаряется, какъ дымъ, направилъ бы всѣ силы своей творческой изобрѣтательности на то, чтобы отыскать благоприятный предлогъ для уклоненія отъ логически необходимыхъ, съ точки зрѣнія круга его идей, послѣдствій своего поступка; онъ не задумался бы пу-

ститъ въ ходъ пышныя разсужденія о своемъ талантѣ, объ артистической дѣятельности, о долгѣ, который лежитъ на немъ передъ человѣчествомъ, о славѣ, которая его ожидаетъ, и о томъ, что для его творчества, какъ воздухъ для птицъ и вода для рыбъ, необходимы независимость и свобода. Онъ, вѣдь, такъ и говоритъ когда бабушка и Вѣра упрашиваютъ его, въ концѣ романа, остаться въ деревнѣ и жениться,—„воображеніе опять запроситъ идеаловъ, а нервы новыхъ ощущеній“, и скука съѣстъ его заживо. Какія, молъ, цѣли у художника?—„Творчество—вотъ его жизнь!“ И въ то же время, какъ Вѣру насильственно отняли у Марка, не давъ ей притти въ себя и разобраться въ кошмарѣ чувствъ и мыслей, Райскій обратился бы въ позорное бѣгство, оставивъ на долю Вѣры расплату не за горячку страсти, но за свою невольную ошибку, свое разочарованіе и обманъ.

Допустимъ даже, что Райскій женился бы на Вѣрѣ. Измѣнилось бы что-нибудь отъ этого по существу? Теперь даже съ большимъ правомъ, чѣмъ въ шестидесятые годы, мы можемъ сказать, что въ общемъ вихрѣ крушенія старой жизни семья страдаетъ больше всего, и въ этой ломкѣ семьи, при полной невозможности предсказать формы ея будущаго развитія, обрядъ менѣе всего гарантируетъ прочность семейнаго союза. Слишкомъ потрясены основные устои, на которыхъ она зиждется, по смыслу всѣхъ естественныхъ и божескихъ законовъ. Бракъ Райскаго съ Вѣрой прибавилъ бы къ общей массѣ еще одну несчастную семью, гдѣ на долю Вѣры падали бы всѣ тяжкія послѣдствія насильственно скрѣпленнаго союза, а Райскій продолжалъ бы, какъ прежде, носиться по свѣту, вплетая, для пушлага обаянія, въ свои артистическіе лавры, романтическую усмѣшку разочарованнаго человѣка. Нѣтъ, ужъ лучше слѣдовать Марку, не обманывать себя и другихъ и, признавая въ женщинѣ прежде всего человѣка, ста-

вить передъ ней вопросъ открыто и прямо, и не отступать малодушно отъ того исхода, къ которому приведетъ борьба между трезвой мыслью и ослѣпленнымъ чувствомъ—къ тому ли, что называется катастрофой, или къ тихой семейной пристани... Словомъ, — какъ разсуждаетъ Маркъ, — „свобода съ обѣихъ сторонъ—и затѣмъ—что выпадетъ кому изъ насъ на долю: радость ли обоимъ, наслажденіе, счастье, или одному радость, покой, другому мука и тревоги—это уже не наше дѣло. Это указала бы сама жизнь, а мы исполнили бы слѣпо ея назначеніе, подчинились бы ея законамъ“. Лучше итти навстрѣчу всѣмъ неизбѣжнымъ случайностямъ, которыя постигаютъ человѣка на всѣхъ путяхъ его существованія, но итти сознательно, съ гордо поднятой головой, и, можетъ быть, пасть въ борьбѣ, чѣмъ умышленно затмить глаза туманомъ фантастическихъ надеждъ и растеряться отъ неожиданности при первомъ ударѣ судьбы.

---

## XXXV.

„Грѣхъ“ Татьяны Марковны и Вѣры.—Мотивъ покаянія и примиренія.—Бабушкина традиція въ Вѣрѣ.—Эпилогъ въ литературѣ и жизни.

Сопоставляя образы Татьяны Марковны и Марейньки, мы замѣчали, что, при наличности многихъ общихъ чертъ ихъ натуры, бабушка была гораздо сложнѣе и шире. Коренная черта, которою бабушка переросла Марейньку, заключалась въ томъ, что въ основѣ ея характера, ставшаго подъ конецъ жизни властнымъ и энергичнымъ, лежала страстность, вся ушедшая на кипучую, чисто муравьиную дѣятельность въ сферѣ хозяйственныхъ интересовъ. По временамъ, какъ мы видѣли это въ сценѣ съ Титомъ Никоничемъ, это страстное начало выходило изъ береговъ административной распорядительности, и бабушка становилась способна на такіе размахи темперамента, какіе, казалось, были вовсе несвойственны ей въ обычное время, а для Марейньки были бы невозможны и подавно. Этимъ началомъ порывистости, энергіи, вообще скрытой мощи духа Татьяна Марковна напоминаетъ Вѣру. Вѣра является какъ бы воплощеніемъ тѣхъ свойствъ натуры Бережковой, которыя не нашли себѣ выраженія въ Марейнькѣ, и сама, какъ нарочно, лишена наиболѣе типичныхъ особенностей своей сестры — ея наивности, хозяйственности и простоты.

Въ образѣ Татьяны Марковны, какой она была въ молодости, сливались, повторимъ еще разъ, Марейнька и Вѣра. Еслибы Бережкова приходилась имъ не двоюродной или троюродной бабушкой, но матерью, какъ ее невольно хочется видѣть въ романѣ, мы сказали бы, что двойственность ея натуры, смиренная покорность судьбѣ и рядомъ—готовность къ дерзанію, къ порыву,

выразилась на дочеряхъ съ удивительной степенью наслѣдственной передачи. Она сама говоритъ о внучкахъ, что онѣ ей — тѣ же родныя дочери; Вѣра такъ и называетъ ее послѣ катастрофы, а за ней употребляетъ это названіе и Гончаровъ. „Вѣра, очнувшись на груди *этой своей матери*, въ потокахъ слезъ, безъ словъ, въ судорогахъ рыданій, изливала свою исповѣдь“...

Райскій долго не могъ понять Татьяну Марковну, и даже тогда, когда онъ узналъ и понялъ Вѣру. Но ихъ сопоставленіе невольно напрашивалось у него. Въ Вѣрѣ оканчивалась его статуя гармонической красоты. А тутъ рядомъ, возникала другая статуя—сильной античной женщины—въ бабушкѣ. Та огнемъ страсти, испытанія очистилась до самопознанія и самообладанія, а эта?...

„Откуда у ней этотъ источникъ мудрости и силы? Она—дѣвушка!“

Райскій не могъ добраться до отвѣта: бабушка была для него загадкой.

Эта загадка раскрылась—и раскрылась не случайно. Бабушка всю свою жизнь вѣрила, что надъ міромъ царятъ высшіе законы, есть Богъ, который все видитъ и знаетъ. Ему извѣстны всѣ тайные помыслы и дѣла. Есть судьба, отъ которой никуда не спрячешься и не уйдешь. Надо смиряться и покоряться ихъ велѣніямъ и не забывать, что въ мірѣ царитъ вѣчный духъ справедливаго воздѣйствія за дѣла, что сказалось въ великой формулѣ—„Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ“...

И она на себѣ испытала этотъ вѣчный законъ, когда увидѣла перстъ Божій, карающій ее, въ „несчастіи“ Вѣры за „грѣхъ“, постигшій Татьяну Марковну чуть не полвѣка назадъ. Въ страшной сценѣ покаянія бабушки, исполненной Шекспировскаго драматизма, ея натура проявила всю доступную ей мощь ея духа, всю глубину покаянной тоски, этой родовой славянской

черты, внезапно вспыхнувшей въ ней, при извѣстїи о „падении“ Вѣры.— „Я думала, грѣхъ мой забыть, прощенья,—кается она Вѣрѣ.—Я молчала и казалась праведной людямъ: неправда! Я была, какъ „окрашенный гробъ“ среди васъ, а внутри тайлся неомытый грѣхъ! Богъ покаралъ меня въ немъ. Прости же меня отъ сердца...

— Бабушка! развѣ можно прощать свою мать? Ты—святая женщина! Нѣтъ другой такой матери... Еслибъ я тебя знала... вышла ли бы я изъ твоей воли?..

— Это мой другой страшный грѣхъ!—перебила ее Татьяна Марковна:—я молчала и не отвела тебя... отъ обрыва! Мать твоя изъ гроба достаетъ меня за это; я чувствую—она все снится мнѣ... Она теперь тутъ, между насъ... Прости меня и ты, покойница!—говорила старуха, дико озираясь вокругъ и простирая руки къ небу. У Вѣры пробѣжала дрожь по тѣлу...—Прости ты меня, Вѣра,—простите обѣ!.. Будемъ молиться!“...

Это въ полномъ смыслѣ слова—ужасный моментъ, если представить себѣ, кромѣ реальнаго, все суевѣрное значеніе факта для обѣихъ женщинъ. Въ этотъ моментъ онѣ сливаются въ общемъ чувствѣ страха не передъ наказаніемъ, не передъ позоромъ, но передъ жизнью вообще, передъ стихійностью ея проявленій, затмевающихъ въ умѣ и сердцѣ людей присущее имъ—болѣе естественное начало, парализующихъ волю и разумъ. Въ этотъ моментъ нарушается граница лѣтъ, опыта, положеній, и Вѣра переходитъ въ Татьяну Марковну, какъ нѣкогда Александръ Адуевъ сливался до полного совпаденія съ Петромъ Ивановичемъ, тамъ—по сходству характера и бытовой обстановки, здѣсь—по сходству характера и психологическимъ мотивамъ драмы. Гончаровъ и укладываетъ дальнѣйшую судьбу Вѣры въ бабушкину колею. „Стало быть, ей, Вѣрѣ,—говорить онъ,—надо быть бабушкой въ свою очередь, отдать всю жизнь другимъ и, путемъ долга, нескон-

чаемыхъ жертвъ и труда, начать новую жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва... любить людей, правду, добро“...

Виновникомъ, какъ принято говорить, бабушкина грѣха былъ ея старый и неизмѣнный другъ—Титъ Никонычъ Ватутинъ. Послѣ объясненія съ Вѣрой, она послала за нимъ и, когда онъ пріѣхалъ, увела его въ садъ. „Тамъ, сидя на скамьѣ Вѣры, она два часа говорила съ нимъ, и потомъ воротилась, глядя себѣ подъ ноги, а онъ, не зашедши къ ней, точно убитый, отправился къ себѣ, велѣлъ камердинеру уложиться, послалъ за почтовыми лошадьми и уѣхалъ въ свою деревню, куда нѣсколько лѣтъ не заглядывалъ“.

Неизвѣстно, о чемъ говорили они, но было ясно одно: Титъ Никонычъ долженъ былъ взять на себя половину „несчастія“ Вѣры.

Тутъ было что-то роковое и трогательное вмѣстѣ. Незвѣстно по роману, какъ прошли дальнѣйшіе годы Бережковой и Ватутина, но аналогія изъ жизни привела, по разсказу очевидца, тоже къ роковому и трогательному эпилогу: „Авдотья Матвѣевна (мать Гончарова) давно въ могилѣ лежитъ: годъ только жила послѣ своего Николая Николаевича, оба преставились на Пасху; говорятъ—„счастливы“, кто умираетъ на Пасху, въ рай пойдутъ“...



## XXXVI.

Мотивъ паденія въ творествѣ Гончарова.—Его художественныя выраженія въ различныхъ произведеніяхъ.— Примирительная и оправдательная нотка въ разработкѣ этого мотива.

Мотивъ паденія былъ однимъ изъ основныхъ мотивовъ творчества Гончарова. Начинаясь въ „Иванѣ Саввичѣ Поджабринѣ“ эпизодами легкомысленныхъ связей съ женщинами, мотивъ этотъ играетъ видную и уже серьезную роль въ „Обломовѣ“, въ отношеніяхъ Ильи Ильича къ Авдотѣ Матвѣевнѣ, въ концѣ-концовъ оформленныхъ брачнымъ обрядомъ,—въ „Обрывѣ“ же, какъ мы видѣли, онъ былъ поставленъ на высоту социально-этической задачи. Вѣра понимала ее и тщетно искала сознательнаго и жизненно-правильнаго рѣшенія. Она обращалась къ тому, что бабушка называла „провидѣніемъ“ и „судьбой“, но „я тамъ допрашивалась искры, чтобъ освѣтить мой путь, и не допросилась“,—говоритъ она. Не пошла она и за Маркомъ, испугавшись неизвѣстности и крайностей, какъ ей казалось, новаго пути, и дѣло кончилось, по-гончаровски, компромиссомъ, примиреніемъ крайнихъ рѣшеній, какія предлагали ей голосъ протестующаго ума и страсти, съ одной стороны, и боязнь авторитета бабушкиной морали, съ другой. Страсть и протестъ нашли выходъ въ чувствѣ благодарной дружбы къ Тупину, и святость брачныхъ узъ является такимъ же *deus ex machina* для сложнаго узла личныхъ и общественныхъ нитей въ сердцѣ Вѣры, какъ—мы указывали уже на это—въ бракѣ Ольги со Штольцемъ, и только у Обломова съ Авдотьей Матвѣевной бракъ явился естественной и неизбежной формой ихъ взаимныхъ, органически развившихся въ нихъ симпатій, образа мыслей и взглядовъ.

*Въ романѣ старинный типъ Вѣры и Тупина*

У Гончарова разработка этого мотива далека отъ какого-нибудь опредѣленнаго рѣшенія или принципіальнаго взгляда. Но она заканчивается у него не одной лишь примирительной, но и оправдательной ноткой. Слабо и какъ будто неувѣренно пробивается эта нотка въ разныхъ мѣстахъ, но, въ общемъ впечатлѣніи, тѣмъ не менѣе, она звучитъ послѣдовательно и опредѣленно. Ни бабушка, ни Вѣра, послѣ своего „грѣха“, не утратили для него своего обаянія; напротивъ, ихъ образы становятся женственнѣе и мягче, особенно Вѣры, по мѣрѣ того, какъ она вдумчивѣе и серьезнѣе смотритъ на жизнь—не въ идеальномъ отдаленіи, а на ту, что творилась вблизи, вокругъ нея, и которой она не замѣчала раньше. „Бабушка,—говоритъ Гончаровъ отъ лица Бережковой,—не казнила Вѣру никакимъ притворнымъ снисхожденіемъ, хотя, очевидно, не принимала такъ легко рѣшительный опытъ въ жизни женщины, какъ Райскій, и еще менѣе обнаруживала то безусловное презрѣніе, какимъ клеймитъ эту „ошибку“, „несчастіе“ или, пожалуй, „паденіе“ старый, вѣѣвшійся въ людскія понятія ригоризмъ, не разбирающій даже строго причинъ „паденія“. Такъ, будто бы, думаетъ Бережкова. Но если она и понимала Вѣру, какъ женщина и притомъ сама причастная „грѣху“, то никакъ не оправдывала себя. „Грѣхъ“ оставался для нея „грѣхомъ“,—въ этомъ-то его фатальное значеніе,—и менѣе всего она могла сопоставлять свое отношеніе ко „грѣху“ съ „вѣѣвшимся въ людскія отношенія ригоризмомъ“ и разбирать причины паденія. Обычный стиль бабушки другой,—тотъ, на примѣръ, въ которомъ она предостерегаетъ Марѣинку отъ ухаживанья Бориса: „А ты не слушай,—говоритъ она,—онъ тамъ насмотрѣлся на какихъ-нибудь англичанокъ да полячекъ; тѣ еще въ дѣвкахъ однѣ по улицамъ ходятъ, переписку ведутъ съ мужчинами и верхомъ скачутъ на лошадяхъ“... Это разсужденіе—всецѣло

бабушкино, а не то, въ которомъ кроется противорѣчiе со всѣмъ строемъ взглядовъ и убѣжденiй Бережковой. Мы въ правѣ отнести его къ самому Гончарову, прибѣгнувшему и здѣсь къ обычному въ такихъ случаяхъ приему—говорить описательно отъ имени того или другого лица, съ подчеркиванiями и усиленiями, тамъ, гдѣ передача своихъ мыслей въ діалогъ вышла бы искусственной и трудной.

Такимъ образомъ, ригоризмъ безапелляціонный и безусловный, не разбирающійся въ мотивахъ и обстоятельствахъ, представлялся Гончарову одною изъ тѣхъ жизненныхъ сторонъ, съ которыми слѣдовало бороться, какъ съ кореннымъ общечеловѣческимъ недостаткомъ, не зависящимъ въ своемъ существѣ отъ правилъ старой и новой морали. Глубокая и сильная страсть является, по мнѣнiю Гончарова, однимъ изъ наиболѣе оправдательныхъ мотивовъ. Какъ „гроза въ природѣ“, она вноситъ стихійное начало въ размѣренное теченiе жизни, производитъ смятенiе и бурю,—и человѣкъ перестаетъ управлять собою. Съ парализованной волей и ослѣпленнымъ разсудкомъ онъ не можетъ нести сознательной вины за свои дѣйствiя,—и въ этомъ признанiи кроется одна изъ пружинъ теоретически-нисходительнаго отношенiя Гончарова къ человѣческимъ слабостямъ и недостаткамъ.

---

## XXXVII.

Двойственность въ изображеніи остальныхъ типовъ и лицъ въ произведеніяхъ Гончарова.—Софья Бѣловодова и ея воспитаніе.— Чиновничій міръ. — Тушинъ.—Типы обломовскаго захолустья.— Признаніе автора.—Заключеніе.

Прочія лица романовъ Гончарова, различной степени типичности и значенія, не подаютъ повода къ противорѣчивымъ толкованіямъ и объясняются значительно проще. Одни изъ нихъ живо и ярко встаютъ въ воображеніи читателя, другія являются эпизодически, чтобы помочь главному герою романа раскрыть ту или другую черту своего характера. Не мало усилій потратилъ Гончаровъ на изображеніе фигуры Софьи Бѣловодовой, этой холодной великосвѣтской красавицы, но образъ ея далеко не удался Гончарову. Впослѣдствіи, въ авторской исповѣди, онъ согласился съ мнѣніемъ критики, которая отнеслась къ ней отрицательно. „Это скучное начало,—говорилъ онъ,—изъ котораго вовсе не художественно выглядываетъ замыселъ—показать, какъ отразилось развитіе новыхъ идей на замкнутомъ кругѣ большого свѣта. И ничего, кромѣ претензій, не вышло изъ этой затѣи“. Здѣсь, между прочимъ, любопытно отмѣтить одну черту. Гончаровъ заставилъ Райскаго ломать „стѣну великосвѣтской замкнутости, замураваншейся въ фамильныхъ преданіяхъ рода“, и Райскій въ пламенныхъ рѣчахъ начинаетъ набрасывать передъ своей кузиной картины тяжелой крестьянской жизни. Софья чувствуетъ, что главное въ его рѣчахъ—не забота о меньшомъ братѣ, не горячее участіе къ его безотрадному положенію, но она сама, ея красота,—„ему хочется,—по позднѣйшему объясненію Гончарова,—побѣдить только кузину-женщину—для себя“. И пропаганда Райскаго естественно не достигаетъ цѣли.

Являясь совершенно чуждымъ всякой хозяйственности у себя въ деревнѣ и вовсе не интересуясь крестьянскимъ бытомъ, Райскій въ своихъ бесѣдахъ съ Софьей касался, если вѣрить Гончарову, не только положенія крестьянства, но и болѣе опасныхъ идей—чуть ли не общественнаго и государственнаго строя. Въ устахъ Райскаго это звучало не особенно грозно. „Мы дошли до политической и всякой экономіи, до социализма и коммунизма—я въ этомъ не силенъ...“—говорить онъ. Реплики, подаваемые Софьей Бѣловодовой, обнаруживаютъ въ ней то же птичье міросозерцаніе, которое отличаетъ Наденьку Любецкую и имъ подобныхъ.

Нельзя не отмѣтить, что Гончаровъ подробно и внимательно остановился на безтолковости и безсодержательности ихъ воспитанія. Анекдотическій характеръ послѣдняго есть историческая черта, и въ этомъ отношеніи посвящаемыя этому вопросу страницы должны внести цѣнный вкладъ въ исторію нашего домашняго воспитанія. Самъ Гончаровъ исполнялъ когда-то во второй половинѣ тридцатыхъ годовъ обязанности учителя въ артистической семьѣ Майковыхъ. Вѣроятно, въ это время онъ имѣлъ случай присмотрѣться къ типамъ педагоговъ, иностранныхъ и русскихъ, отъ наглаго невѣжды m-г Пулэ до идеалиста-словесника Ельнина включительно. „Я всѣ уроки учила одинаково, то-есть всѣ дурно,—разсказываетъ Софья.—Въ исторіи знала только двѣнадцатый годъ, потому что mon oncle, prince Serge, служилъ въ то время и дѣлалъ кампанію, онъ разсказывалъ часто о немъ; помнила, что была Екатерина II, еще революція, отъ которой бѣжалъ m-г Querneu, а остальное все... тамъ эти войны, греческія, римскія, что-то про Фридриха Великаго—все это у меня путалось. Но по-русски, у m-г Ельнина, я выучивала почти все, что онъ задавалъ“... Однако фигура учителя-классика—Козлова—вышла одноцвѣтной и блѣдной. Въ немъ, по словамъ автора, мелькнуло лицо русскаго

учителя труженика, съ намекомъ на участь русской науки и въ обломовскомъ обществѣ. Безъ почвы и подходящей среды, безъ книгъ и безъ денегъ, онъ долженъ былъ, по мысли Гончарова, отразить въ себѣ всю безотрадность своего существованія среди равнодушныхъ къ наукѣ людей. Но драматизмъ этого положенія не достаточно обставленъ; въ гораздо большей степени его заслоняетъ другой драматизмъ—драматизмъ его неудачной женитьбы. Впослѣдствіи, въ своей авторской исповѣди, Гончаровъ посвятилъ образу Козлова нѣсколько теплыхъ и искреннихъ строкъ. „Въ немъ теплится искра любви къ знанію, но—какъ въ степи—нѣтъ ей пищи, ни посѣва, ни полива, некуда бросить сѣмянъ—и они гложутъ въ немъ самомъ, а любящее сердце избрало кумиромъ ничтожество, идола, созданнаго безхарактерностью среды, безъ образа. Это его жена. Весь умъ его просился въ науку, все любящее сердце отдалось этой жалкой подругѣ. Ни тамъ, ни сямъ—онъ не нашелъ отвѣта, сгорѣлъ и угасъ одиноко, въ чистомъ пламени своей любви“.

Видное мѣсто занимаетъ въ романѣ чиновничій міръ, очерченный въ общемъ весьма реально. Но характеристика его заключена болѣе въ разсужденіяхъ автора и размышленіяхъ героевъ, чѣмъ въ яркихъ типахъ. Мы уже видѣли въ первыхъ очеркахъ, что служба не вызывала у Гончарова жизненнаго интереса; съ нею не связывалось у него никакихъ общественныхъ или государственныхъ плановъ или теорій, такихъ, которыя были бы его кровными убѣжденіями, не связывалось никакихъ творческихъ симпатій и даже честолюбивыхъ цѣлей. Это отразилось и въ романахъ: образы Судьбинскихъ, Аяновыхъ говорятъ уму и сердцу читателя не больше, чѣмъ образы графа Новинскаго, барона въ „Обломовѣ“ и Софьи Бѣловодовой. Конечно, въ чиновничьей средѣ не было недостатка въ типическихъ особенностяхъ, характерныхъ не только для со-

словія, но и для историческаго момента. Но, видно, одной наблюдательности было недостаточно для Гончарова, чтобы знакомые ему образы могли группироваться въ типы,—нужна была кровная связь съ предметомъ наблюденія, глубокое, инстинктивно выросшее пониманіе его и—на этой почвѣ—душевный интересъ и творческое влеченіе. Такой связи съ чиновничествомъ у Гончарова не было.

Стремясь противопоставить Марку челоѣка „живого, не-рутиннаго“ дѣла, одного изъ первыхъ пионеровъ истинной, какъ казалось Гончарову, „партіи дѣйствія“, онъ создалъ любопытный по замыслу типъ Тушина, которому вмѣстѣ съ тѣмъ придалъ громадное общественное значеніе. Тушинымъ предстоитъ, по его мнѣнію, сослужить службу Россіи, разработавъ, довершивъ и упрочивъ ея преобразование и дополненіе. Тушинъ—челоѣкъ земли, и въ этомъ смыслѣ авторское пониманіе Тушина заключаетъ въ себѣ намекъ, не лишенный интереса. Это—здоровая, мощная натура, таящая въ себѣ много силъ и способностей, но и то, и другое въ ней—пока еще мертвый капиталъ, не тронутый сознаніемъ и чуждый идеѣ общаго блага. Какъ попытка дать положительный типъ, столь рѣдкій въ нашей литературѣ, характеристика Тушина не лишена извѣстнаго значенія и хотя образъ намѣченъ лишь самыми общими чертами, онъ невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе.

Совершенно иначе работаетъ кисть Гончарова, какъ только переходитъ онъ на почву родного обломовскаго захолустья. Фигуры, одна другой рельефнѣе и жизненнѣе, такъ и просятся на полотно. Вотъ „вѣчный жидъ“ Антонъ Ивановичъ, у котораго нѣтъ челоѣка изъ его знакомыхъ, что у него отобѣдалъ бы, отужиналъ, или выпилъ чашку чая,—но зато и нѣтъ челоѣка, у котораго самъ Антонъ Ивановичъ не дѣлывалъ этого по пятидесяти разъ въ годъ... Вотъ близкій

ему по духу Акимъ Акимычъ Опенкинъ, который дома былъ, какъ чужой человѣкъ, а у чужихъ людей—какъ дома; въ лицѣ Опенкина Гончарову подвернулся, по его словамъ, типъ русскаго человѣка, утопившаго въ винѣ всю свою жизнь, большею частью тирана въ семьѣ и бремя для общества, гдѣ онъ живетъ. „А гдѣ онъ не живетъ!—восклицаетъ Гончаровъ:—этотъ штрихъ русской жизни почти неизбѣженъ во всякой картинѣ нравовъ. Легкой тѣнью прошелъ онъ и у меня въ романѣ“.

Иногда десятки страницъ Гончаровъ посвящаетъ описанію какой-нибудь фигуры, и все-таки фигура выходитъ блѣдной и нетипичной; иногда же ему удается однимъ штрихомъ настолько удачно охватить образъ, что онъ навсегда врѣзывается въ память читателя. Не говоря уже о мастерскихъ характеристикахъ Андѣя, Евсея, Захара, Егорки, въ основу которыхъ положены близко родственныя между собою черты, списанныя, по признанію автора, съ натуры,—въ воображеніи читателя живо встаетъ длинная вереница лицъ Обломовской дворни, въ родѣ стриженной и дурно одѣтой Пашутки, у которой „изъ маленькаго, плутовскаго, нѣсколько приподнятаго кверху носа часто свѣтится капля“, Машутки, которой „какъ-то неловко было держать себя въ чистотѣ“; кухарки Устиньи—„нескладной бабы съ такимъ лицомъ, которое какъ будто чему-нибудь сильно удивилось когда-то, да такъ на всю жизнь и осталось съ этимъ удивленіемъ“; угрюмой Василисы, Улиты, вѣчно таящейся во тьмѣ погребовъ, или денщика Фаддѣева на фрегатѣ „Паллада“. Всѣ эти образы вышли у Гончарова естественными и живыми, потому что Гончаровъ ихъ зналъ и въ теченіе многихъ лѣтъ наблюдалъ: рельефно рисуется и образъ Крицкой, наивно сантиментальной и влюбчивой дамы, хотя онъ обрисованъ явно карикатурными штрихами.

Вообще же, при сужденіи о типахъ и характерахъ



Гончарова, не слѣдуетъ забывать того, что говорилъ самъ художникъ въ своей авторской исповѣди: „Можетъ быть, и оттого, между прочимъ, мои лица не кажутся другимъ такими, какими я разумѣлъ ихъ, что всѣ эти портреты, типы, слишкомъ мѣстные, вышедшіе изъ не-большого приволжскаго угла, и потому не всѣмъ живущимъ на разбросанныхъ пространствахъ Россіи, извѣстны, и, наконецъ, развѣ и потому еще, что въ нихъ сквозить много близкаго и родного автору, и замѣтно пробивается кровная его любовь къ нимъ.

„Да, можетъ быть, и такъ: дѣйствительно, много личнаго, интимнаго, т. е. своего, и себя самого, вложено авторомъ туда“.

Наша работа имѣла цѣлью разобраться въ этомъ признаніи автора.

---

Въ заключеніе нѣсколько словъ по поводу значенія Гончарова въ исторіи литературы.

Почетное мѣсто, отведенное Гончарову въ исторіи русской литературы еще при его жизни, рядомъ съ именами Тургенева, Некрасова, Салтыкова, занято имъ не случайно. Его произведенія представляютъ богатый и сложный матеріалъ, изученіе котораго можетъ дать поучительные и любопытные результаты. Тѣ, кто признаетъ за творчествомъ Гончарова значеніе выдающагося общественнаго факта,—тѣ заинтересуются имъ, не только какъ личностью писателя, обладавшаго тѣми или другими свойствами, но преимущественно съ точки зрѣнія той выдающейся роли, какую играла эта личность въ отраженіи общественнаго склада эпохи. Субъективная критика можетъ, по своему произволу, интересоваться или игнорировать личность писателя, но у исторіи литературы—свои методы и свои задачи. Ея цѣль—безпристрастно изучить всю сумму данныхъ, въ которыхъ жилъ и развивался писатель, выяснить суще-

ство и историческую цѣнность его общественных идеаловъ и, наконецъ, опредѣлить ту сферу художественнаго, умственнаго и нравственнаго вліянія, какую оказало его творчество на современниковъ и потомство. По отношенію къ Гончарову, эта задача намѣчена лишь въ самыхъ общихъ чертахъ.

Это былъ глубокій, своеобразный и капризный талантъ. Онъ владѣлъ писателемъ въ гораздо большей степени, чѣмъ писатель имъ. На Гончаровѣ было бы удобнѣе всего построить теорію самодовлѣющаго таланта, который творить, не всегда справляясь съ міросозерцаніемъ писателя, инстинктивно захватываетъ шире и глубже намѣреній автора и подчасъ становится съ нимъ въ непримиримое противорѣчіе. Творчество отражаетъ эту борьбу сознательнаго начала съ инстинктомъ и невольно обнаруживается, позже, страницами неровныхъ штриховъ и раздраженной или ослабѣвшей мысли. На нашихъ глазахъ прошло и проходитъ не мало непонимающихъ себя художниковъ, у которыхъ, не въ примѣръ Гончарову, сознательная мысль, замыкаясь въ узкую тенденцію, брала верхъ надъ талантомъ, и ихъ творчество выходило болѣзненнымъ и блѣднымъ. Выступая иногда слишкомъ рано на поприще общественной борьбы, они недостаточно чутко прислушивались къ органическимъ влеченіямъ своихъ еще не установившихся идеаловъ и направляли работу своей кисти въ такія области, для которыхъ художественное содержаніе было и большою роскошью, и вмѣстѣ съ тѣмъ препятствіемъ въ суровой борьбѣ отвлеченныхъ идей. По счастью для Гончарова, талантъ его былъ настолько великъ, что въ большинствѣ случаевъ одерживалъ верхъ надъ чуждыми ему публицистическими порывами. Талантъ этотъ былъ *ограниченъ* и жизнененъ вездѣ, гдѣ Гончаровъ чувствовалъ „свой грунтъ и свою ниву“, но онъ же оказывался блѣднымъ и малосодержательнымъ, когда писатель брался

за изображеніе мало знакомой ему набѣгавшей „новой“ жизни.

За этой борьбой идей и таланта остается свое особенное значеніе. Гончаровъ прошелъ по межѣ двухъ эпохъ нашей сознательно-исторической жизни. Старое, какъ дремучій лѣсъ, съ подгнившими корнями, ломалось здѣсь и тамъ, падало и давило молодые побѣги, но они веселой, зеленой волной охватывали его по опушкамъ, проростали между стволовъ, взбирались на старые пни—и уже готовились торжествовать свою побѣду... Гончарову жаль было таинственной задумчивости и величавыхъ рѣчей стараго лѣса: ими было проникнуто его творчество, все сотканное изъ яркихъ золотыхъ лучей, прорвавшихся въ сумракъ неподвижности и покоя,—и онъ боязливо косился на молодые и дерзновенные побѣги... Этотъ моментъ борьбы, съ шатаніемъ старыхъ устоевъ и проблесками новой жизни, сдѣлалъ Гончарова типичнымъ выразителемъ переходной эпохи, для насъ—самой знаменательной во всей исторіи нашего общественнаго развитія. Чуткій и наблюдательный во всемъ, что онъ разсматривалъ въ конечномъ итогѣ прошлаго, Гончаровъ ярко характеризовалъ общественный идеалъ Чацкаго, его стремленіе къ свободѣ отъ всевозможныхъ цѣпей рабства, которыми оковано общество,—но современная жизнь, казалось ему, настолько ушла впередъ отъ того—другого, „Фамусовскаго“, идеала, что въ ней оставались, по его выраженію, только „кое-какіе живые слѣды“ стараго міросозерцанія, мѣшавшіе „обратиться картинѣ въ законченный историческій барельефъ“. Однако творчество самого же Гончарова, въ объединенномъ смыслѣ, показало, что такихъ слѣдовъ въ русской жизни осталось немало.

Полвѣка—срокъ большой для пробужденнаго самосознанія. Къ нашей порѣ, эта жизнь во многихъ отношеніяхъ ушла впередъ, сосредоточилась на внутрен-

ней, упорной работѣ, выработкѣ новыхъ общественныхъ условій. Но теоретическое обоснованіе этическихъ и соціально-политическихъ задачъ русской жизни остановилось на тѣхъ первыхъ и неувѣренныхъ попыткахъ ихъ рѣшенія, какія были сдѣланы въ моментъ просвѣта шестидесятыхъ годовъ. Къ нимъ придется вернуться, когда, при измѣнившихся условіяхъ, скрытые соки жизни выступятъ наружу и скажутся пышнымъ расцвѣтомъ творческихъ силъ,—и сама собой возникнетъ потребность возстановить нарушенную связь съ историческими традиціями прогрессивно-общественной русской мысли. Историкъ эпохи найдетъ тогда въ твореніяхъ Гончарова живую иллюстрацію историческаго момента, съ его борьбой разнородныхъ стремленій, чувствъ и идей, съ его попытками, если не рѣшить, то поставить на очередь задачи общественнаго и личнаго блага.

Въ связи съ глубиной и яркостью художественнаго дарованія, это историческое значеніе творчества Гончарова обезпечить за нимъ то видное мѣсто въ нашей литературѣ, котораго онъ столь исключительно - счастливо достигъ еще при жизни. На это у него полное и неотъемлемое право.





## ПРИЛОЖЕНИЕ.

### Спорный вопросъ.

Въ мартѣ 1889 г., на страницахъ „Вѣстника Европы“, появилась статья И. А. Гончарова „Нарушеніе воли“. Въ ней покойный писатель подвергъ обсужденію вопросъ о томъ, какое значеніе, историко-литературное, общественное и нравственное, имѣетъ фактъ посмертнаго изданія писемъ знаменитыхъ писателей, ученыхъ или художниковъ. Въ этомъ фактѣ (если только письма носили частный, интимный характеръ и заранѣе не предназначались ихъ авторами къ печати) Гончаровъ видѣлъ „явное нарушеніе ихъ (т. е. умершихъ авторовъ), воли“. Разсмотрѣвъ мотивы, побуждающіе издателей, друзей автора, собирать письма отъ его корреспондентовъ, чтобы—„сохранить для современныхъ читателей и для потомства полный образъ писателя или художника“, Гончаровъ далъ слѣдующее разъясненіе въ доказательство своей мысли, положенной имъ въ основаніе запрета—печатать его письма послѣ смерти.

„Цѣль, конечно, хорошая, но она, говоритъ Гончаровъ, рѣдко достигаетъ желаемого, а скорѣе ведетъ къ противному результату. Писатель по натурѣ своей словоохотливъ, изліятеленъ; его тянетъ къ перу тамъ, гдѣ онъ (я говорю о письмахъ) не связанъ ни содержаніемъ, ни планомъ, ни техникой. Онъ не стѣсняется. Мысль и воображеніе играютъ, что хотятъ, какъ въ

разговорѣ наединѣ, онъ пишетъ вольно, сплеча, сверкая нечаянно то умомъ, то фантазіей, то юморомъ. И этимъ удовлетворяетъ прежде всего самого себя, удовлетворяетъ потребности излиться, какъ музыкантъ, встрѣчая подъ рукой инструментъ, играетъ, живописецъ чертитъ на лежащей случайно на столѣ бумагѣ карандашомъ какой-нибудь эскизъ.

„Гдѣ же тутъ искать реальной вѣрности съ фактической стороной жизни? Это только своего рода художественные штрихи, наброски, которые можно, если они интересны для всѣхъ, собрать и огласить, подъ двумя непремѣнными условіями: во-первыхъ, *могли ли бы желать авторы огласить ихъ въ печати*; и, во-вторыхъ, *не задѣты ли за живое другія личности*. Эти вопросы должны служить заповѣдью для умныхъ и добросовѣстныхъ издателей.

„Прошу имѣть въ виду, что я отнюдь не ратую за умолчаніе писемъ *quand même*; я только противъ выворачиванія автора наизнанку, что не можетъ не портить цѣльности его образа и характера, не разочаровывать его почитателей и притомъ несправедливо. Потомъ я—противъ обремененія прессы ненужнымъ лишнимъ балластомъ, только утомляющимъ читателя, и особенно, конечно, противъ всякихъ злоупотребленій, нескромностей и беззастѣнчивыхъ противъ автора писемъ поступковъ.

„Въ одномъ моемъ письмѣ (появившемся въ печати, мимоходомъ скажу, неожиданно для меня самого, въ альбомѣ: „Мои знакомые“, изданномъ при *Русской Старинѣ*), писанномъ, кажется, давно, я выразилъ сожалѣніе, что писатель по смерти является не въ томъ видѣ, въ какомъ онъ хотѣлъ являться въ свѣтъ, что разные литературные гробокопатели разбираютъ его по мелочамъ и нарушаютъ цѣльность его образа, какимъ онъ думалъ явить себя передъ публикой и потомствомъ. (Я не помню редакціи этого письма, а



книги у меня подъ рукой нѣтъ; но смыслъ вѣренъ). Les beaux esprits se rencontrent, и я очень радъ, что выраженное въ этомъ моемъ письмѣ мнѣніе недавно нашло подтвержденіе въ печати мнѣніемъ о томъ же одного извѣстнаго литератора; значитъ въ этомъ мнѣніи есть правда. Я держусь этой мысли и теперь, и буду ея держаться. Въ самомъ дѣлѣ, пусть судить читатель: писатель проявляетъ себя во всеоружіи своего таланта, приноситъ зрѣлыя, глубоко обдуманныя и тщательно обработанныя созданія, является цѣльнымъ, полнымъ, какъ монументальное изваяніе, образомъ и хочетъ этимъ произвести ожидаемое имъ впечатлѣніе. Въ этомъ цѣль его дѣятельности, его гордость, его награда, его слава. А литературные археологи возьмутъ да выкопаютъ какой-нибудь набросокъ, стихъ, фразу, страницу, словомъ, все отброшенное, непригодное художнику, что въ его черновой работѣ не вошло въ дѣло, что выметается обыкновенно изъ мастерской. Зачѣмъ? Говорятъ—интересно, даже поучительно, какъ онъ работалъ у себя въ мастерской, что предполагалъ первоначально и что отвергнулъ потомъ. Полезно-де изучать приемы творчества и т. д.

„И все неправда. Пользы никакой; приѣмамъ творчества не научишься. У всякаго творца есть свои приѣмы. Можно только подражать внѣшнимъ приѣмамъ, но это ни къ чему не ведетъ, а въ работу творческаго духа проникнуть нельзя. Между тѣмъ этими отбросами художника нарушается цѣльность его художественнаго образа. Онъ хотѣлъ бы явиться въ торжественныхъ одеждахъ художественной зрѣлости, а тутъ рядомъ показываютъ его дѣтскія пеленки, курточку, каракули, которыя онъ чертилъ ребенкомъ, и говорятъ: „вотъ онъ какимъ былъ младенцемъ, юношей!“

„Къ чему это? Сколько ненужнаго дѣлаютъ люди, взрослые умные, иногда какъ будто съ виду и дѣловые, вымышляя это ненужное, выискивая его иногда въ

потѣ лица! Для чего, спросите: любопытно, говорятъ: такой замѣчательный дѣятель, слѣдовательно—и все, что его касается, тоже замѣчательно... Нѣтъ, не слѣдовательно и не все. Пусть бы отыскивали неизданныя рукописи или цѣнныя отрывки, свидѣтельствующіе о полномъ талантѣ писателя, наконецъ замѣчательныя цѣлыя строфы, страницы, всетаки подъ условіемъ, что авторъ хотѣлъ, да не успѣлъ огласить ихъ — нѣтъ! иногда полустроки, выраженія, даже намѣренія его, какъ онъ сначала задумывалъ и какъ отдумалъ и т. д. И все потому, что „любопытно“, т.-е. для удовлетворенія празднаго любопытства толпы дробятъ писателя на куски и портятъ величавую цѣлость его фигуры. „Вѣтренное племя!“—невольно скажешь съ поэтомъ.

„По какому праву это дѣлается, не нужно и спрашивать. Чѣмъ руководствуется изыскатель оставленнаго наслѣдства писателя или художника? Да тѣмъ же, чѣмъ и издатели посмертныхъ писемъ, напримѣръ, Пушкина, Тургенева и другихъ, не предназначенныхъ самими авторами для печати.

„Какъ тѣло писателя дѣлается добычею анатомическаго ножа, для опредѣленія болѣзни или для сѣудебной медицины, и оно потомъ предается землѣ и истлѣвается; такому же процессу хотятъ подвергнуть и духъ писателя, его безплотный нравственный организмъ, свершаютъ насиліе надъ его умомъ, волей и сердцемъ!

„Какъ будто это одно и то же! Любившія нѣжно, близкія покойному лица препятствуютъ, сколько могутъ, даже и тѣло подвергать анатомическому ножу. А тутъ разсѣкаютъ его духъ! Ты умеръ, думаютъ его друзья, почитатели, поклонники его таланта, его издатели, слѣдовательно и твои мысли, твоя воля, твой духъ—наше достояніе. Мы заставимъ тебя *высказывать твоими же словами*, чего ты не сказалъ бы самъ; ты самъ, ты такъ же добыча могилы, какъ твое тѣло; ты болѣе не принадлежишь себѣ; мы взроемъ всю твою

жизнь — и все предадимъ любовѣдѣнію и любопытству толпы. Это-де значить изучать жизнь.

„Вѣроятно, такъ и думаютъ равнодушные къ умершему люди, поступая безцеремонно съ его волей и памятью послѣ смерти. Пусть бы изучали его со стороны, если ужъ это необходимо, собирали свѣдѣнія, факты, но зачѣмъ заставляеть его самого обижать себя!

„Какъ это противорѣчитъ всему тому, чѣмъ окружаютъ и провожаютъ гробъ усопшаго въ могилу! Какъ прикажете разумѣть послѣ того проливаемые надъ могилой слезы, приносимые вѣнки, рѣчи, наконецъ воздвигаемые усопшимъ монументы? Вѣдь не тѣлу же его посвящается это поклоненіе, а душѣ его, уму, таланту, словомъ, духу?

„Еще упрекнуть меня, пожалуй, что я чопоренъ, педантически смотрю на такое простое житейское дѣло, какъ безцеремонное обращеніе съ человѣкомъ, переставшимъ жить, что это похоже на китайское преувеличеніе почестей усопшимъ... Пусть упрекаютъ, пусть назовутъ недотрогой, но я буду утѣшаться тѣмъ, что очень многіе въ обществѣ раздѣляютъ эту мою „скрупулезность“ и, смѣю думать, большинство соглашается со мной. Но многіе, конечно, и не согласятся, между прочимъ, болѣе всего собиратели и издатели историческихъ матеріаловъ, журналовъ, посвященныхъ прошлому.

„Они наговорятъ много громкихъ и чувствительныхъ словъ о наукѣ, объ исторіи, о необходимости реставрировать старую жизнь и вообще много приведутъ благовидныхъ причинъ и предлоговъ. А причины, большею частью, другія, проще. Издатели историческихъ сборниковъ и журналовъ не всегда обезпечены постояннымъ серьезнымъ историческимъ матеріаломъ, и оттого они добываютъ всякую старую ветошь, даже мало занимательные мемуары, дневники людей вовсе не историческихъ, и между прочимъ и частныя письма, чтобы

пополнять появляющіяся въ опредѣленный срокъ изданія. Они ловятъ всякую мелочь, извѣстіе, анекдотъ—нерѣдко не важнаго, иногда и недавно умершаго лица, и все это сходитъ съ рукъ за quasi-историческій матеріалъ. И сколько накапливается такого матеріала! Невольно вспомнишь бывшаго когда-то министромъ просвѣщенія Уварова, который въ одной брошюрѣ своей поставилъ вопросъ: „достоувѣрнѣ ли стала исторія съ тѣхъ поръ, какъ размножились ея источники?“, т.-е. съ тѣхъ поръ, когда вмѣсто одного ключа на поясѣ исторіи явились сотни ключиковъ, которые почти невозможно подбирать, и сотни дверей въ темный лабиринтъ давно минувшаго, которыя не ведутъ къ свѣту.

„Корреспонденты извѣстнаго лица, предоставляя охотно издателямъ имѣющіяся у нихъ его письма, руководствуются разными побужденіями: одни—участіемъ, дружбой къ умершему, желаніемъ подѣлиться разсыпанными въ письмахъ перлами таланта, якобы затѣмъ, чтобы увѣковѣчить его память, да кстати и свою. Есть такіе охотники до безсмертія. Другіе побуждаются просто мелкимъ самолюбіемъ: „пустъ знаютъ, что вотъ, молъ, такое лицо было со мной въ перепискѣ, слѣдовательно я тоже особа!“ Это жалко, мелко.

„Отъ всего этого и забирается въ переписку писателя или художника много лишняго, что только вредитъ цѣлости впечатлѣнія и отъ чего „истиннымъ друзьямъ“ и издателямъ переписки усопшаго дѣятеля слѣдуетъ всячески очищать письма, мемуары, дневники и т. п.

„Но нарушеніе воли совершается, какъ я упомянулъ вначалѣ, не только надъ умершими, но и надъ живыми: печатаютъ ихъ письма безъ ихъ согласія, не какъ улики какія-нибудь въ препирательствахъ, въ судебныхъ процессахъ и т. п., а просто взятые изъ житейскаго быта и напечатанные для извѣстнаго имени, въ видѣ рекламъ, безъ согласія автора. Это уже ни на

что не похоже. Я не придумаю, какъ назвать такіе поступки.

„Ратуя за соблюденіе приличій въ отношеніи къ живымъ и къ волѣ усопшихъ, я не претендую на безусловное раздѣленіе моего взгляда, но искренно желаю (а со мной и очень многіе, смѣю увѣрить), чтобы вопросъ о печатаніи частной переписки былъ глубоко обдуманъ и рѣшенъ въ удовлетворительномъ для всѣхъ сторонъ смыслѣ. Онъ стоитъ того. Заявляя объ этомъ вопросѣ, я только привелъ немногія неудобства, происходящія отъ оглашенія писемъ отъ одного лица къ другому, писанныя только для одного лица. Я указываю выше и средство не становиться въ щекотливое положеніе нарушителей ихъ воли: это—не объявлять писемъ и бумагъ преждевременно, въ крайней мѣрѣ, пока еще живы современники автора и корреспонденты, и потомъ не всегда цѣликомъ, а печатать въ извлеченіяхъ, выпискахъ, тѣ письма, которыя, кромѣ обще-интереснаго, изобилуютъ интимными и семейными подробностями. Можетъ быть, другіе, болѣе меня компетентные и авторитетные судьи въ дѣлахъ печати, раздѣляющіе мой взглядъ, придумаютъ лучшій рецептъ: я и отдаю дѣло на ихъ судъ—а самъ ставлю только вопросъ на очередь.

„Изучать жизнь“, конечно, интересно, но всякая человѣческая жизнь всегда представляетъ своего рода интересъ: почему же это совершается надъ писателемъ, художникомъ, ученымъ? Потому, скажутъ, что онъ самъ говоритъ о себѣ письмами или какимъ-нибудь дневникомъ: что это-де надежное средство, т.-е. собственныя сообщенія о себѣ писателя или художника. Выше я старался доказать противное и позволю себѣ сослаться на великій авторитетъ Пушкина. Онъ въ 31-мъ письмѣ къ князю Вяземскому (стр. 46 дешев. изд. Суворина) вотъ что говоритъ по этому поводу: „Никого такъ не любишь, никого такъ не знаешь, какъ самого себя.

Предметъ неистощимый. Но трудно писать о себѣ. Не лгать можно; *быть искреннимъ* — невозможность физическая. Перо иногда становится какъ съ разбѣга передъ пропастью, на томъ, что посторонній прочтетъ равнодушно“.

„Стало-быть, едва ли можно полагаться на вѣрность автобіографическихъ данныхъ въ письмахъ, въ мемуарахъ и т. п.

„Прочтя все написанное въ защиту усопшихъ дѣятелей отъ оглашенія, противъ ихъ воли, оставшихся послѣ нихъ рукописей, писемъ, чего-бы то ни было, для печати ими не назначеннаго, могутъ подумать, что и я, близкій кандидатъ въ покойники, защищаю вмѣстѣ и самого себя противъ посягательствъ на изданіе какихъ-нибудь моихъ посмертныхъ бумагъ. Полагаю, что знающіе меня сколько-нибудь близко этого не подумаютъ: но другіе, можетъ быть, и заподозрять. Поэтому, кстати на всякій случай, я считаю необходимымъ и важнымъ для себя выразить здѣсь мое желаніе и мою волю.

„Завѣщаю и прощу и прямыхъ, и непрямыхъ моихъ наслѣдниковъ и всѣхъ корреспондентовъ и корреспондентокъ, также издателей журналовъ и сборниковъ всего стараго и прошлаго не печатать *ничего*, что я не напечаталъ, или на что не передалъ права изданія, и что не напечатаю при жизни самъ, конечно, между прочимъ и писемъ. Пусть письма мои остаются собственностью тѣхъ, кому они писаны, и не переходятъ въ другія руки, а потомъ предадутся уничтоженію.

„Еслибы я претендовалъ на оглашеніе ихъ и другихъ какихъ-нибудь своихъ бумагъ, я собралъ бы самъ, пересмотрѣлъ и напечаталъ бы тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ какой-нибудь общій интересъ.

„Но въ письмахъ моихъ нѣтъ ничего дѣльнаго, серьезнаго, глубокаго, какъ напримѣръ, въ письмахъ Кавелина, Крамского; не пѣнятся они и той игрой

- блеска, остроумія, таланта, какъ письма Пушкина, Тургенева, словомъ нѣтъ ничего олимпійскаго, и нѣтъ даже почти ничего касающагося литературы. Это безцеремонная болтовня съ пріятелями, пріятельницами, рѣдко съ литераторами, иногда, можетъ быть, живая, интересная для тѣхъ только, къ кому писалась, и въ то время, когда писалась. У меня есть своего рода „pudeur“ являться на позоръ свѣту съ такимъ хламомъ. И я прошу пощады этому чувству, т.-е. pudeur.

„Пусть же добрые, порядочные люди, джентльмены пера, исполнять послѣднюю волю писателя, служившаго перомъ честно,—и не печатаютъ, какъ я сказалъ выше, ничего, что я самъ не напечаталъ при жизни—и чего не назначалъ напечатать по смерти. У меня и нѣтъ въ запасѣ никакихъ бумагъ для печати.

„Это исполненіе моей воли и будетъ моею наградою за труды и лучшимъ вѣнкомъ на мою могилу.“

---

Въ 1891 г., въ № 38 „Недѣли“ появилась въ отдѣлѣ „Замѣтки“ слѣдующая статья (П. А. Гайдебурова?).

— „Обломовъ“, „Обыкновенная Исторія“ — какъ все это было давно! Кто при ихъ появленіи былъ молодъ, теперь уже почти старикъ; а кому теперь лѣтъ 30—40, тѣхъ тогда еще и на свѣтѣ не было. Но тутъ главное не столько въ давности, сколько въ высотѣ. „Обломовъ“ — это то же, что „Евгеній Онѣгинъ“, „Мертвыя души“ или „Горе отъ ума“. Такія историческія произведенія связываются съ именами ихъ авторовъ только временно, а затѣмъ мало-по-малу отдѣляются отъ нихъ и производятъ такое впечатлѣніе, будто они не написаны, а явились сами собою изъ нѣдръ культурной жизни страны. Современники удивлялись генію ихъ творцовъ, подвергали ихъ оцѣнкѣ, но потомки о творцахъ забываютъ, и имъ кажется, что „Мертвыя Души“ существуютъ не потому, что ихъ написалъ Гоголь, а

точно такъ-же, какъ существовало крѣпостное право, и существуетъ русская исторія. Тоже и „Обломовъ“. Пока онъ печатался въ журналѣ, на него смотрѣли, какъ на произведеніе литературное; но по мѣрѣ того, какъ шло время, это произведеніе отдѣлилось отъ своего творца, вошло въ исторію и наконецъ просто стало „Обломовымъ“. А авторъ... Авторъ—то-же, что отецъ великаго человѣка. Когда Гамбетта управлялъ судьбами Франціи, когда на него устремлены были взоры всей Европы, у него гдѣ-то въ глуши жилъ отецъ. О существованіи этого старика многіе и не подозрѣвали; но вдругъ онъ умеръ, и тогда всѣ узнали, что у знаменитаго патріота былъ живъ отецъ. Немудрено поэтому, что многіе и у насъ только изъ объявленій о смерти Гончарова узнали, что творецъ „Обломова“ былъ еще живъ.

„Впрочемъ, Гончаровъ самъ употреблялъ всѣ средства, чтобы о немъ не говорили и даже совсѣмъ забыли о его существованіи. Ужъ много лѣтъ тому назадъ онъ закупорился въ своей небольшой квартирѣ и жилъ почти полнымъ отшельникомъ, встрѣчаясь лишь съ самыми близкими къ нему людьми. Онъ не только отказывался отъ какихъ бы то ни было сношеній съ обществомъ, не появляясь въ свѣтъ даже по случаю такихъ событій, какъ юбилеи близкихъ ему Майкова и Полонскаго или чествованіе памяти Пушкина, но не любилъ, чтобы и къ нему являлись посторонніе люди. Благодаря этому, Гончарова знали въ послѣдніе годы только въ литературныхъ или близкихъ къ нему кружкахъ, да и то не какъ писателя, а больше какъ Ивана Александровича; въ публикѣ же многіе серьезно думали, что „обломовскаго“ Гончарова давно уже нѣтъ на свѣтѣ. Въ этомъ отношеніи не оказывало вліянія даже то, что Гончаровъ время отъ времени продолжалъ появляться въ печати. Всѣ эти „слуги“, милліонъ терзаній и проч. сами по себѣ очень цѣнны; но не говоря уже о томъ, что они и въ сравненіе не могутъ идти съ „Обломо-



вымъ“, они имѣють нѣсколько архивный характеръ, какъ будто это были посмертныя произведенія Гончарова.

„Откуда взялась у Гончарова такая нелюдимость— могли бы объяснить только близко знавшіе его люди. Вѣроятно, прежде всего она лежала въ его натурѣ, въ свойствахъ его характера, заключавшаго въ себѣ не мало „обломовщины“. Я по крайней мѣрѣ помню, что первая моя встрѣча съ Гончаровымъ оставила во мнѣ именно такое впечатлѣніе. Это было еще въ 59 или 60 году, когда я совсѣмъ юнымъ студентомъ явился приглашать Гончарова на литературное чтеніе въ пользу тогдашней студенческой кассы. Я шелъ къ нему съ такимъ благоговѣйнымъ трепетомъ и чувствовалъ такую робость, когда излагалъ ему свою просьбу, что не могъ и думать о какихъ нибудь „наблюденіяхъ“ надъ Гончаровымъ; однако, когда я увидѣлъ Гончарова въ его креслѣ, и онъ, слушая меня, устремилъ въ мои глаза свой неподвижный и апатичный взглядъ, я невольно подумалъ: „Господи, да это и есть самъ Обломовъ!“ Возможно также, что Гончаровская отчужденность была характерной чертой всего того поколѣнія, къ которому онъ принадлежалъ, подтвержденіе чего и можно найти въ одномъ изъ знаменитыхъ сверстниковъ Гончарова, Кавелинѣ. Хотя въ сравненіи съ Гончаровымъ Кавелинъ былъ человѣкъ чрезвычайно общительный, но и онъ страдалъ излишнею скромностью и даже какою-то робостью, когда ему приходилось выходить изъ круга близкихъ и симпатичныхъ ему людей. Напримѣръ во время чествованія памяти Тургенева (любимѣйшаго писателя Кавелина) стоило большого труда убѣдить его принять участіе въ публичномъ чтеніи.

„Какъ бы то ни было, публика или совсѣмъ не знала Гончарова, какъ человѣка, или же имѣла о немъ невѣрное представленіе. Многіе, напримѣръ, считали его жестокимъ, скрытнымъ и большимъ эгоистомъ; а между тѣмъ нѣкоторые факты изъ жизни Гончарова положи-

тельно опровергают подобное мнѣніе. Таковы въ особенности его отношенія къ семьѣ совершенно посторонняго ему человѣка, ставшаго ему близкимъ случайно, именно—его камердинера. Этотъ человѣкъ поступилъ къ Гончарову лѣтъ 20 назадъ, вмѣстѣ съ женой и двумя дѣтьми—дѣвочками, а затѣмъ скоро умеръ. Гончаровъ оставилъ сиротъ у себя и до такой степени къ нимъ привязался, что сталъ для нихъ вторымъ отцомъ. Близкіе къ Гончарову люди рассказываютъ по истинѣ трогательные эпизоды изъ отношеній Гончарова къ этимъ дѣтямъ, которыхъ онъ не только воспиталъ и образовалъ, но былъ для нихъ самой нѣжной матерью и нянькой.

„Къ сожалѣнію, личность Гончарова и послѣ его смерти останется, вѣроятно, такою же мало извѣстною публикѣ, какою была при жизни. Хотя Гончаровъ велъ обширную переписку съ нѣкоторыми изъ своихъ друзей, и хотя въ ней, какъ говорятъ, имѣется много цѣнныхъ матеріаловъ для біографіи Гончарова, но имъ едва ли придется увидѣть свѣтъ. Дѣло въ томъ, что въ 1889 г. Гончаровъ напечаталъ родъ литературнаго завѣщанія, въ которомъ положительно запретилъ публиковать послѣ его смерти какія бы то ни было его рукописи. Чѣмъ могло быть вызвано подобное запрещеніе—это тоже вопросъ любопытный. Нѣкоторые предполагаютъ, что Гончаровъ не желалъ обнаруженія кое-какихъ эпизодовъ изъ своихъ отношеній къ литературнымъ товарищамъ, и въ частности къ Тургеневу, о которомъ онъ въ былое время отзывался очень рѣзко, подозрѣвая его въ похищеніи у него литературныхъ сюжетовъ; другіе думаютъ, что онъ желалъ скрыть отъ потомства свою служебную дѣятельность, въ особенности свое цензорство; наконецъ третьи говорятъ, что Гончаровъ просто не желалъ появляться передъ публикой „безъ достаточной отдѣлки“, и это, пожалуй, всего вѣроятнѣе. Дѣйствительно, рѣдкій изъ русскихъ писателей подвергалъ свои произведенія такой тщательной обра-

боткѣ, какъ Гончаровъ, да и за границей съ нимъ въ этомъ отношеніи можно сравнить развѣ одного Флобера. Гончаровъ не только отдѣлывалъ свои вещи въ рукописи, но возился съ ними и въ корректурѣ. Когда въ „Вѣстникѣ Европы“ печатался „Обрывъ“, онъ до такой степени исправлялъ его уже въ корректурныхъ листахъ, что однажды даже самъ выразился: „Удивляюсь, какъ выносить меня Стасюлевичъ! Вѣдь мои корректуры похожи на подробнѣйшія географическія карты“.

„Но по той-ли или по другой причинѣ, а запрещеніе состоялось, и вѣроятно многіе изъ тѣхъ, у кого есть письма Гончарова, сочтутъ для себя неудобнымъ пользоваться ими для печати. Я, однако, думаю, что распоряженіе Гончарова если и можно считать „подлежащимъ исполненію“ то никакъ не въ полной мѣрѣ и не въ буквальномъ смыслѣ. Конечно, воля завѣщателя должна быть священна, особенно такого завѣщателя, какъ Гончаровъ; но вѣдь даже по закону, по дѣйствующему гражданскому кодексу, только тѣ завѣщанія признаются обязательными, которыя не противорѣчатъ закону, не ограничиваютъ чьихъ либо правъ и т. д. А завѣщаніе Гончарова прежде всего тѣмъ и грѣшитъ, что ограничиваетъ существенныя права такого крупнаго наследника, какъ потомство. Гончаровъ былъ не частный человѣкъ, а общественный дѣятель. Если при своей жизни онъ принадлежалъ обществу только частью, то послѣ смерти онъ становится уже полнымъ его достояніемъ, и не въ его власти распоряжаться своей личностью. Вѣдь писать о Гончаровѣ свои воспоминанія имѣетъ право всякій и, конечно, найдется не мало „воспоминателей“, которые наговорятъ о немъ съ три короба. Почему-же разныя своего рода г-жи Головачевы могутъ плести что имъ угодно, а лица, обладающія подлинными письмами, должны держать ихъ подъ спудомъ? на оберткѣ журнала онъ къ этимъ буквамъ прибавилъ еще третью, такъ что статья вышла за подписью И. А. Г.

Мнѣ кажется, что въ своемъ запрещеніи печатать послѣ его смерти всякія рукописи Гончаровъ имѣлъ въ виду преимущественно рукописи литературнаго содержанія и тутъ, конечно, онъ былъ вполнѣ правъ. Если я нахожу, что такое-то написанное мною литературное произведеніе недостойно печати, т. е. ниже моего таланта и моихъ художественныхъ требованій, то кто-же можетъ заставить меня думать иначе и кто вправѣ нарушить въ этомъ отношеніи мою волю? Поэтому нельзя не относиться съ глубокимъ негодованіемъ къ разнымъ литературнымъ гробокопателямъ, вытаскивающимъ всякій хламъ крупныхъ писателей и печатающихъ его подъ именемъ ихъ твореній, какъ это сдѣлалъ, напримѣръ, г. Болдаковъ съ юношескими стихами Лермонтова. Но письма... Начать съ того, что письма даже не составляютъ собственности ихъ авторовъ. Разъ я написалъ и отправилъ письмо, оно уже не мое, а того лица, которому было послано, и хотя, конечно, ни одинъ порядочный человѣкъ не позволитъ себѣ воспользоваться этимъ своимъ правомъ въ полномъ объемѣ, особенно при жизни писавшаго, то это уже дѣло такта благово-спитанности, а никакъ не отсутствія права. Мнѣ кажется, что и Гончаровъ имѣлъ въ виду именно безтактное пользованіе его перепиской, а не печатаніе чего-бы то ни было вообще. И еслибъ онъ зналъ, что его распоряженіе будетъ понято буквально онъ, пожалуй, остался бы за это даже въ претензіи, какъ былъ однажды въ претензіи на М. М. Стасюлевича за его излишнюю деликатность въ эпизодѣ со статьей „Милліонъ терзаній“. Отдавая эту статью въ печать, Гончаровъ поставилъ условіемъ, чтобы подъ нею не стояло никакой подписи. Въ виду категоричности этого требованія, г. Стасюлевичъ не настаивалъ и только выговорилъ себѣ право подписать статью буквами И. Г.; но эта прибавка такъ разсердила Гончарова, что онъ чуть не поссорился съ г. Стасюлевичемъ. Однако, скоро ока-

залось, что въ дѣйствительности Гончаровъ былъ недоволенъ скорѣе обратнымъ, т. е. тѣмъ, что г. Стасюлевичъ не настоялъ на полной подписи Гончарова. Именно, когда однажды кто-то изъ знакомыхъ Гончарова спросилъ его, почему онъ не выставилъ подъ статьей своего имени, Гончаровъ, въ присутствіи самого г. Стасюлевича, отвѣтилъ: „А объ этомъ спросите редактора: онъ не пожелалъ“.

„У всякаго есть свои странности, а крупные люди кромѣ того часто страдаютъ и большимъ самолюбіемъ, подъ вліяніемъ котораго сами себя вредятъ. И обязанность ихъ друзей—по возможности предохранять ихъ отъ этого, не стѣсняясь формальнымъ нарушеніемъ ихъ запретовъ, которые бываютъ иногда своего рода кокетничаньемъ.“

„Какъ-бы то ни было, но Гончарова уже нѣтъ; и если вмѣстѣ съ нимъ исчезнетъ и его переписка, то что-же отъ него останется? Вѣдь „Обломовъ“ — это уже не Гончаровъ, а исторія.“

Въ № 44 „Недѣли“, въ томъ же 1891 году, появилось слѣдующее письмо по тому-же вопросу:

„Вопросъ о „нарушеніи воли“, поднятый И. А. Гончаровымъ еще при жизни, остается до сихъ поръ открытымъ; а между тѣмъ отъ разрѣшенія его зависитъ знакомство русскаго общества съ наслѣдствомъ, которое оставилъ послѣ себя покойный писатель въ перепискѣ и бумагахъ. Вотъ почему всякій, у кого есть документъ, разъясняющій этотъ вопросъ, не вправѣ держать его подъ спудомъ.“

„Когда въ прошломъ году я издалъ мою поэму „Картинки дѣтства“, то послалъ 1 экземпляръ ея Гончарову. Въ маѣ получилъ я и отвѣтъ, продиктованный Иваномъ Александровичемъ, но изложенный въ третьемъ лицѣ, отъ имени „И. А. Г.“, и на которомъ не было подписи.“

„Удивленный такой странной формою, которая при томъ не гармонировала со слишкомъ лестнымъ для моей поэмы и интереснымъ содержаніемъ, и подъ которой невольно чувствовалось какъ-бы недовѣріе, я рѣшился о впечатлѣніи, произведенномъ на меня письмомъ, откровенно сообщить Гончарову.

„Въ отвѣтъ, помѣченномъ 19-мъ іюня и тоже продиктованномъ, Гончаровъ, между прочимъ, пишетъ: „Отъ своего мнѣнія я не отрекусь“... и далѣе, черезъ нѣсколько строкъ: „Подписываю это мнѣніе полнымъ своимъ именемъ, предоставляя вамъ дѣлать изъ этого письма какое вамъ угодно употребленіе. Еслибы вы его напечатали, то я большой въ этомъ бѣды не вижу“.

„Пользуясь разрѣшеніемъ Гончарова я и рѣшаюсь теперь же предать гласности приведенную выше выдержку изъ его письма. Полагаю, что она прямо указываетъ на то, что Иванъ Александровичъ никогда не думалъ безусловно запрещать всякое пользованіе его перепиской.

„Впрочемъ, и статья его о „нарушеніи воли“ слишкомъ ясно направлена противъ того рода господъ, которые, иногда надъ незакрывшейся еще могилой писателя, начинаютъ безцеремонно рыться въ его частной, интимной жизни.

„Въ заключеніе долгомъ считаю оговориться: если я позволилъ себѣ сослаться на отзывъ Гончарова о моей книгѣ, то только въ виду того, что безъ этой вставки послѣдняя фраза его письма была бы непонятна“.

*А. Нивинъ.*

---

Было еще нѣсколько замѣтокъ по поводу „нарушенія воли“, но и приведенныхъ, по нашему мнѣнію, совершенно достаточно, чтобы признать возможность разграниченія въ „завѣщаніи“ Гончарова двухъ понятій:

одно заключается въ историко-литературномъ матеріалѣ, сохранившемся въ рукописяхъ Гончарова, другое—въ отраженіи фактовъ его интимной, частной жизни, не имѣющихъ иного общаго интереса, кромѣ узко-біографическаго.

Въ пользу перваго самъ Гончаровъ дѣлалъ уступку, очевидно сознавая за исторіей всѣ права на духовное наслѣдство послѣ писателя, имя и дѣятельность котораго она сохраняетъ для потомства. Нескромному любопытству нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ открывается поприще исторической любознательности, и въ этомъ отношеніи Гончаровъ не могъ наложить запрещенія на ту часть написаннаго, но не напечатаннаго имъ, которая является дополненіемъ и поясненіемъ къ исторіи и процессу его художественнаго творчества.

Что касается втораго понятія, скрытаго въ „нарушеніи воли“, касающагося документовъ узко-біографическаго, частнаго характера, то оно всецѣло обращено къ чувству простой деликатности г.г. біографовъ и изслѣдователей, которые до поры, до времени сочтутъ, вѣроятно, волю писателя для себя священной и остерегутся оглашать въ печати письма и матеріалы интимнаго свойства. Говоримъ—до поры, до времени,—потому что наступитъ моментъ, когда исторія распорядится и съ этимъ понятіемъ по своему усмотрѣнію и, если не покроетъ забвеніемъ того, чему просилъ забвенія самъ писатель, считая неинтереснымъ для потомства, то отыщетъ въ немъ такія стороны чистаго, историческаго интереса, о которыхъ могъ и не подозрѣвать Гончаровъ. Это будетъ уже интересъ не къ личности но къ эпохѣ, ея идеямъ, характерамъ и настроеніямъ.

Указанное разграниченіе понятій полезно имѣть въ виду лицамъ, хранящимъ у себя рукописи и переписку Гончарова.





## ОГЛАВЛЕНИЕ.

<i>Глава I.</i> [Общія замѣчанія] . . . . .	1 — 4
<i>Глава II.</i> Отзывы критики.—Бѣлинскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Дружининъ. — Ихъ оцѣнка дѣятель- ности Гончарова и опредѣленіе основной черты его таланта . . . . .	5 —16
<i>Глава III.</i> Отзывы критики.—Шелгуновъ.—Вопросъ о роли и значеніи писателя въ общественной жизни.—Статья М. А. Протопопова.—Возраженіе Добролюбову . . . . .	16 —27
<i>Глава IV.</i> Отзывъ Аполлона Григорьева. — Общее за- мѣчаніе Григорьева о Гончаровѣ. — Позднѣйшая критика: Е. Цабель, К. Валишевскій . . . . .	27 —31
<i>Глава V.</i> Понятія: субъективность и объективность по отношенію къ творчеству.—Субъективность—от- личительная черта произведеній Гончарова.—Его собственныя замѣчанія по этому вопросу: — „На- рушеніе воли.“ — Его сочиненія, какъ матеріалъ для доказательства автобіографичности его изо- браженій . . . . .	31 —36
<i>Глава VI.</i> [Отраженіе личности Гончарова въ его про- изведеніяхъ].—Обстановка дѣтства.—Параллели.— Раннія впечатлѣнія.—„Неясное представленіе объ обломовщинѣ.“—Семейная атмосфера . . . . .	37 —42
<i>Глава VII.</i> [Отраженіе личности Гончарова въ его про- изведеніяхъ].—Умственные интересы юноши.— Путешествія, фантастическія сочиненія.—Вліяніе Якубова. — Параллели . . . . .	43 —49
<i>Глава VIII.</i> Отношеніе къ стихамъ. — Параллели изъ „Евгенія Онѣгина“ къ настроеніямъ Александра Адуева. — Культъ Пушкина у Гончарова. — Изъ	

юношескиххъ воспоминаній Гончарова о Пушкинѣ.—Изъ воспоминаній А. Θ. Кони о Гончаровѣ	50 —55
<i>Глава IX.</i> Университетскіе годы (1831—34 гг.).—Характеръ университетской науки начала 30-хъ годовъ XIX в. — Отзвыы о профессорахъ. — Отношеніе Гончарова къ университету и университетской наукѣ . . . . .	56 —59
<i>Глава X.</i> Университетскіе годы.—Черты Гончарова-студента.—Литературныя параллели.—Умственные и жизненные интересы въ эти годы . . . . .	60 —66
<i>Глава XI.</i> На родинѣ. Изъ воспоминаній Гончарова. — Параллели. — Разсказъ очевидца . . . . .	67 —70
<i>Глава XII.</i> Въ Петербургѣ.—Служебная дѣятельность Гончарова.—Отношеніе къ службѣ.—Параллели.—Отзвыъ очевидца о службѣ Гончарова въ цензурѣ . . . . .	70 —80
<i>Глава XIII.</i> Отзвыы А. В. Никитенка о службѣ Гончарова въ цензурномъ вѣдомствѣ.—Служебная атмосфера.—Гончаровъ заграницей. — Упомянанія Никитенки. — Разсказъ П. Д. Боборыкина . . . . .	80 —87
<i>Глава XIV.</i> „Обыкновенная исторія“. — Автобіографическія черты. — Адуевы: племянникъ и дядя въ отношеніяхъ къ Гончарову. — Черта дѣловитой практичности, отразившаяся въ романѣ . . . . .	87 —96
<i>Глава XV.</i> „Обломовъ“.—Двойственность въ изображеніи Ильи Ильича. — Автобіографическія черты.—Домашній укладъ, неподвижность, апатія.—Вялая обыденность жизни въ представленіи Гончарова. — Кругосвѣтное путешествіе, какъ средство скрасить дѣйствительность . . . . .	96—104
<i>Глава XVI.</i> Юношескія увлеченія въ романахъ. — Любовь къ музыкѣ и пѣнію — Автобіографическія черты.—„Неумѣстное и смѣшное отступленіе.“ — „Норма любви“ . . . . .	104—112
<i>Глава XVII.</i> Эгоизмъ по опредѣленію Адуева-дяди. — Страсть и ея выраженія въ произведеніяхъ Гончарова.—Автобіографическія черты. — Отношеніе къ браку . . . . .	112—119
<i>Глава XVIII.</i> Вопросъ о вліяніи А. В. Никитенки на Гончарова. — Ихъ взаимныя отношенія. — Нѣсколько словъ о личности Никитенки. — Его общественные взгляды.—Ихъ общая оцѣнка . . . . .	120—129
<i>Глава XIX.</i> Отраженіе личнѣсти Гончарова въ „Об-	

- рывѣ".—Правильность и послѣдовательность въ жизни. — Гончаровъ и Райскій. — Художникъ и моралистъ . . . . . 129—134
- Глава XX.* Отраженіе общественныхъ взглядовъ Гончарова въ образѣ Райскаго.—Вѣра въ идеальный прогрессъ, разладъ дѣйствительности съ красотой идеаловъ. — Отношеніе къ окружающей жизни; крѣпостное право; воплощеніе новыхъ вѣяній въ образѣ Марка Волохова. . . . . 135—145
- Глава XXI.* [Міросозерцаніе Гончарова; продолженіе].—Субъективность Гончарова при созданіи образа Марка Волохова.—Старая правда Гончарова.—Ея религіозные и нравственные устои . . . . . 145—149
- Глава XXII.* Отраженіе общественныхъ взглядовъ Гончарова въ полемикѣ съ „новой правдой“ Марка Волохова.—Волоховъ, какъ полемическій отвѣтъ Гончарова современной публицистикѣ.—Изъ воспоминаній Головачевой-Панаевой . . . . . 150—154
- Глава XXIII.* Характеристика таланта Гончарова, сдѣланная Добролюбовымъ и Протопоповымъ.—Райскій, какъ воплощеніе взглядовъ Гончарова на искусство. — Жизнь и творчество. — Роль фантазіи. — „Страсть и воображеніе“ въ творческой работѣ . . . . . 155—165
- Глава XXIV.* [Взглядъ Гончарова на искусство]. — Двѣ категоріи художниковъ. — Избытокъ фантазіи и таланта надъ идейной стороной художественнаго замысла. — Процессъ творческой работы Гончарова. — Застой и скука жизни; какъ основной предметъ его изображеній.—Переходъ жизни въ творчество . . . . . 166—174
- Глава XXV.* [Чужая жизнь въ произведеніяхъ Гончарова]. Невольное стремленіе писателя угадывать родственныя черты внѣшняго міра. — Степень типичности въ изображеніяхъ различныхъ явленій внѣшняго міра. — Господа и слуги . . . . . 174—178
- Глава XXVI.* Бережкова, какъ бытовой типъ. — Бабушкина мудрость. — Богъ и судьба по воззрѣніямъ Татьяны Марковны.—Примѣръ идеальной жизни . . . . . 179—183
- Глава XXVII.* Бережкова.—Противорѣчія между теоріей и практикой жизни. — Черты характера. — Отношеніе къ идеямъ „общаго блага.“—Общій взглядъ. 183—189

